АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В восьмой том собрания сочинений включены произведения, написанные и период с 1979 по 1984 годы: "Жук в муравейнике", "Хромая судьба", "Волны гасят ветер".

Том дополняют комментарии Б.Стругацкого к данным произведениям

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ ВОСЬМОЙ
1979-1984

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
(Стишок очень маленького мальчика)

1 июня 78-го года СОТРУДНИК КОМКОНА-2 МАКСИМ КАММЕРЕР

В 13.17 Экселенц вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками, — это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем.

— Садись.

Я сел.

— Надо найти одного человека, — сказал он и вдруг замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитые складки. Фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Экселенц обожает абсолютную точность формулировок.

— Кого именно? — спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора.

— Льва Вячеславовича Абалкина. Прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с Полярной станции Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное.

Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря, нарушителем порядка, но заинтересовать своей особой нашу Комиссию, да еще самого Экселенца, конечно же, никак не может. А между тем Экселенц был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит: «Ладно. Извини. Я сам этим займусь». Такие случаи бывали. Редко, но бывали.

— Есть основания предполагать, — сказал Экселенц, — что Абалкин скрывается.

Лет пятнадцать назад я бы жадно спросил: «От кого?» Однако с тех пор прошло пятнадцать лет, и времена жадных вопросов давно миновали.

— Ты его найдешь и сообщишь мне, — продолжал Экселенц. — Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне. Не больше и не меньше.

Я попытался отделаться солидным понимающим кивком, но он

смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ.

— Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Ни в коем случае не пытаться его задержать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры.

— Так, — сказал Экселенц. — Теперь следующее.

Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я поначалу вспомнил на хонтийском: «заккурапия», что в точном переводе означает — «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалось:

— Папка для бумаг!

— Не отвлекайся, — строго сказал Экселенц. — Слушай внимательно. Никто в Комиссии не знает, что я интересуюсь этим человеком. И ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию, а отчитываться будешь передо мной. Никаких исключений.

Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще никогда не было. На Земле я с таким уровнем секретности никогда еще не встречался. И, честно говоря, даже представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос:

— Что значит — никаких исключений?

— Никаких — в данном случае означает просто «никаких». Есть еще несколько человек, которые в курсе этого дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы двое. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной.

— Да, Экселенц, — сказал я смиренно.

— Далее, — продолжал он. — Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь. — Он постучал пальцем по папке. — Не слишком много, но есть с чего начать. Возьми.

Я принял папку. С такой я тоже на Земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытиснено кармином:

«ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН».

А ниже почему-то —

«07».

— Слушайте, Экселенц, — сказал я. — Почему в таком виде?

— Потому что в другом виде этих материалов нет, — холодно ответил он. — Кстати, кристаллокопирование не разрешаю. Других вопросов у тебя нет?

Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. На этом этапе вопросов было множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два.

— Сроки?

— Пять суток. Не больше.

Ни за что не успеть, подумал я.

— Могу я быть уверен, что он — на Земле?

— Можешь.

Я встал, чтобы уйти, но он еще не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он ясно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал. И в то же время не хотел отпустить меня без того, чтобы не сказать хоть что-нибудь.

— Помнишь, — проговорил он, — на планете по имени Саракш некто Сикорски по прозвищу Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак...

Я помнил.

— Так вот, — сказал Экселенц. — Сикорски тогда не поспел. А мы с тобой должны поспеть. Потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля. А Лев Абалкин — не молокосос.

— Загадками изволите говорить, шеф? — сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство.

— Иди работай, — сказал он.

1 июня 78-го года КОЕ-ЧТО О ЛЬВЕ АБАЛКИНЕ, ПРОГРЕССОРЕ

Андрей и Сандро все еще дожидались меня и были потрясены, когда я переподчинил их Клавдию. Они даже заартачились было, но беспокойство мое не проходило, я рявкнул на них, и они удалились, обиженно ворча и бросая на папку недоверчиво-встревоженные взгляды. Эти взгляды возбудили во мне новую и совершенно неожиданную заботу: где мне теперь держать это чудовищное «вместилище документов»?

Я уселся за стол, положил папку перед собой и машинально взглянул на регистратор. Семь сообщений за четверть часа, которые я провел у Экселенца. Признаюсь, не без удовольствия я переключил всю свою рабочую связь на Клавдия. Затем я занялся папкой.

Как я и ожидал, в папке не было ничего, кроме бумаги. Двести семьдесят три пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Я не имел дела с бумагой добрых два десятка лет, и первым моим побуждением было засунуть всю эту груду в транслятор, но я, разумеется, вовремя спохватился. Бумага так бумага. Пусть будет бумага.

Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокарточку, подсунутую под верхний зажим. Эту радиограмму Экселенц получил сегодня, за шестнадцать минут до того, как вызвал меня к себе. Вот что в ней было:

> 01.06. — 13.01. СЛОН — СТРАННИКУ.
>
> НА ВАШ ЗАПРОС О ТРИСТАНЕ ОТ 01.06. — 07.11 СООБЩАЮ: 31.05. — 19.34. ЗДЕСЬ ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ КОМАНДИРА БАЗЫ САРАКШ-2. ЦИТИРУЮ: ПРОВАЛ ГУРОНА (АБАЛКИН, ШИФРОВАЛЬЩИК ШТАБА ГРУППЫ ФЛОТОВ «Ц» ОСТРОВНОЙ ИМПЕРИИ). 28.05. ТРИСТАН (ЛОФФЕНФЕЛЬД, ВЫЕЗДНОЙ ВРАЧ БАЗЫ) ВЫЛЕТЕЛ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕДОСМОТРА ГУРОНА. СЕГОДНЯ 29.05. — 17.13. НА ЕГО БОТЕ ПРИБЫЛ НА БАЗУ ГУРОН. ПО ЕГО СЛОВАМ, ТРИСТАН ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ СХВАЧЕН И УБИТ КОНТРРАЗВЕДКОЙ ШТАБА «Ц». ПЫТАЯСЬ СПАСТИ ТЕЛО

ТРИСТАНА И ДОСТАВИТЬ ЕГО НА БАЗУ, ГУРОН РАСКРЫЛ СЕБЯ. СПАСТИ ТЕЛО ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ. ПРИ ПРОРЫВЕ ГУРОН ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСТРАДАЛ, НО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ПСИХИЧЕСКОГО СПАЗМА. ПО ЕГО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ РЕЙСОВЫМ 611. ЦИТАТА ОКОНЧЕНА.

СПРАВКА: 611 ПРИБЫЛ НА ЗЕМЛЮ 30.05. — 22.32. АБАЛКИН НА СВЯЗЬ С КОМКОНОМ НЕ ВЫХОДИЛ, НА ЗЕМЛЕ К МОМЕНТУ СЕГОДНЯ 12.53 НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. НА ОСТАНОВКАХ ПО МАРШРУТУ 611 (ПАНДОРА, КУРОРТ) НА ТОТ ЖЕ МОМЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТАКЖЕ.

СЛОН.

Прогрессоры. Так. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю Прогрессоров, хотя сам был, по-видимому, одним из первых Прогрессоров еще в те времена, когда это понятие употреблялось только в теоретических выкладках. Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к Прогрессорам я не оригинален. Это не удивительно: подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться, кто в своем праве. Для нормального землянина это звучит дико, и я его понимаю, я ведь сам был таким, пока не попал на Саракш. Я прекрасно помню это видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо, этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличаются от твоей...

И тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования — надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был... И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а уж потом разбираться.

По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно

разделить на своих и чужих. Именно за это умение дома к ним относятся с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом — с несколько брезгливой настороженностью. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть — и нам, и им. Потому что либо Прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела... Впрочем, к счастью, нам в КОМКОНе-2 достаточно редко приходится иметь дело с Прогрессорами.

Я прочитал радиограмму и внимательно перечитал ее еще раз. Странно. Выходит, Экселенц интересуется главным образом неким Тристаном, он же Лоффенфельд. Ради того, чтобы узнать нечто об этом Тристане, он поднялся сегодня в несусветную рань сам и не постеснялся поднять из постели нашего Слона, который, как всем известно, ложится спать с петухами...

Еще одна странность: можно подумать, что он заранее знал, какой будет ответ. Ему понадобилось всего четверть часа, чтобы принять решение о розыске Абалкина и приготовить для меня папку с его бумагами. Можно подумать, что эта папка была у него уже под рукой...

И самое странное: конечно, Абалкин — последний человек, который видел хотя бы труп Тристана, но если Экселенцу Абалкин понадобился только как свидетель по делу Тристана, то к чему была эта зловещая притча о некоем Страннике и некоем молокососе?

О, разумеется, у меня были версии. Двадцать версий. И среди них ослепительным алмазом сверкнула, например, такая: Гурон-Абалкин перевербован имперской разведкой, он убивает Тристана-Лоффенфельда и скрывается на Земле, имея целью внедрить себя во Всемирный совет...

Я еще раз перечитал радиограмму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист № 1. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 38-го года. Воспитание: школа-интернат 241, Сыктывкар. Учитель: Федосеев Сергей Павлович. Образование: школа Прогрессоров № 3 (Европа). Наставник: Горн Эрнст-Юлий. Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа: февраль 58-го — сентябрь 58-го, дипломная практика, планета Саракш, опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке...

Тут я остановился. Вот так так! А ведь я же его, пожалуй, помню! Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания — Комов, Раулингсон, Марта... и этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселенц (в те времена — Странник) приказал мне бросить все дела и переправить их через Голубую Змею в Крепость под видом экспедиции Департамента науки... Мосластый такой парень с очень бледным лицом и длинными

прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно! Они все звали его (кроме Комова, конечно) Левушкой-ревушкой, или просто Ревушкой, но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому, что голос у него был зычный, взревывающий, как у тахорга... Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше.

Март 60-го — июль 62-го, планета Саракш, руководитель-исполнитель операции «Человек и голованы». Июль 62-го — июнь 63-го, планета Пандора, руководитель-исполнитель операции «Голован в Космосе». Июнь 63-го — сентябрь 63-го, планета Надежда, участие совместно с голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63-го — август 64-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64-го — ноябрь 66-го, планета Гиганда, первый опыт самостоятельного внедрения — младший бухгалтер службы охотничьего собаководства, псарь маршала Нагон-Гига, егермейстер герцога Алайского (см. лист № 66)...

Я посмотрел лист № 66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выдранный и сохранивший складки от помятостей. На нем размашистым почерком было написано: «Руди! Чтобы ты не беспокоился. Божьим попущением на Гиганде встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Меры уже приняты». Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенная» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки — какой-то печатный текст арабской вязью.

Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу № 1.

Ноябрь 66-го — сентябрь 67-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Сентябрь 67-го — декабрь 70-го, планета Саракш, внедрение в республику Хонти — унионист-подпольщик, выход на связь с агентурой Островной Империи (первый этап операции «Штаб»). Декабрь 70-го, планета Саракш, Островная Империя — заключенный концентрационного лагеря (до марта 71-го без связи), переводчик комендатуры концентрационного лагеря, солдат строительных частей, старший солдат в Береговой Охране, переводчик штаба отряда Береговой Охраны, переводчик-шифровальщик флагмана 2-го подводного флота группы «Ц», шифровальщик штаба группы флотов «Ц». Наблюдающий врач: с 38-го по 53-й — Леканова Ядвига Михайловна; с 53-го по 60-й — Крэсеску Ромуальд; с 60-го — Лоффенфельд Курт.

Все. Больше на листе № 1 ничего не было. Впрочем, на обороте крупно, во всю страницу было изображено размытыми коричневыми полосами (словно бы гуашью) что-то вроде стилизованной буквы «Ж».

Ну что ж, Лев Абалкин, Левушка-ревушка, теперь я о тебе кое-что

знаю. Теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой Учитель. Я знаю, кто твой Наставник. Я знаю твоих наблюдающих врачей... А вот чего я не знаю, так это — зачем и кому нужен этот лист № 1? Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя или кодовый номер (я набрал кодовый номер) и спустя... раз-и-два-и-три-и... четыре секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом, постороннем ему человеке.

Пожалуйста: Абалкин Лев и так далее, кодовый номер, генетический код, родился тогда-то, родители (кстати, почему в листе № 1 не указаны родители?): Абалкина Стелла Владимировна и Цюрупа Вячеслав Борисович, школа-интернат в Сыктывкаре, Учитель, школа Прогрессоров, Наставник... Все совпадает. Так. Прогрессор, работает с 60-го: планета Саракш. Гм. Немного. Только официальные данные. По-видимому, в дальнейшем решил не утруждать себя сообщением новых сведений службе БВИ... А это что? «Адрес на Земле: не зарегистрирован».

Я набрал новый запрос: «По каким адресам регистрировался на Земле кодовый номер такой-то?» Через две секунды последовал ответ: «Последний адрес Абалкина на Земле — школа Прогрессоров № 3 (Европа)». Тоже любопытная деталь. Либо Абалкин за последние восемнадцать лет на Земле не был ни разу, либо человек он крайне нелюдимый, не регистрируется никогда и никаких сведений о себе подавать не желает. И то и другое представить себе, конечно, можно, однако выглядит это в достаточной мере непривычно...

Как известно, в БВИ содержатся только те сведения, которые человек хочет сообщить о себе сам. А что содержится в листе № 1? Я решительно не вижу в этом листе ничего такого, что Абалкину стоило бы скрывать. Все там изложено гораздо подробнее, но ведь за такого рода подробностями никому и в голову не пришло бы обращаться в БВИ. Обратись в КОМКОН-1, и там тебе все это изложат. А чего не знают в КОМКОНе, легко выяснить, потолкавшись на Пандоре среди Прогрессоров, проходящих там рекондиционирование или просто валяющихся на Алмазном Пляже у подножия величайших в обитаемом Космосе песчаных дюн...

Ладно, господь с ним, с этим листом № 1. Хотя в скобках отметим, что мы так и не поняли, зачем он нужен вообще, да еще такой подробный... А если уж он такой подробный, то почему в нем нет ни слова о родителях?

Стоп. Это, скорее всего, меня не касается. А вот почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался в КОМКОНе? Это можно

объяснить: психический спазм. Отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере восемнадцать лет. Куда он пойдет? По-моему, к маме идти в таком состоянии непристойно. Абалкин не похож на сопляка, точнее — не должен быть похож. Учитель? Или Наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Это я по себе знаю. Причем скорее Учитель, чем Наставник. Ведь Наставник в каком-то смысле все-таки коллега, а у нас — отвращение к делу... Стоп. Да стоп же! Что это со мной? Я посмотрел на часы. На два документа у меня ушло тридцать четыре минуты. Причем я ведь даже пока еще не изучал их, я только ознакомился с ними.

Я заставил себя сосредоточиться и вдруг понял, что дело плохо. Я вдруг осознал, что мне совсем неинтересно думать о том, КАК найти Абалкина. Мне гораздо интереснее понять, ПОЧЕМУ его так нужно найти. Разумеется, я немедленно разозлился на Экселенца, хотя простая логика подсказывала мне, что, если бы это помогло мне в поисках, шеф непременно представил бы все необходимые объяснения. А раз он не объяснил мне, ПОЧЕМУ надо искать и найти Абалкина, значит, это ПОЧЕМУ не имеет никакого отношения к вопросу КАК.

И тут же я понял еще одну вещь. Вернее, не понял, а почувствовал. А еще точнее — заподозрил. Вся эта громоздкая папка, все это обилие бумаги, вся эта пожелтевшая писанина ничего не дадут мне, кроме, может быть, еще нескольких имен и огромного количества новых вопросов, опять-таки не имеющих никакого отношения к вопросу КАК.

1 июня 78-го года ВКРАТЦЕ О СОДЕРЖАНИИ ПАПКИ

К 14.23 я закончил опись содержимого.

Б`ольшую часть бумаг составляли документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина.

Во-первых, это был его отчет об участии в операции «Мертвый мир» на планете Надежда — семьдесят шесть страниц, исписанных отчетливым крупным почерком почти без помарок. Я бегло проглядел эти страницы. Абалкин рассказывал, как он с голованом Щекном в поисках какого-то объекта (я не уловил, какого именно) пересек покинутый город и одним из первых вступил в контакт с остатками несчастных аборигенов.

Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех, да они и оставались до сих пор притчей во языцех, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во Вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства Странников в судьбы других цивилизаций. Теперь считается твердо установленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологии и практически необратимо нарушили экологическое равновесие. Природа была уничтожена. Отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов в попытках исправить положение загадили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, обречено было на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. Собственно, насколько я знаю, до сих пор никто у нас так и не понял механику этого бешенства. Во всяком случае, модель этого процесса до сих пор не удалось воспроизвести ни одному нашему биологу. Бешенство генных структур. Внешне это выглядело как стремительное, нелинейное по времени ускорение темпов развития всякого мало-мальски сложного организма. Если говорить о человеке, то до двенадцати лет он развивался в общем нормально, а затем начинал стремительно взрослеть и еще более стремительно стареть. В шестнадцать лет он выглядел тридцатипятилетним, а в девятнадцать, как правило, умирал от старости.

Разумеется, такая цивилизация не имела никакой исторической перспективы, но тут пришли Странники. Впервые, насколько нам известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать

установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. (Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними сталось — мы, конечно, не знаем и, похоже, узнаем не скоро.)

Абалкин принимал участие лишь в самом начале операции «Мертвый мир», и роль, которая ему в ней отводилась, была достаточно скромной. Хотя, если взглянуть на это с принципиальной стороны, он был первым (и пока единственным) Прогрессором-землянином, которому довелось работать в паре с представителем разумной негуманоидной расы.

Проглядывая этот отчет, я обнаружил, что Абалкин упоминает там довольно много имен, но у меня сложилось впечатление, что для дела следует взять на заметку одного только Щекна. Мне было известно, что сейчас на Земле пребывает целая миссия голованов, и, пожалуй, имело смысл выяснить, нет ли среди них этого Щекна. Абалкин писал о нем с такой теплотой, что я не исключал возможности встречи его с давним приятелем. К этому моменту я уже отметил для себя, что у Абалкина особое отношение к «меньшим братьям»: на голованов он потратил несколько лет жизни, на Гиганде стал псарем... и вообще.

И был в папке еще один отчет Абалкина — о его операции на Гиганде. Операция, впрочем, была, на мой взгляд, пустяковая: егермейстер его высочества герцога Алайского пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Егермейстером был Лев Абалкин, а бедным родственником — некий Корней Яшмаа. Как мне показалось, материал этот был для меня совершенно бесполезен. Кроме Корнея Яшмаа, насколько я мог заметить при беглом просмотре, в нем не содержалось ни одного земного имени. Мелькали какие-то Зогги, Нагон-Гиги, шталмейстеры, сиятельства, бронемастеры, конференц-директора, гоф-дамы... Я взял на заметку этого Корнея, хотя и было ясно, что он вряд ли мне понадобится. Всего во втором отчете содержалось двадцать четыре страницы, и больше отчетов Льва Абалкина о своей работе в папке не оказалось. Это показалось мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальнейшем: почему из всех многочисленных отчетов профессионального Прогрессора в папку 07 попали только два, и именно эти два?..

Оба отчета были выполнены в манере «лаборант» и, на мой взгляд, сильно смахивали на школьные сочинения в жанре «Как я провел каникулы у дедушки». Писать такие отчеты — одно удовольствие, читать их, как правило, — сущее мучение. Психологи (засевшие в штабах) требуют, чтобы отчеты содержали не столько объективные данные о событиях и

фактах, сколько сугубо субъективные ощущения, личные впечатления и поток сознания автора. При этом манеру отчета («лаборант», «генерал», «артист») автор не выбирает — ему ее предписывают, руководствуясь какими-то таинственными психологическими соображениями. Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем, друзья, забывать и о психологии!

Я не психолог, во всяком случае, не профессионал, но я подумал, что, может быть, и мне удастся извлечь из этих отчетов что-нибудь полезное о личности Льва Абалкина.

Просматривая содержимое папки, я то и дело обнаруживал однообразные, я бы сказал, просто одинаковые и совершенно непонятные мне документы: синеватые листы плотной бумаги с зеленым обрезом и выдавленной в верхнем левом углу монограммой, изображающей то ли китайского дракона, то ли птеродактиля. На каждом таком листе уже знакомым мне размашистым почерком иногда стилом, иногда фломастером, а пару раз почему-то лабораторным электродным карандашом было написано: «Тристан 777». Ниже стояли дата и все та же замысловатая подпись. Насколько можно было судить по датам, такие листки закладывались в папку с 60-го года примерно раз в три месяца, так что папка на четверть состояла из них.

И еще двадцать две страницы занимала переписка Абалкина с его руководством. Переписка эта навела меня на некоторые размышления.

В октябре 63-го года Абалкин направляет в КОМКОН-1 рапорт, в котором выражает пока еще кроткое недоумение по поводу того, что операция «Голован в Космосе» свернута без консультации с ним, хотя операция эта развивалась вполне успешно и обещала богатую перспективу.

Неизвестно, какой ответ получил Абалкин на этот свой рапорт, но в ноябре того же года он пишет совершенно отчаянное письмо Комову с просьбой возобновить операцию «Голован в Космосе» и одновременно очень резкое письмо в КОМКОН, в котором протестует против направления его, Абалкина, на курсы переподготовки. (Заметим, что все это он почему-то делает в письменной форме, а не обычным порядком.)

Как явствует из дальнейших событий, переписка эта никакого действия не возымела, и Абалкин отправляется работать на Гиганду. Три года спустя, в ноябре 66-го, он снова пишет в КОМКОН с Пандоры и просит направить его на Саракш для продолжения работы с голованами. На этот раз его просьбу удовлетворяют, но только отчасти: его посылают на Саракш, но не на Голубую Змею, а в Хонти унионистом-подпольщиком.

С курсов переподготовки в феврале и августе 67-го года он еще

дважды пишет в КОМКОН (Бадеру, а потом и самому Горбовскому), указывая на нецелесообразность использования его, хорошего специалиста по голованам, в качестве резидента. Тон его писем становится все резче, письмо Горбовскому, например, я иначе как оскорбительным не назвал бы. Любопытно было бы мне узнать, что ответил душка Леонид Андреевич на этот взрыв ярости и презрительного негодования.

И уже будучи резидентом в Хонти, в октябре 67-го года Абалкин посылает Комову свое последнее письмо: развернутый план форсирования контактов с голованами, включающий обмен постоянными миссиями, привлечение голованов к зоопсихологическим работам, проводящимся на Земле, и т. д. и т. п. Я никогда специально не следил за работой в этой области, но у меня сложилось такое впечатление, что этот план сейчас принят и осуществляется. А если это так, то положение парадоксальное: план осуществляется, а инициатор его торчит резидентом то в Хонти, то в Островной Империи.

В общем, эта переписка оставила у меня какое-то тягостное впечатление. Ну ладно, пусть в проблеме голованов я не специалист, мне трудно судить, вполне возможно, что план Абалкина совершенно тривиален, и употреблять такие громкие слова, как инициатор, не имеет смысла. Но дело не только и не столько в этом! Парень, видимо, прирожденный зоопсихолог. «Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика... Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология...» И тем не менее из парня делают Прогрессора. Не спорю, существует целый класс Прогрессоров, для которых зоопсихология — хлеб насущный. Например, те, кто работает с леонидянами или с теми же голованами. Так нет же, парню приходится работать с гуманоидами, работать резидентом, боевиком, хотя он пять лет кричит на весь КОМКОН: «Что вы со мной делаете?» А потом они удивляются, что у него психический спазм!

Конечно, Прогрессор — это такая профессия, где железная, я бы сказал, военная дисциплина совершенно неизбежна. Прогрессор сплошь и рядом вынужден делать не то, что ему хочется, а то, что приказывает КОМКОН. На то он и Прогрессор. И, наверное, резидент Абалкин много ценнее для КОМКОНа, нежели зоопсихолог Абалкин. Но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и недурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым... И что бы там ни натворил этот Абалкин (а он явно что-то натворил), я, ей-богу, на его стороне.

Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет.

Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после

первого отчета Абалкина, двух страниц — после второго его отчета и двух страниц — после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения.

1 июня 78-го года ПОЧТИ ВСЕ О ВОЗМОЖНЫХ СВЯЗЯХ ЛЬВА АБАЛКИНА

Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось у меня в этом списке всего восемнадцать имен. Практически для меня представляли интерес только шесть человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности (по моим представлениям, конечно) того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так:

> Учитель Сергей Павлович Федосеев.
> Мать Стелла Владимировна Абалкина.
> Отец Вячеслав Борисович Цюрупа.
> Наставник Эрнст-Юлий Горн.
> Наблюдающий врач школы Прогрессоров Ромуальд Крэсеску.
> Наблюдающий врач школы-интерната Ядвига Михайловна Леканова.

Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшмаа, голован Щекн, Яков Вандерхузе и еще человек пять, как правило — Прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я выписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы потому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать впрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу.

В течение десяти минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения.

Родители Льва Абалкина не существовали — по крайней мере, в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что сорок с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы «Йормала» на уникальном звездолете «Тьма» совершили погружение в Черную Дыру ЕН 200056. Связи с ними не было, да и не могло быть, по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно: вполне можно было допустить, что родители его еще живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но, с точки зрения землянина, они, конечно, все равно что мертвы. У них не было детей, и, уходя навсегда

из нашей Вселенной, они, как и многие супружеские пары до них и после них в подобной ситуации, оставили в Институте Жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем. Когда стало ясно, что погружение удалось, что они более не вернутся, клетку активировали, и вот на свет появился Лев Абалкин — посмертный сын живых родителей. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему в листе № 1 родители Абалкина не упоминались вовсе.

Эрнста-Юлия Горна, Наставника Абалкина по школе Прогрессоров, уже не было в живых. В 72-м году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова.

Врач Ромуальд Крэсеску пребывал на некоей планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но, поскольку Крэсеску является Прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан (сто шестнадцать лет!) оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием: «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старикана и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство.

С остальными двумя мне повезло.

Сергей Павлович Федосеев, Учитель Абалкина, жил и здравствовал на берегу Аятского озера в усадьбе с предостерегающим названием «Комарики». Ему тоже уже было за сто, и был он, по-видимому, человек либо чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные: окончил то-то и то-то, археолог, Учитель. Все. Как говорится, яблочко от яблони... Весь в своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович — автор более тридцати статей по археологии, участник восьми археологических экспедиций (Северо-Западная Азия) и трех евразийских конференций Учителей. Кроме того, он у себя в «Комариках» организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время.

А вот с Ядвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то уже представлял себе этакую старушку — божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодренько семенящую все по той же территории Сыктывкарской

школы. Черта с два — семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала и именно в Сыктывкаре, но потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того — она занималась последовательно: ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собой науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов, ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в шести различных организациях и институтах, а сейчас она работала в седьмом — в передвижном Институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было, желающим предлагалось устанавливать с нею связь через стационар Института в Манаосе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти все еще первобытные дебри.

Было совершенно очевидно, что начинать следует с Учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро.

1 июня 78-го года УЧИТЕЛЬ ЛЬВА АБАЛКИНА

Вопреки моим опасениям, усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетеных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов.

Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои сто с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная, как смоль, а левая — совершенно белая, именно белая, а не седая.

Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии — зоопсихолог, и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с голованами... Вы наверняка знаете, сказал я, что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в КОМКОНе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на Земле, а когда он вернется — совершенно неизвестно. Между тем мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе, — движение психологии исследователя, вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, Наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, с его Учителем. Я лично убежден, что все в человеке начинается с детства, причем с самого раннего детства...

Признаться, у меня все время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом: «Позвольте, позвольте! Но ведь Лев был у меня буквально вчера!» Однако меня не прервали, и мне пришлось договорить все до конца — изложить с самым умным видом все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в

юности и уж, конечно, не в зрелом возрасте, именно формируется, а не то чтобы просто закладывается или там зарождается... Мало того, когда я наконец выдохся совсем, старик молчал еще целую минуту, а потом вдруг спросил, кто такие эти голованы.

Я удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим Учителем! Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим Учителем своими успехами.

Я с готовностью объяснил, что голованы — это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций.

— Киноиды? Собаки?

— Да. Разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда — голованы.

— Значит, Лева занимается собакообразными... Добился своего...

Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голованами занимался, и с большим успехом.

— Он всегда любил животных, — сказал Сергей Павлович. — Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу Прогрессоров, я протестовал как мог, но меня не послушались... Впрочем, там было все сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать...

Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень, очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких: «Лева! Как же! Это был такой замечательный мальчишка!» Конечно, вполне может быть, что Лева не был замечательным мальчишкой...

— Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? — спросил Сергей Павлович.

— Все! — ответил я быстро. — Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе. Все, что вам запомнилось.

— Хорошо, — сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. — Попробую.

Лев Абалкин был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была скорее замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг — за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди

ребятишек, просто он был ТАЛАНТЛИВ в этом, а удивляло в нем как раз другое: при всей своей явной замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре, особенно в театре. Но, правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой — уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с Учителем, но и с ребятами, и так и не удалось разобраться, в чем же тут причина. Можно предполагать только, что его талант в общении с живой природой настолько возобладал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята — да и вообще все люди — были ему просто неинтересны. На самом деле, конечно, все это было гораздо сложнее — эта его замкнутость, эта погруженность в собственный мир явились результатом тысячи микрособытий, которые остались вне поля зрения Учителя. Учитель вспомнил такую сценку: после проливного дождя Лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, и были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к Леве и стал собирать выползков вместе с ним...

— Но боюсь, он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И, более того, он презирал тех, кто врет. Даже если врали бескорыстно, для интереса. Я подозреваю, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. Этот момент я тоже пропустил... Впрочем, вряд ли это вам нужно. Вам ведь гораздо интереснее узнать, как проклевывался в нем будущий зоопсихолог...

И Сергей Павлович принялся рассказывать, как зоопсихолог проклевывался в Леве Абалкине.

Назвался груздем — полезай в кузов. Я слушал с самым внимательным видом, в надлежащих местах вставлял «Ах, вот как?», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание: «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!» Иногда я очень не люблю свою профессию.

Потом я его спросил:

— А друзей у него, значит, было не много?

— Друзей у него не было совсем, — сказал Сергей Павлович. — Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклоняется от встреч.

И вдруг его прорвало.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло...

— Сергей Павлович! — сказал я. — Что вы говорите? Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним...

— И как вы его нашли?

— Замечательный мальчишка, энтузиаст... Это как раз была первая экспедиция к голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды... И они оправдались, эти надежды, заметьте!

— У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас...

Я осекся и принял блюдце с малиной.

— Голованы... — проговорил он с горечью. — Возможно, возможно. Но, видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет...

Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас, с минуты на минуту переведет разговор на меня. Он явно не собирался больше говорить о Льве Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал:

— Очень вам благодарен, Сергей Павлович. Вы дали мне массу интересного материала. Единственно только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга.

— Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников... — Он замолчал и вдруг сказал: — Вот что. Попробуйте найти Майю Глумову.

Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем, но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные. Он даже весь пошел бурыми пятнами.

— Школьная подруга? — спросил я, чтобы скрыть неловкость.

— Нет, — сказал он. — То есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.

1 июня 78-го года МАЛЕНЬКИЙ ИНЦИДЕНТ С ЯДВИГОЙ МИХАЙЛОВНОЙ

В 19.23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и пяти минут, как информационная карточка лежала передо мной.

Майя Тойвовна Глумова была на три года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при КОМКОНе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась вначале по ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойво Глумов одиннадцати лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время — о чудо! — она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в трех кварталах от нас, на Площади Звезды. И жила она совсем неподалеку — на Аллее Канадских Елей.

Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойво Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался.

Так. Придется ждать до утра, а утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже двадцать пять лет.

Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после четвертьвековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто — со своим Учителем, нередко — со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже второй день работает неуверенно из-за флюктуаций нейтринного поля.

Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаосе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас.

Мне повезло. Ядвига Михайловна Леканова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с нею немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Ядвиги Михайловны полное, до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И, по всему видно, кружила.

Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови.

— Лев Абалкин?.. Лева Абалкин... Простите, как вас зовут?

— Максим Каммерер.

— Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

— Да как вам сказать... Я договорился с издательством, они заинтересовались...

— Но вы сами — просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии — журналист...

Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

— Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать... Основная профессия у меня... н-ну, пожалуй, Прогрессор... хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я — сотрудник КОМКОНа... да и сейчас связан с ним в известном смысле...

— Ушли на вольные хлеба? — сказала Ядвига Михайловна.

Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. И в то же время — весьма и весьма обычного.

— Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием с вами поговорю о Леве Абалкине, но с вашего позволения — через некоторое время. Давайте я вам позвоню... через час-полтора.

Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке, — самой обыкновенной доброжелательности.

— Ну разумеется, — сказал я. — Как вам будет удобно...

— Извините меня, пожалуйста.

— Нет, это вы должны меня извинить...

Она записала номер моего канала, и мы расстались. Странный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Пр-р-роклятая профессия... «И началась самая

увлекательная из охот — охота на человека...» О темпора, о морес! Как они часто все-таки ошибались, эти классики... Ладно, подождем. И ведь придется, наверное, лететь в этот Манаос. Я запросил сводку. Нуль-связь была по-прежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Абалкина об операции «Мертвый мир».

Я успел прочитать страниц пять, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул Экселенц. Я поднялся.

Нам редко приходится видеть Экселенца иначе как за его столом, и всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем как на вешалке, и вообще было в нем что-то от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми.

— Сядь, — сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной.

Я тоже поспешно сел.

— Докладывай, — приказал он.

Я доложил.

— Это все? — спросил он с неприятным выражением.

— Пока все.

— Плохо, — сказал он.

— Так уж и плохо, Экселенц... — сказал я.

— Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы! А его однокашники по школе Прогрессоров?

— К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате, во всяком случае, а что касается Прогрессоров...

— Уволь меня от этих рассуждений. Проверь все. И не отвлекайся. При чем здесь детский врач, например?

— Я стараюсь проверить все, — сказал я, начиная злиться.

— У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами.

— Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим голованом. Щекном. Но у меня намечен определенный порядок... Я вовсе не считаю, что детский врач — это совсем уж пустая трата времени...

— Помолчи-ка, — сказал он. — Дай мне твой список.

Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку и смотрит на нее, не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал:

— Щекн — это неплохо. И легенда твоя мне нравится. А все остальное — плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был

его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи. И эту... Глумову... Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. А Леканову оставь. Это тебе не нужно.

— Но она же все равно позвонит!

— Не позвонит, — сказал он.

Я посмотрел на него. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Леканова не позвонит.

— Послушайте, Экселенц, — сказал я. — Вам не кажется, что я работал бы втрое успешней, если бы знал, в чем тут дело?

Я был уверен, что он отрежет: «Не кажется». Вопрос мой был чисто риторическим... Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Абалкина, не осталась мною не замеченной и мешает мне.

Но он сказал другое:

— Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать. Да и не хочу.

— Тайна личности? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Тайна личности.

Из отчета Льва Абалкина

...К десяти часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посередине улицы: впереди по оси маршрута — Щекн, за ним и левее — я. От принятого порядка движения — прижимаясь к стенам — пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битыми кирпичами, осколками оконного стекла, проржавевшей кровельной жестью, и уже дважды обломки карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы.

Погода не меняется, небо по-прежнему в тучах, налетает порывами влажный теплый ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и снова налетают полчища комаров. Штурмовые волны комаров. Целые комариные смерчи. Очень много крыс — шуршат в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегают из подъезда в подъезд, столбиками торчат в пустых оконных проемах. Глаза у них как бусинки, поблескивают настороженно. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне. Разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные

шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи — тоже непонятно. Разве что крысами. Змеи, впрочем, какие-то вялые, совсем не агрессивные, хотя и не трусливые. Занимаются какими-то своими делами, ни на кого и ни на что не обращая внимания.

Город безусловно и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно.

Сообщение от группы Рэма Желтухина. Он пока вообще никого не встретил. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь представить себе эту свалку — гигантскую, без начала и без конца, завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать.

Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на пять минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительной красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте. Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно.

Сообщение от группы Эспады. Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров: ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океан и побережье, покрытое километровой ширины полосой черной коросты — похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение.

Эксперты категорически протестуют против решения Эспады полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает:

— Пресловутая человеческая техника! Смешно...

На нем нет никакого комбинезона, и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин.

Он бежит по полустертой осевой линии проспекта вразвалку, слегка занося вбок задние ноги, как это делают иногда наши собаки, толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда повернутой влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змей он не обращает внимания вовсе, как и на комаров, а вот

крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт.

Мне кажется, он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклонился от осмотра на диво сохранившегося особняка в седьмом квартале, совершенно неуместного своей чистотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежо воняющей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены, и он без всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской давешнего бедняги-аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развевающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности Щекну безразличны, он почему-то не желал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплевываясь, бормоча неразборчиво на своем языке...

— А вот что-то новенькое, — говорю я.

Это что-то вроде кабины ионного душа — цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Овальная дверца во всю его высоту распахнута. Похоже, что когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки, и теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и глинистой земли. В остальном она не пострадала, да там в ней и нечему было страдать — внутри она пустая, как пустой стакан.

— Стакан, — говорит Вандерхузе. — Но с дверцей.

— Ионный душ, — говорю я. — Но без оборудования. Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракше, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются: «стакан».

— А что он регулирует? — с любопытством осведомляется Вандерхузе.

— Уличное движение на перекрестках, — говорю я.

— До перекрестка далековато, как ты полагаешь? — говорит Вандерхузе.

— Ну, значит, это ионный душ, — говорю я.

Диктую ему донесение. Приняв донесение, он осведомляется:

— А вопросы?

— Два естественных вопроса: зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание: никаких проводов и кабелей нет. Щекн, у тебя есть вопросы?

Щекн более чем равнодушен — он чешется, повернувшись к кабине задом.

— Мой народ не знает таких предметов, — сообщает он высокомерно. — Моему народу это неинтересно. — И он снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом.

— У меня все, — говорю я Вандерхузе, и Щекн тут же поднимается и трогается дальше.

Его народу это, видите ли, неинтересно, думаю я, шагая следом и левее. Мне хочется улыбнуться, но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок, чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их (или морды?) почти совсем лишены мимики — по крайней мере, на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще голованы разбираются в людях в сто раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю — почему. Мы стесняемся. Они разумны, и нам неловко их исследовать. А вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в Крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной произвели очередной эксперимент! И Марта жаловалась Комову на то же, и Раулингсон, и только Комов никогда не жаловался — я думаю, просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А Тарасконец в конце концов просто сбежал. Уехал на Пандору, занимается своими чудовищными тахоргами и счастлив... Почему Щекна так заинтересовала Пандора? Он всеми правдами и неправдами оттягивал отлет. Надо будет потом проверить, точно ли, что группа голованов попросила транспорт для переселения на Пандору.

— Щекн, — говорю я, — тебе хотелось бы жить на Пандоре?

— Нет, мне нужно быть с тобой.

Ему нужно быть. Вся беда в том, что в их языке всего одна модальность. Никакой разницы между «нужно», «должно», «хочется», «можется» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной. А может быть, что это его обязанность — быть со мной, что ему поручено быть со мной и что он

намерен честно выполнить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй...

Впереди справа, от грязно-белого балкона на третьем этаже отделяется пласт штукатурки и с шумом обрушивается на тротуар. Возмущенно пищат крысы. Комариный столб вырывается из кучи мусора и крутится в воздухе. Через улицу узорчатой металлической лентой заструилась огромная змея, свернулась спиралью перед Щекном и угрожающе подняла ромбическую голову. Щекн даже не останавливается — небрежно и коротко взмахивает передней лапой, ромбическая голова отлетает на тротуар, а он уже трусит дальше, оставив позади извивающееся клубком обезглавленное тело.

Эти чудаки боялись отпустить меня вдвоем со Щекном! Первоклассный боец, умница, с неимоверным чутьем на опасность, абсолютно бесстрашен — не по-человечески бесстрашен... Но. Разумеется, не обходится и без некоторого «но». Если придется, я буду драться за Щекна как за землянина, как за самого себя. А Щекн? Не знаю. Конечно, на Саракше они дрались за меня, дрались, и убивали, и гибли, прикрывая меня, но всегда мне казалось почему-то, что не за меня они дрались, не за друга своего, а за некий отвлеченный, хотя и очень дорогой для них принцип... Я дружу со Щекном уже пять лет, у него еще перепонки между пальцами не отпали, когда мы с ним познакомились, я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями, в которых наши врачи так и не сумели ничего понять. Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, что не прощаю никому в мире. И до сих пор я не знаю, кто я для него...

Вызов с корабля. Вандерхузе сообщает, что Рэм Желтухин нашел на своей свалке ружье. Информация пустяковая. Просто Вандерхузе хочется, чтобы я не молчал. Он очень беспокоится, добрая душа, когда я долго молчу. Мы говорим о пустяках.

Пока мы говорим о пустяках, Щекн ныряет в ближайший подъезд. Оттуда доносится возня, писк, хруст и чавканье. Щекн снова появляется в дверях. Он энергично жует и обирает с морды крысиные хвосты.

Каждый раз, когда я нахожусь на связи, Щекн принимается вести себя как собака — то кормится, то чешется, то ищется. Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраивает демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвлекаюсь от нашего с ним одиночества вдвоем.

Он приносит мне свои извинения, ссылаясь на то, что это вкусно и что он не мог удержаться. Я говорю с ним сухо.

Начинается мелкий моросящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла. Мы минуем семнадцатый квартал (поперечная улица вымощена булыжником), проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося, облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа, и слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой.

В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых, буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый нелепый длинный человек.

Он худой как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка.

Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку — красную, желтую, синюю и зеленую, и беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и дробно и звонко щелкают в замысловатом ритме узловатые пальцы. Паяц. Арлекин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе под серым сеющим дождем на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это, без всякого сомнения, безумец. Еще один безумец.

В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины. Но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые, и оба сумасшедшие, и представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами.

— Это не опасно, — говорит Щекн.

— Мы обязаны ему помочь, — говорю я.

— Как хочешь. Он будет нам мешать.

Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором.

— Опасно сзади! — говорит вдруг Щекн.

Я круто оборачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного: двухэтажный особняк с остатками ядовито-фиолетовой покраски,

фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной пролом в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом, однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напружиненных лапах, низко пригнул голову и настропалил маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток: с самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо. Только шорох дождя.

— В котором окне? — спрашиваю я.

— Не знаю. — Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево. — Ни в каком окне. Хочешь — посмотрим? Но уже меньше... — Тяжелая голова медленно поднимается. — Все. Как всегда.

— Что?

— Как сначала.

— Опасно?

— С самого начала опасно. Слабо. А сейчас было сильно. И опять как сначала.

— Люди? Зверь?

— Очень большая злоба. Непонятно.

Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в мокрой плотной зелени.

Вандерхузе страшно обеспокоен. Я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него. Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и, скорее всего, нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Эспаде.

Сообщение от группы Эспады: его обстреляли. Трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Эспада продолжает движение. Мы — тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности, голос у него совсем жалобный.

Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Эспады капитан — Прогрессор. У Желтухина капитан — Прогрессор. А у нас — Вандерхузе. Все это оправданно, разумеется: Эспада — это группа контакта, Рэм — основной поставщик информации, а мы со Щекном — просто пешие разведчики в пустом безопасном районе. Вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, — а ведь всегда что-нибудь случается, — то рассчитывать нам придется только на себя. В конце концов, старый милый Вандерхузе — это всего-навсего звездолетчик, опытнейший космический

волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3: «При обнаружении на планете признаков разумной жизни НЕМЕДЛЕННО стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания...» А здесь — предупредительный обстрел, очевиднейшее нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот, продолжает движение и вообще прет на рожон...

Дождь прекращается. По мокрому асфальту прыгают лягушки. Становится ясно, чем здесь питаются змеи. А чем питаются лягушки? Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая, заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые, в кузовах громоздится домашний скарб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт?

Щекн вдруг останавливается и выставляет из густой шерсти на макушке треугольные уши. Мы совсем недалеко от перекрестка, перекресток пуст, и проспект за ним тоже пуст, насколько позволяет видеть серая дымка.

— Вонь, — говорит Щекн. И чуть помедлив: — Звери. — И еще помедлив: — Много. Идут сюда. Слева.

Теперь я тоже слышу запах, но это всего лишь запах мокрой ржавчины от грузовиков. И вдруг: тысяченогий топот и костяное постукивание, взвизги, приглушенное рычание, сопение и фырканье. Тысячи ног. Тысячи глоток. Стая. Я озираюсь, ища подходящий подъезд, чтобы отсидеться.

— Дрянь, — говорит Щекн. — Собаки.

В ту же секунду из переулка слева хлынуло. Собаки. Сотни собак. Тысячи. Плотный серо-желто-черный поток, топочущий, сопящий, остро воняющий мокрой псиной. Голова потока уже втянулась в переулок направо, а поток все льется и льется, но вот несколько тварей отделяются от стаи и круто поворачивают к нам — крупные облезлые животные, худущие, в клочьях свалявшейся шерсти. Бегающие нечистые глазки, желтые слюнявые клыки. Тоненько, словно бы жалобно, потявкивая, они приближаются к нам трусцой и не прямо, а по какой-то замысловатой дуге, горбя бугристые туловища и заводя под себя подрагивающие хвосты.

— В дом! — вопит Вандерхузе. — Что же вы стоите? В дом!

Я прошу его не шуметь. Сую руку под клапан комбинезона и берусь за рукоятку скорчера. Щекн говорит:

— Не надо. Я сам.

Он медленно, вразвалку направляется навстречу собакам. Он не

принимает боевой позы. Он просто идет.

— Щекн, — говорю я. — Давай не будем связываться.

— Давай, — отзывается Щекн, не останавливаясь.

Я не понимаю, что он задумал, и, держа скорчер стволом вниз в опущенной руке, иду вдоль колонны грузовиков параллельным курсом. Мне надо увеличить сектор обстрела на тот случай, если грязно-желтый поток разом повернет на нас. Щекн все идет, а собаки остановились. Они пятятся, поворачиваются к Щекну боком, еще сильнее горбясь и совершенно упрятав хвосты между ногами, и, когда до ближайшей остается десяток шагов, они вдруг с паническим визгом бросаются наутек и мгновенно сливаются со стаей.

А Щекн все идет. Прямо по осевой, неторопливо, вразвалочку, словно перекресток перед ним совершенно пуст. Тогда я стискиваю зубы, поднимаю скорчер на изготовку и перехожу на осевую позади Щекна. Грязно-желтый поток уже совсем рядом. От нестерпимой вони (или от страха?) выворачивает наизнанку. Я стараюсь глядеть прямо перед собой и думаю: два удара влево и сразу же удар вправо, два влево и сразу вправо...

И тут внезапно над перекрестком поднимается отчаянный визг. Стая разрывается, очищая дорогу. Давя друг друга, карабкаясь друг на друга, кусая и топча друг друга, визжа, воя, рыча, псы устремляются долой с перекрестка. Через несколько секунд в переулке справа не осталось ни одной собаки, а переулок слева забит шевелящейся массой косматых тел, упирающихся лап и оскаленных пастей. И над этой массой столбом поднимается белесый вонючий пар, и тысячеголосый вой отчаяния и смертельного ужаса забивает мне уши, словно ватой.

Мы пересекаем перекресток, усеянный клочьями грязной шерсти, вопящий ад остается за спиной, и тогда я заставляю себя остановиться и поглядеть назад. Середина перекрестка по-прежнему пуста. Стая повернула. Обтекая колонну грузовых машин, она двигается теперь от нас по проспекту в сторону окраины. Визг и вой понемногу стихают, еще минута — и все становится как прежде: слышится только деловитый тысячелапый топот, костяное постукивание, сопение, фырканье. Я перевожу дух и засовываю скорчер обратно в кобуру. Я здорово перетрусил.

Вандерхузе устраивает нам разнос. Мы получаем выговор. Оба. За наглость и мальчишество. Вообще говоря, Щекн чрезвычайно чувствителен к репримандам, но сейчас он почему-то не протестует. Он только ворчит: «Скажи ему, что никакого риска не было. — И добавляет: — Почти...» Я диктую донесение об инциденте. Я не понял, что произошло на перекрестке, и естественно, что еще меньше меня понимает Вандерхузе. Я

уклоняюсь от его расспросов. Напираю главным образом на то, что сейчас стая движется в направлении корабля.

— Если они дойдут до вас, пугните их огнем, — заключаю я.

Вандерхузе еще раз выражает нам свое неудовольствие и разрешает продолжать движение. Я совершенно отчетливо представляю себе, как он, выразив неудовольствие, привычным щелчком взбивает левую бакенбарду, подправляет правую, а затем, откинувшись в кресле, принимается вновь настороженно ревизовать обзорные экраны в покорном ожидании очередной неминуемой неприятности.

Мы проходим до конца двадцать второго квартала, и тут я замечаю, что живность совершенно исчезла с улицы — ни одной крысы, ни одной змеи, и даже лягушек совсем не видно. Попрятались из-за собак, думаю я нерешительно. Я знаю, что это не так. Это — Щекн.

На четвертом году нашего знакомства вдруг обнаружилось, что Щекн неплохо владеет английским языком. Примерно тогда же я выяснил, что Щекн сочиняет музыку — ну, не симфоническую, конечно, а песенки, простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне приемлемые для слуха землян. А теперь вот еще что-то.

Он косит на меня желтым глазом.

— Как ты догадался про огонь? — осведомляется он.

Я настораживаюсь. Оказывается, я догадался про огонь! Когда же это я успел?

— Смотря про какой огонь, — говорю я наугад.

— Ты не понимаешь, о чем я говорю? Или не хочешь говорить?

Огонь, огонь, торопливо думаю я. Я чувствую, что сейчас мне, может быть, доведется узнать нечто важное. Если не торопиться. Если подавать точные реплики. Когда же это я говорил об огне? Да! «Пугните их огнем».

— Каждый ребенок знает, что животные боятся огня, — говорю я. — Поэтому я и догадался. Разве это было так уж трудно — догадаться?

— По-моему, это было трудно, — ворчит Щекн. — До сих пор ты не догадывался.

Он замолкает и перестает косить глазом. Поговорили. Все-таки он умница. Соображает, что либо я не понял, либо не хочу говорить при посторонних... И в том и в другом случае разговор лучше закруглить... Итак, я догадался про огонь. На самом деле я ни о чем не догадался. Я просто сказал Вандерхузе: «Пугните их огнем». А Щекн решил, что я о чем-то догадался. Огонь, огонь... У Щекна, естественно, не было никакого огня... Значит, был! Только я его не видел, а собаки видели. Вот так так, этого только еще не хватало. Ай да Щекн!

— А ты и обжигал их тоже? — спрашиваю я вкрадчиво.

— Огонь обжигает, — отзывается Щекн сухо.

— И это умеет любой голован?

— Только земляне называют нас голованами. Южные выродки называют нас упырями. А в устье Голубой Змеи нас зовут мороками. А на Архипелаге — «цзеху»... В русском языке нет соответствия. Это значит — «подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа».

— Понятно, — говорю я.

Всего лишь пять лет понадобилось мне, чтобы узнать: оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек, а вообще-то — кто его знает... Всего-навсего пять лет дружбы. Черт подери, почему меня это так задевает, в конце концов?

Щекн улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему.

— Не жадничай, — говорит он. — Зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваши машины и ваша наука...

Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой, — длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу... С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью, крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве, и даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие, полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда.

Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами совершенно ни к селу ни к городу стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с пятидесяти метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, принявшего

на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груду мусора.

Расположен павильон нелепо, и поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглые отверстия с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри, так что широкие створки просторного входа выбило наружу и, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхватив часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта.

Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами.

Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль и брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом: «Люди... Какое же тут может быть сомнение... Разумеется, люди... Железо и огонь, развалины, всегда одно и то же...» Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу, и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края — леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью...

На этой площади нам делать больше нечего. Разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины, одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохи глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагополучна была данная цивилизация к моменту катаклизма, но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы — будь то глобальная пандемия, или всемирная война, или даже геологическая катастрофа — выплескивают на поверхность одну и ту же накипь: ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий...

Сообщение от Эспады: он вступил в контакт. Приказ Комова: всем

группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика...

2 июня 78-го года МАЙЯ ГЛУМОВА, ПОДРУГА ЛЬВА АБАЛКИНА

Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите, а прямо в девять утра направился на Площадь Звезды.

На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из нетесаного мрамора влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую пеструю толпу, а подойдя вплотную, услыхал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, со вчерашнего дня музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой экспозиции. Толпа состояла главным образом из туристов, но особенно негодовали в ней научные работники, выбравшие именно это утро для того, чтобы поработать с экспонатами. Не было им никакого дела до новых экспозиций. Заранее надо было предупреждать их о такого рода административных маневрах. А теперь вот считайте, что день у них пропал... Сумятицу усугубляли кибернетические уборщики, которых, видимо, забыли перепрограммировать, и теперь они бессмысленно блуждали в толпе, путаясь у всех под ногами, шарахаясь от раздраженных пинков и поминутно вызывая взрывы злорадного хохота своими бессмысленными попытками пройти сквозь закрытые двери.

Уяснив обстановку, я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание и по тенистой аллейке прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то вьющихся растений. Эта пластиковая, под мореный дуб дверца тоже была заперта. У порога маялся еще один киберуборщик. Вид у него был безнадежно унылый: за ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь, в тени, шансов вновь накопить энергию у него было немного.

Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался замогильный голос:

— Музей внеземных культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю.

— Массаракш! — произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности.

Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли.

Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь.

— Музей внеземных культур... — затянул было замогильный голос и вдруг смолк.

Дверь распахнулась.

— То-то же, — сказал я и вошел.

Кибер остался за порогом.

— Ну? — сказал я ему. — Заходи.

Но он попятился, словно бы не решаясь, и в ту же секунду дверь снова захлопнулась.

В коридорах стоял не очень сильный, но весьма специфический запах. Я уже давно успел заметить, что каждый музей обладает своим запахом. Особенно мощно пахло в зоологических музеях, но и здесь тоже попахивало основательно. Внеземными культурами, надо полагать.

Я заглянул в первое попавшееся помещение и обнаружил там двух совсем молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Я спросил, где мне найти Майю Тойвовну, получил подробные указания и пошел блуждать по переходам и залам Спецсектора предметов материальной культуры невыясненного назначения. Здесь я никого не встретил. Широкие массы сотрудников пребывали, по-видимому, в центральных помещениях, где и занимались новой экспозицией, а здесь не было никого и ничего, кроме предметов невыясненного назначения. Но уж зато предметов этих я нагляделся по дороге досыта, и у меня мимоходом сложилось убеждение, что назначение их как было невыясненным, так и останется таковым во веки веков, аминь.

Майю Тойвовну я нашел в ее кабинете-мастерской. Когда я вошел, она подняла мне навстречу лицо — красивая, мало того — очень милая женщина, прекрасные каштановые волосы, большие серые глаза, слегка вздернутый нос, сильные обнаженные руки с длинными пальцами, свободная синяя блузка-безрукавка в вертикальную черно-белую полоску. Прелестная женщина. Над правой бровью у нее была маленькая черная родинка.

Она глядела на меня рассеянно, и даже не на меня, а как бы сквозь меня, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она положила их перед собой и забыла о них.

— Прошу прощения, — сказал я. — Меня зовут Максим Каммерер.

— Да. Слушаю вас.

Голос у нее тоже был рассеянный, и сказала она неправду: не слушала она меня. Не слышала она меня и не видела. И вообще ей было явно не до

меня сегодня. Любой приличный человек на моем месте извинился бы и потихоньку ушел. Но я не мог позволить себе быть приличным человеком. Я был сотрудником КОМКОНа-2 на работе. Поэтому я не стал ни извиняться, ни тем более уходить, а просто уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на физиономии простодушную приветливость, спросил:

— Что это у вас сегодня с музеем? Никого не пускают...

Кажется, она немножко удивилась:

— Не пускают? Разве?

— Ну я же вам говорю! Еле-еле пропустили через служебный вход.

— А, да... Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?

Я повторил, что я Максим Каммерер, и принялся излагать свою легенду.

И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица, она вся вспыхнула и буквально впилась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца. Она только медленно подняла со стола свои безвольно лежавшие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок.

— Вы сами его знали? — спросила она.

Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи.

— И вы обо всем этом напишете?

— Разумеется, — сказал я. — Но этого мало.

— Мало — для чего? — спросила она.

На лице ее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживала смех. У нее даже глаза заблестели.

— Понимаете, — начал я снова, — мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...

— Но он же не стал специалистом в своей области, — сказала она. — Они же сделали его Прогрессором. Они же его... Они...

Нет, не смех она сдерживала, а слезы. И теперь перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О Господи! Женские слезы — это вообще ужасно, а тут я вдобавок ничего не понимал. Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете-мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей — только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения.

А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол, она судорожно вздыхала, всхлипывала и все не открывала лица, а потом вдруг принялась говорить и говорила так, будто думала вслух — перебивая самое себя, без всякого порядка и без всякой цели...

...Он лупил ее — ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года, — она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые...

...Это было прекрасно — быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал — для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для нее. И нырял на тридцать два метра — для нее. И писал стихи по ночам — тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь, и все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его Учитель...

...У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал его из леса...

...Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков вместе взятых. И тогда он выхватил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» И он

еще не успел повалиться, как она поняла, что он был прав. Был прав всегда, с самого начала. Но она, дура, дура, дура, так и не захотела признать этого...

...А в последний его год, когда она вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то случилось. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины. Он посмотрел сквозь нее и отвернулся. И больше уже не смотрел на нее. Она перестала существовать для него, как и все остальные. Он утратил свою вещь и примирился с потерей. А когда он снова вспомнил о ней, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, в котором он был владыкой, а она — самым ценным, что он имел. Они уже начали превращать его, он был уже почти Прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным. Он писал ей, она не отвечала. Он звал ее, она не откликалась. А надо было ему не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, стало бы по-прежнему. Но он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг, и он перестал ей писать...

...Последнее его письмо, как всегда написанное от руки, — он признавал только письма от руки, никаких кристаллов, никаких магнитных записей, только от руки, — последнее его письмо пришло как раз оттуда, из-за Голубой Змеи. «Стояли звери около двери, — писал он, — в них стреляли, они умирали». И больше ничего не было в этом последнем его письме...

Она лихорадочно выговаривалась, всхлипывая и сморкаясь в смятые лабораторные салфетки, и вдруг я понял, и через секунду она сказала это сама: она виделась с ним вчера. Как раз в то самое время, когда я звонил ей и беседовал с конопатым Тойво, и когда я дозванивался до Ядвиги, и когда я разговаривал с Экселенцем, и когда я валялся дома, изучая отчет об операции «Мертвый мир», — все это время она была с ним, смотрела на него, слушала его, и что-то там у них происходило такое, из-за чего она сейчас плакалась в жилетку незнакомому человеку.

2 июня 78-го года МАЙЯ ГЛУМОВА И ЖУРНАЛИСТ КАММЕРЕР

Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился — только на несколько секунд раньше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнять свой долг. Эти затхлые, шершавые слова. После того, что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг?

Но я знал, что это не так. Это не так по многим причинам. Например, потому, что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинают. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас...

Она вдруг снова спросила:

— Кто вы такой?

Она задала этот вопрос голосом надтреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие, совсем больные глаза.

Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей, все равно она была одна, может быть, даже кто-то и подходил к ней и пытался заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что здесь никто ничего не знал и не мог знать о человеке, переполнившем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода, и вот появился я и назвал имя Льва Абалкина — словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела наконец выкричаться, выплакаться, освободиться от боли, разум ее освободился, и тогда я перестал быть целителем, а стал тем, кем и был на самом деле, — совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным двадцать лет назад, двадцать лет ничего не знать о нем, двадцать лет не слышать его имени, а потом, двадцать лет спустя, снова

встретиться с ним и провести с ним ночь, страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки, и чтобы наутро, впервые за двадцать лет, услыхать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего человека...

— Кто вы такой? — спросила она надтреснутым и сухим голосом.

— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил я в третий раз, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. — Я в некотором роде журналист... Но ради бога... Я, видимо, попал не вовремя... Понимаете, я собираю материал для книги о Льве Абалкине...

— Что он здесь делает?

Она мне не верила. Может быть, она чувствовала, что я ищу не материал о Льве Абалкине, а самого Льва Абалкина. Мне надо было приспосабливаться. И побыстрее. И я, разумеется, приспособился.

— В каком смысле? — спросил журналист Каммерер озадаченно и с некоторой даже тревогой.

— У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

— З-задание? Н-не совсем понимаю... — Журналист Каммерер был жалок. Без всякого сомнения, он был не готов к такой встрече. Он попал в дурацкое положение помимо своей воли и совершенно не представлял себе, как из этого положения выпутаться. Больше всего на свете журналисту Каммереру хотелось убежать. — Майя Тойвовна, ведь я... Ради бога, вы не подумайте только... Считайте, что я ничего здесь не слышал... Я уже все забыл!.. Меня здесь вообще не было!.. Но если я могу чем-то помочь вам...

Журналист Каммерер лепетал бессвязицу и был багров от смущения. Он уже не сидел. Он в предупредительной и крайне неудобной позе как бы нависал над столом и все пытался ободряюще взять Майю Тойвовну за локоть. Он был, вероятно, довольно противен на вид, но уж наверняка совершенно безвреден и глуповат.

— ...У меня, видите ли, такая манера работы... — бормотал он в жалкой попытке как-то оправдаться. — Вероятно, спорная, не знаю, но раньше мне всегда это удавалось... Я начинаю с периферии: друзья, сотрудники... Учителя, разумеется... Наставники... а потом уже — так сказать, во всеоружии — приступаю к главному объекту исследования... Я справлялся в КОМКОНе, мне сказали, что Абалкин вот-вот должен вернуться на Землю... С Учителем я уже поговорил... С врачом... Потом решил — с вами... Но не вовремя... Простите и еще раз простите. Я же не слепой, я вижу, что получилось какое-то крайне неприятное совпадение...

И он таки успокоил ее, этот неуклюжий и глуповатый журналист Каммерер. Она откинулась в кресле и прикрыла лицо ладонью. Подозрения

исчезли, проснулся стыд, и навалилась усталость.

— Да, — сказала она. — Это совпадение...

Теперь журналисту Каммереру следовало повернуться и удалиться на цыпочках. Но не такой он был человек, этот журналист. Не мог он вот так, попросту, оставить в одиночестве измученную, расстроенную женщину, без всякого сомнения нуждающуюся в помощи и поддержке.

— Разумеется, совпадение, и не более того... — бормотал он. — И забудем, и ничего не было... Потом, когда-нибудь, когда вам будет удобно... угодно... Я бы с величайшей благодарностью, разумеется... Конечно, это не в первый раз случается в моей работе, что я сначала беседую с главным объектом, а потом уже... Майя Тойвовна, может быть, позвать кого-нибудь? Я мигом...

Она молчала.

— Ну и не надо, ну и правильно... Зачем? Я посижу здесь с вами... на всякий случай...

Она наконец отняла руку от глаз.

— Не надо вам со мной сидеть, — устало сказала она. — Ступайте лучше к своему главному объекту...

— Нет-нет-нет! — запротестовал журналист Каммерер. — Успею. Объект, знаете, объектом, а я бы не хотел оставлять вас одну... Времени у меня сколько угодно... — Он посмотрел на часы с некоторой тревогой. — А объект теперь никуда не денется! Теперь я его поймаю... Да его и дома-то сейчас, скорее всего, нет. Знаю я этих Прогрессоров в отпуске... Бродит, наверное, по городу и предается сентиментальным воспоминаниям...

— Его нет в городе, — сказала Майя Тойвовна, пока еще сдерживаясь. — Вам до него два часа лету...

— Два часа лету? — Журналист Каммерер был неприятно поражен. — Позвольте, но у меня определенно сложилось впечатление...

— Он на Валдае! Курорт «Осинушка»! На озере Велье! И имейте в виду, что нуль-Т не работает!

— М-м-м! — очень громко произнес журналист Каммерер.

Двухчасовое воздушное путешествие, безусловно, не входило в его планы на сегодняшний день. Можно было даже заподозрить, что он вообще противник воздушных путешествий.

— Два часа... — забормотал он. — Так-так-так... Я как-то совсем по-другому это себе представлял... Прошу извинить меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?

— Наверное, можно, — сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом. — Я не знаю его номера... Послушайте, Каммерер, дайте мне

остаться одной. Все равно вам сейчас от меня никакого толку.

И вот только теперь журналист Каммерер осознал всю неловкость своего положения до конца. Он вскочил и бросился к двери. Спохватился, вернулся к столу. Пробормотал нечленораздельные извинения. Снова бросился к двери, опрокинув по дороге кресло. Продолжая бормотать извинения, поднял кресло и поставил его на место с величайшей осторожностью, словно оно было из хрусталя и фарфора. Попятился, кланяясь, выдавил задом дверь и вывалился в коридор.

Я осторожно прикрыл дверь и некоторое время постоял, растирая тыльной стороной ладони затекшие мускулы лица. От стыда и отвращения к самому себе меня мутило.

2 июня 78-го года «ОСИНУШКА». ДОКТОР ГОАННЕК

С восточного берега «Осинушка» выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогоре не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом — надо полагать, удил рыбу, очень уж был неподвижен.

Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Велье, чистая и сладкая, плыть было одно удовольствие.

Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся наконец от поплавка и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом:

— Так и бредете из Москвы в одних трусах?

Опять это был старикан лет под сто, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый или даже, я бы сказал, почти черный. Возможно, по контрасту со своими незапятнанно белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые — маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его, несомненно, лысую голову и делала похожим не то на отставного жокея, не то на марк-твеновского школьника, удравшего из воскресной школы.

— Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество, — сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки.

— Вранье, — сказал он. Кратко сказал. Увесисто.

— Говорят, здесь время можно неплохо провести, — сказал я.

— Смотря кому, — сказал он.

— Модный курорт, говорят, здесь, — сказал я.

— Был, — сказал он.

Я иссяк. Мы помолчали.

— Модный курорт, юноша, — наставительно произнес он, — был здесь три сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Брячеслав, «тому обратно». Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроядения и диких дебрей... «Дикие скалы —

вот мой приют», видите ли... Таймыр и Баффинова Земля, знаете ли... Космонавт? — спросил он вдруг. — Прогрессор? Этнолог?

— Был, — сказал я не без злорадства.

— А я врач, — сказал он, не моргнув глазом. — Полагаю, вам я не нужен? Последние три сезона я редко кому здесь был нужен. Впрочем, опыт показывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается: почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен?

— Только как приятный собеседник, — сказал я искренне.

— Ну что ж, и на том спасибо, — отозвался он с готовностью. — Тогда пойдемте пить чай.

И мы пошли пить чай.

Доктор Гоаннек обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, как-то: крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двуспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к Линии Доставки. На задах, в зарослях могучей крапивы, имела место кабина нуль-Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника.

Чай у доктора состоял из: ледяного свекольника, пшенной каши с тыквой и шипучего, с изюмом, кваса. Собственно чая, чая как такового, не было, — по глубокому убеждению доктора Гоаннека, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай представлял собою кулинарный нонсенс.

Доктор Гоаннек был старожилом «Осинушки» — он принял здешнюю практику двенадцать сезонов назад. Он видывал «Осинушку» и заурядным курортом, каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только средняя полоса способна сделать отдыхающего счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы, безнадежного упадка.

Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в «Осинушку» всего лишь троих.

В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых ассенизаторов, только что прибывших из Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара — негр банту и малайка — перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через

неделю от них пришла с Фолклендских островов телеграмма с подобающими извинениями.

Да вот еще вчера рано утром объявился нежданно-негаданно в «Осинушке» некий странный юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта — за это доктор Гоаннек мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком — не был он похож на человека, путешествующего пешком: пеших туристов доктор Гоаннек безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль-транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль-связь барахлит из-за флюктуаций нейтринного поля, а значит, в «Осинушку» нуль-транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается: если этот юноша попал сюда чисто случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гоаннека, словно именно в докторе Гоаннеке он нуждался всю свою жизнь?

Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Каммереру несколько туманным, и доктор Гоаннек не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гоаннек лично. Ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение, и таковое истощение действительно имело место, причем настолько сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гоаннек, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гоаннек счел необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, которое, к счастью, не обнаружило никакой патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через два-три часа как ни в чем не бывало принимал гостей.

Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом — на стандартном глайдере... Собственно, не гости, а гостья. И очень правильно: для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гоаннека аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например... Доктор Гоаннек привел пример номер один. Или, скажем... Доктор Гоаннек привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является... И доктор Гоаннек привел примеры за номерами три, четыре и пять.

Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Каммерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою

Прогрессором тоже однажды оказался на грани нервного истощения, однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гоаннеком с негодованием. С Прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе — гораздо сложнее, а в известном смысле, наоборот, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гоаннек никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был Прогрессором...

Но странный юноша, разумеется, не был Прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать Прогрессором: у него для этого малопригодный тип нервной организации. Нет, не Прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это был далеко не первый и даже не десятый случай в богатой практике доктора Гоаннека. Помнится... И доктор Гоаннек принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными Иксами, Бетами и даже Альфами...

Турист Каммерер, бывший Прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он нипочем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Каммерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отметено прочь как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем доктор Гоаннек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего Прогрессора Каммерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Каммерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гоаннеком.

Бывший Прогрессор Каммерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельством, что курорт свободен от нервно-истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя.

— Где жил этот неврастеник? — прямо спросил он и тут же пояснил: — Это я — чтобы туда зря не ходить.

Разговор этот происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько

шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером шесть, стоявшую несколько отдельно от прочих строений, на самом обрыве.

— Превосходно, — объявил турист Каммерер. — Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда... Мне нравится, что там как будто рябина погуще...

Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гоаннек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя «Осинушки». Однако турист и бывший Прогрессор Каммерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим.

— Разумеется, — сухо сказал он. — Я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер двенадцать...

— Как? А вы?

— Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке...

Несомненно, одного-единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гоаннек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Каммерер поспешил наложить последний мазок.

— Пр-р-роклятые годы, — сочувственно произнес он, и дело было сделано.

Кипя безмолвным негодованием, доктор Гоаннек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастеника.

2 июня 78-го года В ИЗБЕ НОМЕР ШЕСТЬ

Мне было ясно, что, скорее всего, «Осинушка» больше никогда не увидит Льва Абалкина и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем неясны. Действительно, как Лев Абалкин попал в эту «Осинушку» и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда десять минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету две минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно: либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем?

И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого Прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые... Выглядит это достаточно беспрецедентно. Одно дело направить в Прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело — определить Прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы — и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями... Кстати, Тристан уже умер... И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша.

Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками.

Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три — даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками.

Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки, окно Линии Доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздью бананов. Видимо, там, у себя в штабе «Ц», Лев Абалкин привык

пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запускается киберуборщик...

Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена — цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но, поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюда с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги.

Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то острое впилось мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом, у самой кушетки.

Все еще на корточках, я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной писчей бумаги, на которой кто-то изобразил стилом человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощекий мальчишка лет двенадцати. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос.

Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем.

И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа, — рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же, среди лаконичных топографических знаков, — почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие,

и крошечные изображения животных — не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты.

Все это было непонятно и уж, во всяком случае, никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и в общем-то веселом лице. Был там еще и шарж на Учителя, Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж: именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил наконец, что за строения изображены на рисунках — четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов... И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось.

Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее. Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тойвовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок...

Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я бы легко увидел перед собою на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушающего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними...

Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Экселенца.

2 июня 78-го года НЕОЖИДАННАЯ РЕАКЦИЯ ЭКСЕЛЕНЦА

Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе было уже достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мной, а с какими-то другими, далекими от меня обстоятельствами. Но, выслушав меня до конца, он сказал угрюмо:

— С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

— Меня связывала легенда, — сказал я сухо.

Он не спорил.

— Что думаешь делать дальше? — спросил он.

— По-моему, сюда он больше не вернется.

— По-моему, тоже. А к Глумовой?

— Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать. Не понимаю. Но шанс, конечно, остается.

— Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?

— Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания — не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить... Особенно если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве...

— Не преувеличивай, — проворчал Экселенц. — Они уже давно не дети. Поставим вопрос так: если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам, примет она его?

— Не знаю, — сказал я. — Скорее всего — да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна.

— Литература, — проворчал Экселенц и вдруг гаркнул: — Ты должен был узнать, зачем он ее вызвал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Я разозлился.

— Ничего этого я узнать не мог, — сказал я. — Она была в истерике, а когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм...

Он прервал меня:

— Тебе придется встретиться с ней еще раз.

— Тогда разрешите мне изменить легенду!

— Что ты предлагаешь?

— Например, так. Я из КОМКОНа. На некоей планете произошло несчастье. Лев Абалкин — свидетель. Но несчастье это так его потрясло, что он бежал на Землю и теперь никого не хочет видеть... Психически надломлен, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло...

Экселенц молчал, предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а затем, сдерживаясь, заговорил снова:

— Поймите, Экселенц, теперь нельзя уже больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубедил, кажется, но, если я снова появлюсь в том же амплуа, это же будет явный вызов здравому смыслу! Либо она поверила, что я — журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить, она просто пошлет к черту толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я — представитель КОМКОНа, тогда я имею право спрашивать, и уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила.

По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов, Экселенцу виднее, что более важно: найти человека или сохранить тайну розыска.

Он спросил, не поднимая головы:

— Зачем тебе понадобилось утром заходить в музей?

Я удивился:

— То есть как — зачем? Чтобы поговорить с Глумовой...

Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал нечто ужасное. Я залепетал как школьник:

— Но ведь она же там работает... Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал...

— Глумова работает в Музее внеземных культур? — отчетливо выговаривая слова, спросил он.

— Ну да, а что случилось?

— В Спецсекторе объектов невыясненного назначения... — тихо проговорил он. То ли спросил, то ли сообщил. У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол его тонкогубого рта пополз влево и вниз.

— Да, — сказал я шепотом.

Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина.

— Экселенц...

— Помолчи! — гаркнул он. И мы оба надолго замолчали.

— Так, — сказал он наконец обычным голосом. — Отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего — ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?

— Два с половиной часа.

— Почему так долго?

— Мне еще озеро надо переплыть.

— Хорошо. Вернешься домой — доложи мне. Торопись.

И экран погас.

Из отчета Льва Абалкина

...Снова усиливается дождь, туман становится еще гуще, так что дома справа и слева почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику — им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуют было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что он не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, а если эксперты и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо, пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом, например, приготовят к его, Щекна, возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к головану иначе как к большой говорящей собаке (ну, там, цирк, чудеса зоопсихологии, то-се...).

Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямиться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно

хорошо именно тогда, когда экспертов не было ни видно и ни слышно. Что же касается персонально того эксперта, который, судя по всему, нацелился сейчас потребить его, Щекна, овсяную похлебку с бобами... И так далее, и так далее, и так далее.

Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается, слушаю всю эту экспертно-бобовую белиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепенение. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом театральном представлении без начала и конца, где все действующие лица поперезабыли свои роли и несут отсебятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться ни на шаг дальше, а тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно: все без толку, ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой...

С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щекн сейчас же обрывает на полуслове длинное, тщательно продуманное оскорбление и как ни в чем не бывало устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхузе наводит порядок у себя на борту: «Срам!.. Мешать полевой группе!.. Немедленно удалю из рубки!.. Отстраню!.. Базар!..»

— Развлекаешься? — тихонько спрашиваю я Щекна.

Он только косится выпуклым глазом.

— Склочник, — говорю я. — И все вы, голованы, склочники и скандалисты...

— Мокро, — невпопад отзывается Щекн. — И полно лягушек. Ступить некуда... Опять грузовики, — сообщает он.

Из тумана впереди явственно и резко тянет вонью мокрого ржавого железа, и минуту спустя мы оказываемся посреди огромного беспорядочного стада разнообразных автомашин.

Здесь и обыкновенные грузовики, и грузовики-фургоны, и гигантские автоплатформы, и крошечные каплевидные легковушки, и какие-то чудовищные самоходные устройства с восемью колесами в человеческий рост. Они стоят посередине улицы и на тротуарах, кое-как, вкривь и вкось, упираясь друг в друга бамперами, иногда налезая друг на друга, — невообразимо ржавые, полуразвалившиеся, распадающиеся от малейшего толчка. Их сотни. Идти быстро невозможно, приходится обходить, протискиваться, перебираться, и все они нагружены домашним скарбом, и скарб этот тоже давно сгнил, истлел, проржавел до неузнаваемости...

Где-то на краю сознания жалобно бубнят усмиренные эксперты,

встревоженно гудит Вандерхузе, но мне не до них. Я с проклятьями вытягиваю ноги из вонючей трясины полусгнившего тряпья и сейчас же с проклятьями проваливаюсь в недра каких-то огромных ящиков, где в грудах затхлой бумаги отчаянно пищат голые розовые крысята, и с проклятьями выкатываюсь, проламывая плечом какую-то гнилую деревянную стенку, под дождь, в лужу, распугивая лягушек... Хрустит и скрипит под ногами битое стекло, раскатываются в стороны какие-то то ли банки, то ли подшипники, прочное на вид никелированное железо разваливается в прах, когда рука пытается опереться на него, а один раз стенка фургона, гигантского, как трансконтинентальный контейнер, вдруг сама собой раскалывается поперек, и с гнилым хрюканьем вываливаются оттуда потоки неузнаваемого мусора в густых клубах отвратительно воняющей пыли...

А потом как-то неожиданно этот безобразный лабиринт кончается.

То есть вокруг по-прежнему машины, сотни машин, но теперь они стоят в относительном порядке, выстроившись по обе стороны мостовой и на тротуарах, а середина улицы совершенно свободна.

Я гляжу на Щекна. Щекн яростно отряхивается, чешется всеми четырьмя лапами сразу, вылизывает спину, плюется, изрыгает проклятия и снова принимается отряхиваться, чесаться и вылизываться.

Вандерхузе тревожно осведомляется, почему мы сошли с маршрута и что это был за склад. Я объясняю, что это был не склад. Мы дискутируем на тему: если это следы эвакуации, то почему аборигены эвакуировались с окраины в центр.

— Обратно я этой дорогой не пойду, — объявляет Щекн и яростным шлепком припечатывает к мостовой пробирающуюся мимо лягушку.

В два часа пополудни Штаб распространяет первое итоговое сообщение. Экологическая катастрофа, но цивилизация погибла по какой-то другой причине. Население исчезло, так сказать, в одночасье, но оно не истребило себя в войнах и не эвакуировалось через Космос — не та технология, да и вообще планета представляет собой не кладбище, а помойку. Жалкие остатки аборигенов прозябают в сельской местности, кое-как обрабатывают землю, совершенно лишены культурных навыков, однако прекрасно управляются с магазинными винтовками. Вывод для нас со Щекном: город должен быть абсолютно пуст. Мне этот вывод представляется сомнительным. Щекну тоже.

Улица расширяется, дома и ряды машин по обе стороны от нас совершенно исчезают в тумане, и я чувствую перед собой открытое пространство. Еще несколько шагов, и впереди из тумана возникает

приземистый квадратный силуэт. Это опять броневик — совершенно такой же, как тот, что попал под обвалившуюся стену, но этот брошен давным-давно, он просел под собственной тяжестью и словно бы врос в асфальт. Все люки его распахнуты настежь. Два коротких пулеметных ствола, некогда грозно уставленных навстречу каждому, кто выходил на площадь, теперь уныло поникли, ржавые капли сочатся из них и лениво стекают на покатый лобовик. Проходя мимо, я машинально толкаю распахнутую боковую дверцу, но она приржавела намертво.

Перед собой я не вижу ничего. Туман на этой площади какой-то особенный, неестественно густой, словно он отстаивался здесь много-много лет и за эти годы слежался, свернулся, как молоко, и просел под собственной тяжестью.

— Под ноги! — командует вдруг Щекн.

Я гляжу под ноги и ничего не вижу. Зато до меня вдруг доходит, что под подошвами уже не асфальт, а что-то мягкое, пружинящее, склизкое, словно толстый мокрый ковер. Я приседаю на корточки.

— Можешь включить свой прожектор, — ворчит Щекн.

Но я уже и без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки — от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка, а под ремешком этим мутной зеленью проглядывает что-то округлое (пуговица? пряжка?), и медленно распрямляются какие-то то ли проволочки, то ли пружинки...

— Они все здесь шли... — говорит Щекн со странной интонацией.

Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные больше легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью — человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне...

— Яма... — говорит Щекн.

Я включаю прожектор. Никакой ямы нет. На сколько хватает луч,

ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник гладкого голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре.

— Ступеньки! — говорит Щекн как бы с отчаянием. — Дырчатые! Глубоко! Не вижу...

У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слыхал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руку, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щекн испуган. Бесстрашный Щекн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом пещеры незнакомое и опасное...

— Дна нет... — говорит он с отчаянием. — Я не умею понять. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся... Мы должны туда идти?

Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею.

— Я не вижу здесь ямы, — говорю я на языке голованов. — Я вижу только ровный прямоугольник асфальта.

Щекн тяжело дышит. Все мускулы его напряжены, и он все теснее прижимается ко мне.

— Ты не можешь видеть, — говорит он. — Ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты. Блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. Не приказывай.

— Дружище, — говорю я. — Что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?

— Не проси, — говорит он. — Не зови. Не приглашай.

— Мы сейчас уйдем отсюда, — говорю я.

— Да. И быстро!

Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на Штаб, и, когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж. Выдвигаются гипотезы, предлагаются меры. Шумно. Щекн понемножку приходит в себя: косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы охотно подчиняемся.

Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами брошенных автомашин. Щекн

снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив. Я усмехаюсь про себя и думаю, что на его месте я сейчас, несомненно, мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым не удалось совладать там, на площади. А вот Щекн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух:

— Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей очень глубоко, не слышно. Но там нет дна! Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему там нет дна и как это может быть.

— Попытайся объяснить, — говорю я ему. — Это очень важно.

Но Щекн не может объяснить. Очень страшно, твердит он. Планеты круглые, пытается объяснить он, и эта планета тоже круглая, я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, прямо в другую пустоту, где нас нет.

— А почему я не видел этой дырки?

— Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я...

Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась.

Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щекна, не уменьшилась ли опасность. Он не задумываясь отвечает, что да, уменьшилась, но ненамного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность, но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щекне поднимается дыбом.

По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом обрушиваются по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она — старая, дырявая, рыхлая, — медленно крутясь и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли.

— Что там у вас происходит? — вопит Вандерхузе.

— Сквозняк какой-то... — отзываюсь я сквозь зубы.

Новый удар ветра заставляет меня пробежаться вперед помимо воли. Это как-то унизительно.

— Абалкин! Щекн! — гремит Комов. — Держитесь середины!

Подальше от стен! Я продуваю площадь, у вас возможны обвалы...

И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта, как раз в тот момент, когда Щекн пытается развернуться носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унизительной компании с какой-то зазевавшейся крысой.

— Все? — раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги.

— Все, — говорит Комов. — Можете продолжать движение.

— Огромное вам спасибо, — говорит Щекн, ядовитый, как самая ядовитая змея.

В эфире кто-то хихикает, не сдержавшись. Кажется, Вандерхузе.

— Приношу свои извинения, — говорит Комов. — Мне нужно было разогнать туман.

В ответ Щекн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятие на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе.

— Лев, — говорит он. — Опасности больше нет. Совсем. Сдуло.

— И на том спасибо, — говорю я.

Информация от Эспады. Чрезвычайно эмоциональное описание Главного Гаттауха. Я вижу его перед собой как живого: невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка лет двухсот на вид, утверждает, будто ему двадцать один год, все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается, на коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы Эспады, на вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью...

Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь — просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени, и поэтому я не сразу замечаю посередине сквера еще один «стакан».

На этот раз он целехонек и блестит как новенький, будто его только сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов, — цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта.

На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма, а Щекн лишний раз

демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, «не интересным его народу»: он немедленно принимается чесаться, повернувшись к «стакану» задом.

Я обхожу «стакан» кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одного взгляда мне вполне достаточно — заполняя своими чудовищными суставчатыми мослами весь объем «стакана», выставив перед собой шипастые полуметровые клешни, тупо и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых бельм гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе.

Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами — в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожит.

А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и решительной схватке, — покачивается на вытянутых напружиненных ногах, выжидательно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится всего несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает:

— В чем дело? Кто тебя обидел?

Я нашариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер на изготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь.

— Я задал тебе вопрос! — заявляет он с негодованием.

— Ты что же, — говорю я сквозь зубы, — до сих пор ничего не чуешь?

— Где? В этой будке? Там ничего нет!

Вандерхузе с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном — если найдется — или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы «стакана».

— В будке ничего нет! — настойчиво повторяет Щекн. — И никого нет. И много лет никого не было. Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет?

— Нет, — говорю я, кое-как управляясь со своими голосовыми связками. — Уйдем отсюда.

— Я только открою дверцу...

— Щекн, — говорю я. — Ты ошибаешься.

— Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь.

— Ты ошибаешься! — рявкаю я. — Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит, ты мне не друг и тебе на меня наплевать!

Я круто поворачиваюсь на каблуках (скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный разряд) и шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная.

Щекн с чрезвычайно недовольным и брезгливым видом шлепает лапами слева и позади. Ворчит и задирается. А когда мы отходим шагов на двести и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки, и поздно уже кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь, и скорчер мой теперь уже совершенно бесполезен, а проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь «стакана»...

Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признающий свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с ним обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на «стакан», чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью, и больше всего на свете мне хочется сейчас прошипеть: «С-с-скотина!..» и со всего размаха, с рыдающим выдохом залепить оплеуху по этой унылой, дурацкой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только:

— Нам повезло. Почему-то они здесь не нападают...

Сообщение из Штаба. Предполагается что «прямоугольник Щекна» является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, Странниками...

Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится, но Щекн не обнаруживает никаких признаков беспокойства.

— На этот раз вы опоздали, — ворчит он.

— Да, похоже на то, — отзываюсь я с готовностью.

После инцидента с ракопауком Щекн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него не часто.

— Странники, — ворчит он. — Я много раз слышал: Странники, Странники... Вы совсем ничего о них не знаете?

— Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем,

что они освоили всю нашу Галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома — в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их Странниками...

— Вы хотите с ними встретиться?

— Да как тебе сказать... Комов отдал бы за это правую руку. А я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда...

— Ты их боишься?

Мне не хочется обсуждать эту проблему. Особенно сейчас.

— Видишь ли, Щекн, — говорю я, — это длинный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный.

— Я поглядываю. Все спокойно.

— Ты заметил, что здесь вся живность исчезла?

— Это потому, что здесь часто бывают люди, — говорит Щекн.

— Вот как? — говорю я. — Ну, ты меня успокоил.

— Сейчас их нет. Почти.

Кончается сорок второй квартал, мы подходим к перекрестку. Щекн объявляет вдруг:

— За углом человек. Один.

Это дряхлый старик в длинном черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной грязной бородой, в перчатках веселой ярко-желтой расцветки, в нелепых башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с огромным трудом, еле ноги волочит. До него метров двадцать, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения.

Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и так же медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по две, по три банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается так же медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку. Потом снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине — длинный, черный, согнутый почти пополам.

Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, вокруг никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется

это сделать — хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой — «колдун», «солдат» или «человек».

Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.

— Я ничего подобного не видел, — объявляет Эспада. — Поговорите с ним, Лев...

— Уж очень он стар, — с сомнением говорит Вандерхузе.

— Сейчас умрет, — ворчит Щекн.

— Вот именно, — говорю я. — Особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне...

Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.

— Все, — говорит Щекн. — Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.

Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.

Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть...

Около восемнадцати часов начинает смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить.

Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров

пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.

Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.

— Этот старик, — произносит он, тщательно вылизывая лапу, — его действительно оживили?

— Да.

— Он снова живой, ходит, говорит?

— Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой.

— Жаль, — ворчит Щекн.

— Жаль?

— Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что ТАМ...

— Где?

— Там, где он был, когда стал мертвым.

Я усмехаюсь:

— Ты думаешь, там что-нибудь есть?

— Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.

— Куда девается электрический ток, когда его выключают? — спрашиваю я.

— Этого я никогда не мог понять, — признается Щекн. — Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я — это мне известно и понятно.

— И где же ты был, когда тебя еще не было? — коварно спрашиваю я.

Но для Щекна это не проблема.

— Я был в крови своих родителей. А до этого — в крови родителей своих родителей.

— Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей...

— А если у меня не будет детей?

— Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях...

— Это не так! В траве и деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?

— В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей...

— Как это — не помню? — удивляется Щекн. — Очень многое помню!

— Ну да, действительно... — бормочу я, сраженный. — У вас же генетическая память...

— Называть это можно как угодно, — ворчит Щекн. — Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей.

Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что ТАМ ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.

Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.

— Ты меня удивляешь, Лев, — объявляет он. — И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?

— Мы работаем, — возражаю я лениво.

— Зачем работать без всякого смысла?

— Почему же — без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.

— Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаёте и узнаёте и ничего не делаете с тем, что узнаёте.

— Ну, например? — спрашиваю я.

Щекн — великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.

— Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?

— Это не совсем яма, — говорю я. — Это скорее дверь в другой мир.

— Вы можете пройти в эту дверь? — осведомляется Щекн.

— Нет, — признаюсь я. — Не можем.

— Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти?

— Сегодня не можем, а завтра сможем.

— Завтра?

— В широком смысле. Послезавтра. Через год...

— Другой мир, другой мир... — ворчит Щекн. — Разве вам тесно в этом?

— Как тебе сказать... Тесно, должно быть, нашему воображению.

— Еще бы! — ядовито произносит Щекн. — Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же начинаете переделывать его наподобие вашего собственного. И конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его...

Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Рядом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.

Это совершенно нормальный абориген — судя по всему, из категории

«человеков» — крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.

Я осторожно завожу руку за спину и включаю линган транслятора.

— Подходи и садись, мы друзья, — одними губами говорю я.

Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишенные приятности звуки.

Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.

— Не бойся, — говорю я. — Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.

Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят.

— У нас вкусная еда, — не сдаюсь я. — Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу...

Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно странно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.

— Уходит, — ворчит Щекн.

И я тут же снова вижу аборигена — он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.

2 июня 78-го года ЛЕВ АБАЛКИН ВООЧИЮ

Около 18.00 ко мне ввалились (без предупреждения) Андрей и Сандро. Я спрятал папку в стол и сразу же строго сказал им, что не потерплю никаких деловых разговоров, поскольку теперь они подчинены не мне, а Клавдию. Кроме того, я занят.

Они принялись жалобно ныть, что пришли вовсе не по делам, что соскучились и что нельзя же так. Что-что, а ныть они умеют. Я смягчился. Был открыт бар, и некоторое время мы с удовольствием говорили о моих кактусах. Потом я вдруг совершенно случайно обнаружил, что говорим мы уже не столько о кактусах, сколько о Клавдии, и это еще было как-то оправданно, поскольку Клавдий своей шишковатостью и колючестью мне самому напоминал кактус, но я и ахнуть не успел, как эти юные провокаторы чрезвычайно ловко и естественно съехали на дело о биореакторах и о Капитане Немо.

Не подавая виду, я дал им войти в раж, а затем, в самый кульминационный момент, когда они уже решили, что их начальник вполне готов, предложил им убираться вон. И я бы их выгнал, потому что здорово разозлился и на них, и на себя, но тут (опять же без предупреждения) заявилась Алена. Это судьба, подумал я и отправился на кухню. Все равно было уже время ужинать, а даже юным провокаторам известно, что при посторонних о наших делах разговаривать не полагается.

Получился очень милый ужин. Провокаторы, забыв обо всем на свете, распускали хвосты перед Аленой. Когда она их срез`ала, распускал хвост я — просто для того, чтобы не давать супу остыть в горшке. Кончился этот парад петухов великим спором: куда теперь пойти. Сандро требовал идти на «Октопусов» и притом немедленно, потому что лучшие вещи у них бывают вначале. Андрей горячился, как самый настоящий музыкальный критик, его выпады против «Октопусов» были страстны и поразительно бессодержательны, его теория современной музыки поражала своей свежестью и сводилась к тому, что нынче ночью самое время опробовать под парусом его новую яхту «Любомудр». Я стоял за шарады или, в крайнем случае, фанты. Алена же, смекнувшая, что я сегодня никуда не пойду и вообще занят, расстроилась и принялась хулиганить. «"Октопусов" — в реку! — требовала она. — По бим-бом-брамселям! Давайте шуметь!» И так далее.

В самый разгар этой дискуссии, в 19.33, закурлыкал видеофон.

Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. И слышно не было ничего, потому что Сандро вопил во всю мочь: «Острова, острова, острова!..», совершая при этом нелепые телодвижения в попытках подражать неподражаемому Б. Туарегу, между тем как Алена, закусив удила, противостояла ему «Песней без слов» Глиэра (а может быть, и не Глиэра).

— Ша! — гаркнул я, пробираясь к видеофону.

Стало несколько тише, но аппарат по-прежнему молчал, мерцая пустым экраном. Вряд ли это был Экселенц, и я успокоился.

— Подождите, я перетащу аппарат, — сказал я в голубоватое мерцание.

В кабинете я поставил видеофон на стол, повалился в кресло и сказал:

— Ну вот, здесь потише... Только имейте в виду, я вас не вижу.

— Простите, я забыл... — произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо — узкое, иссиня-бледное, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие большие глаза, черные прямые волосы до плеч.

Любопытно, что я сразу узнал его, но не сразу понял, что это он.

— Здравствуйте, Мак, — сказал он. — Вы меня узнаете?

Мне нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Я был совершенно не готов.

— Позвольте, позвольте... — затянул я, лихорадочно соображая, как мне следует себя вести.

— Лев Абалкин, — напомнил он. — Помните? Саракш, Голубая Змея...

— Господи! — вскричал журналист Каммерер, в прошлом Мак Сим, резидент Земли на планете Саракш. — Лева! А мне сказали, что вас на Земле нет и неизвестно, когда будете... Или вы еще там?

Он улыбался:

— Нет, я уже здесь... Но я вам помешал, кажется?

— Вы мне никак не можете помешать! — проникновенно сказал журналист Каммерер. Не тот журналист Каммерер, который навещал Майю Глумову, а, скорее, тот, который навещал Учителя. — Вы мне нужны! Ведь я пишу книгу о голованах!..

— Да, я знаю, — перебил он. — Поэтому я вам и звоню. Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами.

— Это как раз не важно, — возразил журналист Каммерер. — Важно, что вы были первым, кто имел с ними дело.

— Положим, первым были вы.

— Нет. Я их просто обнаружил, вот и все. И вообще, о себе я уже

написал. И о самых последних работах Комова материал у меня подобран. Как видите, пролог и эпилог есть, не хватает пустячка — основного содержания... Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго на Землю?

— Не очень, — сказал он. — Но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы...

— Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно, — быстро подхватил журналист Каммерер. — А вот как насчет завтрашнего дня?

Какое-то время он молча всматривался в меня. Я вдруг сообразил, что никак не могу определить цвет его глаз — уж очень глубоко они сидели под нависшими бровями.

— Поразительно, — проговорил он. — Вы совсем не изменились. А я?

— Честно? — спросил журналист Каммерер, чтобы что-нибудь сказать.

Лев Абалкин снова улыбнулся.

— Да, — сказал он. — Двадцать лет прошло. И, вы знаете, Мак, я вспоминаю о тех временах как о самых счастливых. Все было впереди, все еще только начиналось... И, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что начинал я с такими руководителями, как Комов и как вы, Мак...

— Ну-ну, Лев, не преувеличивайте, — сказал журналист Каммерер. — При чем здесь я?

— То есть как это — при чем здесь вы? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы!

Журналист Каммерер вытаращил глаза. Я — тоже, но я вдобавок еще и насторожился.

— Ну, Лев, — сказал журналист Каммерер, — вы, брат, по молодости лет ни черта, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие... Да и то...

— И поставляли идеи! — вставил Лев Абалкин.

— Какие идеи?

— Идея экспедиции за Голубую Змею — ваша?

— Ну, в той мере, что я сообщ...

— Так! Это раз. Идея о том, что с голованами должны работать Прогрессоры, а не зоопсихологи, — это два!

— Погодите, Лев! Это Комова идея! Да мне вообще было на вас всех наплевать! У меня в это время было восстание в Пандее! Первый массовый десант Океанской Империи! Вы-то должны понимать, что такое... Господи!

Да если говорить честно, я о вас и думать тогда забыл! Зеф вами тогда занимался, Зеф, а не я! Помните рыжего аборигена?..

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

— И нечего оскаливаться! — сказал журналист Каммерер сердито. — Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой! Не-ет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Надо же, какими идиотскими легендами все это обросло!..

— Ладно, ладно, я больше не буду, — сказал Абалкин. — Мы продолжим этот спор при личной встрече...

— Вот именно, — сказал журналист Каммерер. — Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так...

Журналист Каммерер поиграл кнопками настольного блокнота.

— Завтра в десять ноль-ноль — у меня... Или, может быть, вам удобнее...

— Давайте у меня, — сказал Лев Абалкин.

— Тогда диктуйте адрес, — скомандовал журналист Каммерер. Он еще не остыл.

— Курорт «Осинушка», — сказал Лев Абалкин. — Коттедж номер шесть.

2 июня 78-го года КОЕ-КАКИЕ ДОГАДКИ О НАМЕРЕНИЯХ ЛЬВА АБАЛКИНА

Сандро и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я действительно хотел остаться один и как следует подумать.

Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея, — это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить.

Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной.

Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял Учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с Учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем?

С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений. Воспоминания о первой настоящей работе. Молодость, самое счастливое время в жизни. Гм. Сомнительно... Альтруистическое желание помочь журналисту (и первооткрывателю возлюбленных голованов) в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием. Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, Экселенц что-то путает... В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается?

Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в «Осинушку», коттедж номер шесть. Никто не отозвался. Как и следовало ожидать.

Ладно, оставим пока это. Далее. Что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался. Язык себе за это откусить мало. «Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов «Ц»!» — «Интересно, откуда вы знаете, Мак, о группе флотов «Ц» и, главное,

почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю?» Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику... Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей...

Но чего же он добивался? Зачем это он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так, в лоб, едва успев поздороваться... Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я — дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная... Но это же вздор! О том, что именно я открыл голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью...

Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное — светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый (скорее всего) адрес в конце...

Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: тобой интересуется некий Максим Каммерер. Вот как? — думает скрывающийся Лев. Очень странно! Стоило мне прибыть на Землю, и вот мною уже интересуется Максим Каммерер. А ведь я знавал Максима Каммерера! Что это? Совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадения. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер, в прошлом Мак Сим... А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести...

Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я НЕ Максим Каммерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Каммерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть...

Но! Это не вся правда и не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых. Зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное соединение, кто-то не туда попал. И все.

А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую... Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо... Либо, с точки зрения Абалкина, эта чушь вовсе не чушь. Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно.

Вполне логично, но как-то странно. При чем здесь голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина голованы сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп!

Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с голованами, он больше всего на свете хотел работать с голованами, он уже весьма успешно работал с голованами, но работать с голованами ему почему-то не дали... Черт побери, а что тут было бы удивительного, если бы у него наконец лопнуло терпение и он плюнул бы на этот свой штаб «Ц», на КОМКОН, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на Землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом, кто — персонально — мешает ему всю жизнь, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу... Вот он и вернулся!

Вернулся и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с голованами, и захотелось ему узнать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела, и он узнал (с помощью нехитрого приема), что нет, не участвовал — занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе...

Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но

только этот разговор и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по КОМКОНу и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией... Впрочем, что-то здравое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселенцу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву.

Я взглянул на часы: 21.51. Будем надеяться, что старик еще не лег.

Действительно, оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Каммерера. Журналист Каммерер расс`ыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло.

— У меня к вам буквально один-два вопроса, Сергей Павлович, — сказал журналист Каммерер озабоченно. — Вы ведь встречались с Абалкиным?

— Да. Я дал ему ваш номер.

— Вы меня простите, Сергей Павлович... Он только что позвонил мне... и он разговаривал со мною как-то странно... — Журналист Каммерер с трудом подбирал слова. — У меня возникло впечатление... Я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться... В конце концов, он мог вас неправильно понять...

Старик насторожился.

— В чем дело? — спросил он.

— Вы ведь рассказали ему обо мне?.. Н-ну, о нашем с вами разговоре?..

— Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?

— Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним пятнадцать лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то... Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с голованами! Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований... Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того...

— Позвольте, позвольте, молодой человек! — Старик поднял руку. — Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь...

— Ну... может быть... вы как-то недостаточно точно сформулировали...

— Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал! Я ему сказал, что некий журналист Каммерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то. Позвони ему. Все. Вот все, что я ему сказал.

— Ну тогда я не понимаю, — сказал журналист Каммерер почти в отчаянии. — Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так... Тогда я не знаю... Тогда это что-то болезненное. Мания какая-то. Вообще эти Прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на Земле они иногда совершенно распускаются... Нервы у них сдают, что ли...

Старик завесил глаза бровями.

— Н-ну, знаете ли... В конце концов, не исключено, что Лева действительно меня недопонял... А точнее сказать, недослышал... Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент...

— Да нет, я ничего такого не хочу сказать... — попятился журналист Каммерер. — Возможно, что это именно я недопонял Льва... Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид... Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым... Вам не показалось, Сергей Павлович?

Да, Сергею Павловичу это тоже показалось. Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой простодушно-общительного журналиста Каммерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то, видимо, свои мысли, рассказал, как это все у них произошло.

Примерно в 17.00 С. П. Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу «Комарики» и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через пятнадцать минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне, среди шумящих сосен, между учеником и Учителем состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме.

Едва поздоровавшись, фактически не давши старому Учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил,

чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в Институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости своей и неопытности намеревался поступить, а в школу Прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой.

Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С. П. Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в Институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С. П. Федосеев, узнав о нелепом, с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального Совета Просвещения. И именно он, С. П. Федосеев, был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. («Мне предъявили там заключение четырех экспертов и как дважды два доказали, что я — старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович...»)

Дойдя до этого пункта, старик замолчал.

— И что же он? — осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами:

— Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру.

Мы помолчали. Потом старик добавил:

— Вот тут-то я и вспомнил про вас... Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания... Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того... Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу...

2 июня 78-го года КОРОТКИЙ РАЗГОВОР

Экселенц был дома. Облаченный в строгое черное кимоно, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

— Экселенц, — сказал я, — мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще.

— Вступал, — сказал Экселенц и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом.

— Могу я узнать — с кем?

— Можешь. Со мной.

Я осекся. Экселенц подождал немного и приказал:

— Докладывай.

Я доложил. Оба разговора — дословно, выводы свои — вкратце, а в конце добавил, что, по моему мнению, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Раулингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с голованами. А также на этого доктора Серафимовича — тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселенц молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос:

— Можно узнать, о чем он говорил с вами? Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас.

— Тебя это удивляет... Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой: не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился.

— Почему вы, собственно, думаете, что это был он?

— Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

— Так, может быть, этот человек...

— Нет, этого быть не может... Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом, он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что.

— Хотя по типу нервной организации быть Прогрессором ему...

— Это не твоя компетенция, — сказал Экселенц резко. — Не отвлекайся. К делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил.

— Понял. А если я все-таки наткнусь на него?

— Возьмешь у него интервью для своей книги. А потом доложишь мне. Не больше и не меньше.

2 июня 78-го года КОЕ-ЧТО О ТАЙНАХ

Около 23.30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет.

Я решил начать со Щекна. Щекн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеет о реальных возможностях этого восьмого (или теперь уже девятого?) чуда света — Большого Всепланетного Информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я, при всем своем опыте и всей своей сноровке, отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью.

Я послал одиннадцать запросов — три из них, как выяснилось, оказались лишними — и получил в результате следующую информацию о голованe Щекне.

Полное его имя было, оказывается, Щекн-Итрч. С семьдесят пятого года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии, истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за семью печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства.

Вообще фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительны, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять (или опустить — как кому нравится) руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет десять назад в минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову!..»

Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало и в дальнейшем не забывать слова Раулингсона.

Располагалась миссия на реке Телон в Канаде, северо-западнее Бэйкер-лейк. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме нуль-Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами, однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях или, говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и втуне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бэйкер-лейк.

Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер двенадцать лет назад в возрасте ста восемнадцати лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского Совета Просвещения, член Всемирного совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль.

Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже два года имел адресом виллу «Лагерь Яна» в десятке километров к северу от Антонова, в приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли два малоприметных обстоятельства.

Первое: Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном.

Второе: Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 38-го года.

Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшмаа были не члены группы «Йормала», а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало».

Я не поверил собственной памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста: «...встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность...» Случайность. Ну, там у них, на Гиганде, может быть, и произошла некая случайность: Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 38-го года, встретился с Корнеем Яшмаа, посмертным сыном,

родившимся 6 октября 38-го года... А у меня это что — тоже случайность? «Близнецы». От разных родителей. «Если не веришь, загляни в 07 и 11». Так. «07» — передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и «11». И логично предположить, что есть и «01», «02» и так далее... Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр: «07». Дела у нас (конечно, не в папках, а в кристаллозаписи) обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов...

Между прочим, что это за эксперимент «Зеркало»? Никогда о таком не слыхал... Мысль эта прошла как-то вторым планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил: «ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК». Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд: «ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК». Я откинулся на спинку кресла. Вот это да! Впервые в моей практике допуска КОМКОНа-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ.

И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною — огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина — она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек.

И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту «Зеркало». Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение, я сразу связал между собою все — и странное поведение Ядвиги Лекановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого «вместилища документов», и странный шифр, и отказ Экселенца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходную установку не вступать с Абалкиным ни в какие контакты... А теперь вот еще — фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшмаа.

Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему Экселенц поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот

розыск не хуже, а может быть, и лучше меня, но Экселенц, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку Экселенц доверял как самому себе.

А ведь тайна Льва Абалкина — это вдобавок еще и тайна личности! Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых — о ней ничего не должна знать сама личность... Простейший пример: информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее: тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом...

Ну что ж, Экселенц сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. В наше время и на нашей планете все тайны, на мой взгляд, отдают какой-то гадостью. Признаю, что многие из них вполне сенсационны и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться, а еще неприятнее — посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в КОМКОНе-2 большинство работников придерживается той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя брезгливость к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина «раскрыть тайну», я говорю обычно «раскопать тайну» и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова.

Вот как сейчас, например.

Из отчета Льва Абалкина

...В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных проемов, а в редких сквериках и на газонах мерцают маленькие мертвенные радуги — это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает и повисает над проспектом первая луна — огромный иззубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом.

У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше луну

увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной Луне он всегда относился совершенно индифферентно, насколько мне это известно, во всяком случае.

Потом мы замечаем детей.

Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, куда и мы со Щекном. Судя по одежде — мальчики. Один повыше, лет восьми, другой совсем маленький, лет четырех или пяти. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали и едва передвигают ноги... Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается плоская сумка, он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам.

Транслятор сухим бесстрастным голосом переводит: «Устал, болят ноги... Иди, тебе сказано... Иди... Нехороший человек... Ты сам нехороший, дурной человек... Змея с ушами... Ты сам несъедобный крысиный хвост...» Так. Остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом валят «крысы», «змеи», «дурнопахнущие животные» и прочая фауна. Потом младший принимается громко рыдать, и транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться.

— Здравствуйте, ребята, — говорю я одними губами.

Я подошел к ним вплотную, но они только сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать — глядит на меня, широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но исподлобья, неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я опускаюсь перед ним на корточки и говорю:

— Не бойся. Я добрый. Обижать не буду.

Я знаю, что линганы не передают интонацию, и поэтому стараюсь подбирать простые успокаивающие слова.

— Меня зовут Лев, — говорю я. — Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?

Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит исподлобья — с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз — видно, что ему и страшно, и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову.

— Вы устали, — говорю я. — Вы хотите есть и пить. Сейчас я вам дам вкусненького...

И тут старшего прорывает. Вовсе они не устали, и не надо им ничего вкусненького. Сейчас он расправится с этой крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так.

Очень хорошо. Никто им не собирается мешать. А куда они идут?

Куда им надо, туда они и идут.

А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно было бы поднести на плече...

В конце концов все улаживается. Съедается четыре плитки шоколада и выпивается две фляги тонизатора. В маленькие рты выдавливается по полтюбика фруктовой массы. Внимательно обследуется радужный комбинезон Льва и (после краткого, но чрезвычайно энергичного спора) позволяется один раз (только один!) погладить Щекна (но ни в коем случае не по голове, а только по спине). На борту у Вандерхузе все рыдают от умиления и раздается мощное сюсюканье.

Далее выясняется следующее.

Мальчики — братья, старшего зовут Ияддрудан, а младшего Притулатан. Жили они довольно далеко отсюда (уточнить не удается) с отцом в большом белом доме с бассейном во дворе. Совсем еще недавно с ними вместе жили две тетки и еще один брат — самый старший, ему было восемнадцать лет, — но они все умерли. После этого отец никогда не брал их с собой за продуктами, он стал ходить сам, один, а раньше они ходили всей семьей. Вокруг много продуктов — и там-то, и там-то, и там-то (уточнить не удается). Уходя один, отец каждый раз приказывал: если он не вернется до вечера, надо взять Книгу, выходить на этот вот проспект и идти все время вперед и вперед до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо — надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут их туда, где будут и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому, что ночью на улицах не бывает дурных человеков. Они бывают только днем. Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо... Нет, больше никого они не знают и не видели. Правда, когда-то давно к ним в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом, а потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все они громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил, эти люди ушли и больше никогда не приходили...

Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. Иядрудан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он

только позволил мне приладить половчее свою сумку с Книгой и теперь с независимым видом идет рядом, засунув руки в карманы. Щекн бежит впереди, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он так же, как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков — некое светящееся здание — как раз и есть тот самый объект «Пятно-96».

...Что написано в Книге, Иядрудан пересказать не умеет. В эту Книгу все взрослые каждый день записывали обо всем, что случается. Как Притулатана укусил ядовитый муравей. Как вода вдруг стала уходить из бассейна, но отец ее остановил. Как тетка умерла — открывала консервную банку, мама смотрит, а тетка уже мертвая... Иядрудан эту Книгу не читал, он плохо умеет читать и не любит, у него плохие способности. Вот у Притулатана очень хорошие способности, но он еще маленький и ничего не понимает. Нет, им никогда не было скучно. Какая может быть скука в доме, где пятьсот семь комнат? А в каждой комнате полно всяких диковинных вещей, даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь — редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы винтовка, но отец настрого запретил выходить на улицу... Нет, из своей винтовки отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы уйдем к светящемуся дому и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там-то мы будем стрелять сколько захотим... А может быть, это ты отведешь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет, а отец говорил, что все добрые люди — с винтовками...

— Нет, — говорю я. — Не сумею я тебя отвести к маме. Я здесь чужой и сам бы хотел встретиться с добрыми людьми.

— Жалко, — говорит Иядрудан.

Мы выходим на площадь. Объект «Пятно-96» вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрусталя во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее изнутри, озаряя растрескавшийся, проросший черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не сразу замечаешь широкий, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут несколько низких плоских ступеней.

— Игрушки!.. — благоговейно шепчет Притулатан и принимается ерзать, сползая с меня.

Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют вовсе не драгоценности, а разноцветные игрушки, сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно аляповатых игрушек — несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии.

Маленький способный Притулатан немедленно принимается ныть и клянчить, чтобы все пошли в этот волшебный дом, это ничего, что папа не велел, мы только на минуточку зайдем, возьмем вон тот грузовик и сейчас же начнем ждать добрых людей... Иядрудан пытается пресечь его, сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытье теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок «крысоухих змей», возмущенно галдит борт Вандерхузе, требуя успокоить и утешить, и вдруг все, включая способного Притулатана, разом замолкают.

У ближайшего угла вдруг объявляется давешний абориген с винтовкой. Мягко и бесшумно ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас со Щекном он даже не смотрит. Крепко берет затихшего Притулатана за левую руку, а просиявшего Иядрудана — за правую и ведет их прочь, через площадь, прямо к светящемуся зданию — к маме, к отцу, к безграничным возможностям стрелять сколько угодно.

Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя...

— Ты узнал? — спрашивает Щекн.

— Что именно? — отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удается избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид.

— Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки...

Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди, словно маятник — слева направо, справа налево... Она не может так раскачиваться. Не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка весом уж никак не меньше полупуда. Так может мотаться игрушечная винтовка — деревянная, пластмассовая. У этого «доброго человека» винтовка не настоящая...

Я не успеваю додумать до конца все. Игрушечная винтовка у

аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка — из этого игрушечного павильона?.. Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки... Это ведь точно такой же павильон... Нет, ничего я не успел додумать до конца.

Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного дома, третьего от угла, сверху вниз, наискосок, через черные провалы окон скользит широкая желтая тень — скользит так легко, так невесомо, не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно, в два голоса визжат на площади дети, а тень уже на асфальте — такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразличимо, и в этом мелькании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик...

Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопауком и детскими фигурками, улепетывающими наискосок через площадь. (Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой, он тоже бежит изо всех сил, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу.) Расстояние стремительно сокращается, все совершенно ясно, и, когда ракопаук оказывается у меня на траверзе, я стреляю.

В этот момент до него двадцать метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из скорчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что ракопаук словно бы взрывается. Сразу. Весь целиком, от клешней до кончика задней ноги. Как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром, эхо пошло отражаться и перекатываться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая туча белого пара.

Все кончено. Облако пара расползается с тихим шипением, панические визги и топот затихают в глубине темного переулка, а драгоценная шкатулка павильона как ни в чем не бывало сияет посередине площади прежним своим варварским великолепием...

— Черт знает, какая дрянь страшная, — бормочу я. — Откуда они здесь взялись — за сто парсеков от Пандоры?.. А ты что, опять его не учуял?

Щекн не успевает ответить. Гремит винтовочный выстрел, эхом прокатывается по площади, и сразу же за ним — второй. Где-то совсем близко. Как будто за углом. Ну ясно, из того переулка, куда они все

убежали...

— Щекн, держись слева, не высовывайся! — командую я уже на бегу.

Я не понимаю, что там происходит, в этом переулке. Скорее всего, на детей напал еще один ракопаук... Значит, винтовка все-таки не игрушечная? И тут из темноты переулка выходят и останавливаются, преграждая нам дорогу, трое. И двое из них вооружены настоящими магазинными винтовками, и два ствола направлены прямо на меня.

Все очень хорошо видно в голубовато-белом свете: рослый седой старик в сером мундире с блестящими пуговицами, а по сторонам его и чуть позади — двое крепких парней с винтовками на изготовку, тоже в серых мундирах, опоясанных ремнями с патронными сумками.

— Очень опасно... — щелкает Щекн на языке голованов. — Повторяю: очень!

Я перехожу на шаг и с некоторым усилием заставляю себя спрятать скорчер в кобуру. Я останавливаюсь перед стариком и спрашиваю:

— Что с детьми?

Дула винтовок направлены мне прямо в живот. В брюхо. Лица у парней угрюмые и совершенно безжалостные.

— С детьми все в порядке, — отвечает старик.

Глаза у него светлые и как будто даже веселые. В лице его нет той тяжеловесной мрачности, как у вооруженных парней. Обыкновенное морщинистое лицо старого человека, не лишенное даже известного благообразия. Впрочем, может быть, мне это только кажется, может быть, все дело в том, что вместо винтовки у него в руке блестящая, отполированная трость, которой он легонько и небрежно похлопывает себя по голенищу высокого сапога.

— В кого стреляли? — спрашиваю я.

— В нехорошего человека, — переводит транслятор ответ.

— Вы, наверное, и есть те самые добрые люди с винтовками? — спрашиваю я.

Старик задирает брови:

— Добрые люди? Что это значит?

Я объясняю ему то, что мне объяснил Иядрудан. Старик кивает.

— Понятно. Да, мы — те самые добрые люди. — Он разглядывает меня с головы до ног. — А у вас дела, я вижу, идут неплохо... Переводящая машинка за спиной... У нас тоже такие были когда-то, но огромные, на целые комнаты... А такого ручного оружия у нас и вовсе никогда не было. Ловко вы этого нехорошего человека срезали! Как из пушки. Давно прилетели?

— Вчера, — говорю я.

— А вот мы свои летающие машины так и не наладили. Некому налаживать. — Он снова откровенно разглядывает меня. — Да, вы молодцы. А у нас тут, как видите, полный развал. Как вам удалось? Отбились? Или средства какие-нибудь нашли?

— Развал у вас действительно полный, — говорю я осторожно. — Целые сутки я у вас здесь, и все равно ничего не понимаю...

Мне ясно, что он принимает меня за кого-то другого. На первых порах это может быть даже и к лучшему. Только надо осторожно, очень осторожно...

— Я знаю, что вы ничего не понимаете, — говорит старик. — И это по меньшей мере странно... Неужели у вас всего этого не было?

— Нет, — отвечаю я. — Такого у нас не было.

Старик вдруг разражается длинной фразой, на которую транслятор немедленно откликается: «Язык не кодируется».

— Не понимаю, — говорю я.

— Не понимаете... А мне казалось, что я неплохо владею языком Загорья.

— Я не оттуда, — возражаю я. — И никогда там не был.

— Откуда же вы?

Я принимаю решение.

— Это сейчас не важно, — говорю я. — Не будем говорить о нас. У нас все в порядке. Мы не нуждаемся в помощи. Будем говорить о вас. Я мало что понял, но одно очевидно: вы в помощи нуждаетесь. В какой именно? Что нужно в первую очередь? Вообще, что у вас здесь происходит? Вот о чем мы сейчас будем говорить. И давайте сядем, я весь день на ногах. У вас найдется, где можно было бы посидеть и спокойно поговорить?

Некоторое время он молча шарит взглядом по моему лицу.

— Не хотите говорить, откуда вы... — произносит он наконец. — Что ж, это ваше право. Вы сильнее. Только это глупо. Я и так знаю: вы с Северного Архипелага. Вас не тронули только потому, что не заметили. Ваше счастье. Но хочется спросить, где вы были эти последние сорок лет, пока нас здесь гноили заживо? Жили в свое удовольствие, будьте вы прокляты!

— Не вы одни терпите бедствие, — возражаю я вполне искренне. — Теперь вот очередь дошла до вас.

— Мы очень рады, — говорит он. — Пойдемте сядем и побеседуем.

Мы входим в подъезд дома напротив, поднимаемся на второй этаж и

оказываемся в грязноватой комнате, где всего-то и есть — стол посередине, огромный диван у стены да два табурета у окна. Окна выходят на площадь, и комната озарена бело-голубым светом павильона. На диване кто-то спит, завернувшись с головой в глянцевитый плащ. На столе — консервные банки и большая металлическая фляга.

Едва войдя в комнату, старик принимается наводить порядок. Он поднимает на ноги спящего и гонит его куда-то из дому. Один из угрюмых парней получает приказ занять пост и усаживается на табурет у окна, где и сидит потом все время, не отрывая глаз от площади. Второй угрюмый парень принимается ловко вскрывать банки с консервами, а потом встает у дверей, прислонившись плечом к притолоке.

Мне предлагается сесть на диван, после чего меня задвигают столом и обставляют банками с консервами. Во фляге оказывается обыкновенная вода, довольно чистая, хотя и с железистым привкусом. Щекн тоже не забыт. Солдат, которого согнали с дивана, ставит перед ним на пол открытую банку консервов. Щекн не возражает. Правда, он не ест консервов, а отходит к двери и предусмотрительно устраивается рядом с постовым. При этом он старательно чешется, фыркает и облизывается, изо всех сил притворяясь обыкновенной собакой.

Между тем старик берет второй табурет, усаживается напротив меня, и переговоры начинаются.

Прежде всего старик представляется. Разумеется, он оказывается гаттаухом, и притом не просто гаттаухом, но и гаттаух-окамбомоном, что следует, по-видимому, переводить, как «правитель всей территории и прилегающих районов». Под его правлением находится весь город, порт и дюжина племен, обитающих в радиусе до пятидесяти километров. Что происходит за пределами этого радиуса, он представляет себе плохо, но полагает, что там примерно то же самое. Общая численность населения его области составляет сейчас не более пяти тысяч человек. Ни промышленности, ни сколько-нибудь правильно организованного сельского хозяйства в области не существует. Есть, правда, лаборатория в пригороде. Хорошая лаборатория, в свое время одна из лучших в мире, и руководит ею по сей день сам Драудан («...странно, что вы никогда о нем не слышали... ему тоже повезло — он оказался долгожителем, как и я...»), но ничего они там так и не добились за все эти сорок лет. И видимо, не добьются.

— А поэтому, — заключает старик, — давайте не будем ходить вокруг да около и торговаться давайте не будем. У меня условие только одно: если лечить, то всех. Без исключения. Если это условие вам годится, все остальные можете ставить сами. Любые. Принимаю безоговорочно. Если

же нет, тогда вы лучше к нам не суйтесь. Мы, конечно, все здесь погибнем, но и вам житья не будет, пока хоть один из нас еще жив.

Я молчу. Я все жду, что Штаб хоть что-нибудь мне подскажет. Ну хоть что-нибудь! Но там, похоже, тоже ничего не понимают.

— Я хотел бы вам напомнить, — говорю я наконец, — что я по-прежнему ничего не понимаю в ваших делах.

— Так задавайте вопросы! — говорит старик резко.

— Вы сказали: лечить. У вас эпидемия?

Лицо у старика делается каменным. Он долго глядит мне в глаза, а потом утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб.

— Я же вас предупредил: не надо ходить вокруг да около. Мы же не собираемся торговаться. Скажите ясно и просто: есть у вас всеобщее лекарство? Если есть, диктуйте условия. Если нет, нам не о чем разговаривать.

— Так мы с вами не сдвинемся с мертвой точки, — говорю я. — Давайте исходить из того, что я абсолютно ничего о вас не знаю. Проспал я эти сорок лет, например. Не знаю, какая у вас болезнь, не знаю, какое вам нужно лекарство...

— И про Нашествие ничего не знаете? — говорит старик, не открывая глаз.

— Почти ничего.

— И про Всеобщий Угон ничего не знаете?

— Почти ничего. Знаю, что все ушли. Знаю, что в этом как-то замешаны пришельцы из Космоса. Больше ничего.

— При-шерь-зы... из Коз-мо-за... — с трудом повторяет старик по-русски.

— Люди с луны... Люди с неба... — говорю я.

Он оскаливает желтые крепкие зубы.

— Не с неба и не с луны. Из-под земли! — говорит он. — Значит, кое-что вы все-таки знаете...

— Я прошел через город. И многое видел.

— А у вас там не было совсем ничего? Совсем?

— Ничего подобного не было, — говорю я твердо.

— И вы ничего не заметили? Не заметили гибели человечества? Перестаньте врать! Чего вы хотите добиться этим враньем?

— Лев! — шелестит у меня под шлемом голос Комова. — Разыгрывай вариант «Кретин»!

— Я — лицо подчиненное, — объявляю я строго. — Я знаю только то, что мне положено знать! Я делаю только то, что мне приказано делать!

Если мне прикажут врать, я буду врать, но сейчас я такого приказа не имею.

— А какой же приказ вы имеете?

— Провести разведку в вашем районе и доложить все обстоятельства.

— Какая чушь! — с усталым отвращением говорит старик. — Ну хорошо. Будь по-вашему. Вам зачем-то надо, чтобы я рассказывал всем известные вещи... Ладно. Слушайте.

Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. Четыре десятка лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. Возбудителя пандемии обнаружить не удалось до сих пор. А выглядела эта болезнь так: начиная с двенадцатилетнего возраста, вполне нормальные дети начинали стремительно стареть. Темп развития человеческого организма по достижении критической возрастной точки ускорялся в геометрической прогрессии. Шестнадцатилетние юноши и девушки выглядели сорокалетними, в восемнадцать лет начиналась старость, а двадцатилетие переживали только единицы.

Пандемия свирепствовала три года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения «в соседний мир», то есть к себе, в недра земли. Они пообещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама собой, и тогда миллионы и миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так сорок лет тому назад погибла местная цивилизация.

Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества. Они наводнили планету «нехорошими людьми». Сначала это были подделки под людей, имеющие вид веселых размалеванных дядей, звенящих бубенчиками и играющих веселые песенки. Глупые детишки с радостью шли за ними и навсегда исчезали в янтарных «стаканах». Тогда же на главных площадях появились такие вот сияющие в ночи игрушечные лавки — ребенок заходил туда и исчезал бесследно.

— Мы делали все, что могли. Мы вооружились — в покинутых арсеналах было полно оружия. Мы научили детей бояться «нехороших людей», а затем и уничтожать их из винтовок. Мы разрушали кабины и

расстреливали в упор игрушечные лавки, пока не поняли, что умнее будет поставить возле них часовых и перехватывать неосторожных детей у порога. Но это было только начало...

Нелюди с неистощимой выдумкой выбрасывали на поверхность все новые и новые типы охотников за детьми. Появились «чудовища». Из винтовки почти невозможно попасть в такое, когда оно нападает на ребенка. Появились гигантские яркие бабочки — они падали на ребенка, окутывали его крыльями и исчезали вместе с ним. Эти бабочки вообще неуязвимы для пуль. Наконец последняя новинка: появились гады, совершенно неотличимые от обыкновенного бойца. Эти просто берут ничего не подозревающего ребенка за руку и уводят с собой. Некоторые из них умеют даже разговаривать...

— Мы прекрасно знаем, что шансов выжить у нас практически нет. Пандемия не прекращается, а мы сначала надеялись на это. Только один человек на сто тысяч остается незараженным. Вот я, например, Драудан... и еще один мальчик — он вырос на моих глазах, ему сейчас восемнадцать, и он выглядит на восемнадцать... Если вы не знали всего этого, то знайте. Если знали, тогда имейте в виду, что мы прекрасно понимаем свое положение. И мы готовы согласиться на любые ваши условия — готовы на вас работать, готовы вам подчиняться... На все условия, кроме одного: если лечить, то всех. Никакой элиты, никаких избранных!

Старик замолкает, тянется к кружке с водой и жадно пьет. Солдат, стоящий у дверей, переминается с ноги на ногу и зевает, прикрывая рот ладонью. На вид ему лет двадцать пять. А на самом деле? Тринадцать? Пятнадцать? Подросток...

Я сижу неподвижно, стараясь сохранить каменное лицо. Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это — как во сне: каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо. Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь въелось некое предвзятое мнение о Странниках, безоговорочно принятое у нас на Земле?

— Откуда вы знаете, что они нелюди? — спрашиваю я. — Вы их видели? Вы лично?

Старик кряхтит. Лицо его делается страшным.

— Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного, — сипло произносит он. — Вот этими руками... Сам... Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и

трусливы... Да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганых предателей из правительства сорок лет назад... А по слухам, они вообще формы не имеют, как вода, скажем, или пар...

— Тогда непонятно, — говорю я. — Зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелья?

— Да будьте вы прокляты! — говорит старик, повысив голос. — Это же НЕЛЮДИ! Как мы с вами можем судить, что нужно нелюдям? Может быть, рабы. Может быть, еда... А может быть, строительный материал для своих гадов... Какая разница? Они разрушили наш мир! Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс...

И тут лицо его вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих винтовок.

— Что случилось? — говорю я, стараясь не шевелиться.

Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав наконец оружие, дружно клацают затворами.

— Твоя дурацкая одежда все-таки заработала, — щелкает Щекн на своем языке. — Тебя почти не видно. Только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его?

— Не надо, — говорю я по-русски.

Старик наконец подает голос. Он белее стены и говорит запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик.

— Проклятый подземный оборотень! — говорит он. — Положи руки на стол! Левую на правую! Вот так...

— Это недоразумение, — говорю я сердито. — Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым, только плохо работает.

— Ах, одежда? — издевательски произносит старик. — На Северном Архипелаге научились делать одежду-невидимку!

— На Северном Архипелаге очень многое научились делать, — говорю я. — Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие и давайте разберемся спокойно.

— Дурак ты, — говорит старик. — Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть. Нет никакого Северного Архипелага... Я тебя сразу раскусил,

только все никак не мог поверить в такую наглость...

— Неужели тебе не унизительно? — щелкает Щекн. — Давай ты возьмешь на себя старика, а я — обоих молодых...

— Пристрели собаку! — командует старик стражу, не отрывая взгляда от меня.

— Я тебе покажу «собаку»! — на чистейшем местном наречии произносит Щекн. — Старый болтливый козел!

Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба...

3 июня 78-го года СНОВА МАЙЯ ГЛУМОВА

Я сильно переборщил с громкостью видеофона. Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема.

Звонил Экселенц. Было 07.03.

— Хватит спать, — произнес он довольно благодушно. — В твои годы я не имел обыкновения спать.

До каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже сорок пять... И, кстати, в мои годы он таки спал. Он и сейчас не дурак поспать.

— А я и не спал, — соврал я.

— Тем лучше, — сказал он. — Значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, что именно его интересовало. Не выражал ли он желания зайти к ней в музей. Все. Не больше и не меньше.

Я откликаюсь на эту кодовую фразу:

— Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, если был, то что интересовало, не выражал ли желания посетить музей.

— Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМКОН разыскивает Прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

— Хотел бы я знать, при чем здесь этот музей... — пробормотал я как бы про себя.

— Ты что-то сказал? — осведомился Экселенц.

— Предположим, у них не было никаких разговоров про этот треклятый музей. Могу я в этом случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?

— Тебе это важно?

— А вам?

— Мне — нет.

— Очень странно, — сказал я, глядя в сторону. — Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что он хотел выяснить у Федосеева.

Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой...

Экселенц сказал:

— Хорошо. Выясняй. Но только так, чтобы это не помешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Надень-ка его прямо сейчас, чтобы я это видел...

Я со вздохом извлек из ящика стола браслет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал.

— Вот так, — сказал Экселенц и отключился.

Я направился в душ. Из кухни раздавался гром и лязг — Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на китайского божка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочесть мне его вслух для тренировки. Я уклонился, сославшись на обстоятельства. Опять? — спросила она сочувственно и в то же время агрессивно. Опять, признался я не без вызова. Проклятье, сказала она. Не спорю, сказал я. Это надолго? — спросила она. У меня еще три дня сроку, сказал я. А если не успеешь? — спросила она. Тогда всему конец, сказал я. Она бегло глянула на меня, и я понял, что она опять представляет себе всякие ужасы. Скучища, сказал я, надоело. Отбарабаню это дело, и поедем с тобой куда-нибудь подальше отсюда. Я не смогу, сказала она грустно. Неужели тебе не надоело? — спросил я. Чепухой ведь занимаетесь... Вот так с ней и нужно. Она мгновенно ощетинилась и принялась доказывать, что занимается не чепухой, а дьявольски интересными и нужными вещами. В конце концов мы договорились, что через месяц поедем на Новую Землю. Это теперь модно...

Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 07.51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до восьми часов спать мог только наш Слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойво вернулся в свой интернат.

Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, голованы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через три-четыре... Кстати, как сегодня насчет нуль-Т? Я запросил справочную. Нуль-транспортировка возобновила нормальную работу с четырех утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Яшмаа.

Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью: у нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она

не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет.

Интересно, что ему дался этот музей? Музей как музей... Какое-то отношение к работе Прогрессоров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет... Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселенца. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселенца? И чем! Ординарным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в Музее внеземных культур... В Спецсекторе объектов невыясненного назначения... Пардон! Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в Музее внеземных культур, а он мне объявил: в Спецсекторе объектов невыясненного назначения... Я вспомнил анфилады комнат, уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинами, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели... И Экселенц допускает, что имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах...

Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин, по прозвищу Водолей, из четвертой подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражений на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка, растерянность, официальная готовность выслушать распоряжение и, наконец, снова приятная улыбка. Слегка теперь натянутая. Парня можно было понять. Если уж я сам испытал некоторое остолбенение, то ему слегка растеряться сам бог велел. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но в общем справился он вполне удовлетворительно.

— Здравствуйте, — сказал я. — Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

— Майя Тойвовна... — Гриша огляделся. — Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

— Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же — новичок? Что-то я вас...

— Да, я тут только со вчерашнего дня... Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами...

— Ага, — сказал я. — Ну что ж... Спасибо. Я еще позвоню.

Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя. Сообразительный, хорошая реакция. По образованию — экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело. Молодой экзобиолог

начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде: «Зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа». Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субаксу...

Ладно. Это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10.00. Наверняка соврал, но если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил в «Осинушку».

Коттедж номер шесть отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову.

— А, это вы... — произнесла она с отвращением.

Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки — ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены и что поверх строго-элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье.

— Да, это я... — сказал журналист Каммерер растерянно. — Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев у себя?

— Нет, — сказала она.

— Дело в том, что он назначил мне свидание... Я хотел...

— Здесь? — живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. — Когда?

— В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать... а его, оказывается, нет...

— А он вам точно назначил? Как он сказал? — совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя.

— Как он сказал?.. — медленно повторил журналист Каммерер. Вернее, уже не журналист Каммерер, а я. — Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам.

— Как это?.. Откуда вы знаете?

— Ждите меня, — сказал я. — Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду.

— Что с ним случилось? — пронзительно и страшно крикнула она.

— Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас...

Две минуты на одевание. Три минуты до ближайшей кабины нуль-Т. Черт, очередь у кабины... Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно... Спасибо большое, спасибо!.. Так. Минута на поиски индекса. Что за индексы у них там, в провинции!.. Пять секунд на набор индекса. И я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда... Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гоаннека...

Она ждала меня в холле — сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же торопливо сказала:

— Мы будем разговаривать здесь.

— Как вам будет угодно, — отозвался я.

Нарочито неторопливо я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано, и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрит прямо перед собой.

— Кого вы искали? — спросила она холодно.

— Не знаю, — честно признался я. — Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни.

— Кто вы такой? — спросила она. — Только не врите больше.

Я изложил ей легенду номер два, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь — просто я пытался сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям.

— А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться? — сказала она.

— А что прикажете делать?

Она не ответила.

— Вот вы сидите здесь и ждете, — сказал я. — А ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно. А время идет.

— Почему вы думаете, что он сюда не вернется?

— Потому что он скрывается, — сказал я. — Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

— Зачем же вы сюда звонили?

— А затем, что я никак не могу его найти! — сказал я, понемногу свирепея. — Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский...

— Что он сделал? — спросила она.

— Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому,

что он что-то сделал. Я ищу его, потому что он — единственный свидетель большого несчастья. И если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло...

— Где — там?

— Это неважно, — сказал я нетерпеливо. — Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш.

По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш.

— Почему же он скрывается? — спросила она тихо.

— Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея фикс.

— Болен... — сказала она, тихонько качая головой. — Может быть... А может быть, и нет... Что вам от меня надо?

— Вы виделись с ним еще раз?

— Нет, — сказала она. — Он обещал позвонить, но так и не позвонил.

— Почему же вы ждете его здесь?

— А где мне еще его ждать? — спросила она.

В голосе ее было столько горечи, что я отвел глаза и некоторое время молчал. Потом спросил:

— А куда он собирался вам звонить? На работу?

— Наверное... Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.

— Он позвонил вам в музей и сказал, что приедет к вам?

— Нет. Он сразу позвал меня к себе. Сюда. Я взяла глайдер и полетела.

— Майя Тойвовна, — сказал я, — меня интересуют все подробности вашей встречи... Вы рассказывали ему о себе, о своей работе. Он вам рассказывал о своей... Постарайтесь вспомнить, как это было.

Она покачала головой.

— Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали... Конечно, это действительно странно... Мы столько лет не виделись... Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала... Ведь я его спрашивала: где ты был, что делал... но он отмахивался и кричал, что это все чушь, ерунда...

— Значит, он расспрашивал вас?

— Да нет же! Все это его не интересовало... Кто я, как я... одна или у меня кто-либо есть... чем я живу... Он был как мальчишка... Я не хочу об этом говорить.

— Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить...

— Я ни о чем не хочу говорить!

Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила

весь стакан, проливая воду на свое серое платье.

— Это никого не касается, — сказала она, отдавая мне стакан.

— Не говорите о том, что никого не касается, — сказал я, усаживаясь. — О чем он вас расспрашивал?

— Я же вам говорю: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил... как мальчишка... Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф... Я ничего не помнила, а он все кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала... И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам!..

Она замолчала.

— Это все — о детстве? — спросил я, подождав.

— Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший... У меня уже не было сил, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: а кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мною по дому и орал: правильно, все так и было, правильно!

— И он не расспрашивал вас, что сейчас с Учителем, со школьными друзьями?

— Я же вам объясняю: он ни о чем не расспрашивал и ни о ком не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала...

— Да, понимаю, понимаю, — сказал я. — А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на меня как на журналиста Каммерера.

— Ничего-то вы не понимаете, — сказала она.

И в общем-то она была, конечно, права. Ответы на вопросы Экселенца я получил: Абалкин НЕ интересовался работой Глумовой, Абалкин НЕ намеревался использовать ее для проникновения в музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний. Сентиментальность... дань детской любви... возвращение в детство... В это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает. Ведь она тоже не поняла, что же было у них там на самом деле...

И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали... Что же тогда

привело ее в такое отчаяние, на грань истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разных предположений. Например — связанных с привычками штабного офицера Островной Империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности: либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного...

Я решился.

— Майя Тойвовна, — произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо, — скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?

Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я бы не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого.

— Я была дура, — сказала она довольно спокойно. — Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня как лимон и выбросил за порог. А теперь я понимаю: ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете...

Я встал.

— Большое спасибо, Майя Тойвовна, — сказал я. — По-моему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

3 июня 78-го года КОЕ-ЧТО О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ЭКСЕЛЕНЦА

С обрыва было видно, что доктор Гоаннек за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с нуль-Т-нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спасаться, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не садясь, позвонил Экселенцу.

Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы не захватил меня врасплох говорливый и обидчивый доктор Гоаннек.

— Почему она там сидит? — спросил Экселенц задумчиво.

— Ждет.

— Он ей назначил?

— Насколько я понимаю, нет.

— Бедняга... — проворчал Экселенц. Потом он спросил: — Ты возвращаешься?

— Нет, — сказал я. — У меня еще остались этот Яшмаа и резиденция голованов.

— Зачем?

— В резиденции, — ответил я, — сейчас пребывает некий голован по имени Щекн-Итрч, тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир»...

— Так.

— Насколько я понял из отчета Абалкина, у них сложились какие-то не совсем обычные отношения...

— В каком смысле — необычные?

Я замялся, подбирая слова:

— Я бы рискнул назвать это дружбой, Экселенц... Вы помните этот отчет?

— Помню. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но ответь мне на такой вот вопрос: как ты выяснил, что голован Щекн находится на Земле?

— Ну... Это было довольно сложно. Во-первых...

— Достаточно, — прервал он меня и замолчал выжидательно.

До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно. Это мне, сотруднику КОМКОНа-2, при всем моем солидном опыте работы с БВИ, было довольно сложно разыскать Щекна. Что же тогда говорить о простом Прогрессоре Абалкине, который вдобавок двадцать лет проторчал в Глубоком Космосе и понимает в БВИ не больше, чем двадцатилетний школяр!

— Согласен, — сказал я. — Вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь: задача эта вполне выполнима. Было бы желание.

— Соглашаюсь. Но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?

— Нет, — сказал я честно.

Бросать камни по кустам — в переводе с нашей фразеологии означает: пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики, короче говоря, морочить людям голову. Разумеется, теоретически вполне можно было допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глумовой, с Учителем, со мной — все это мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы и безнадежно отвлекаясь от главного.

— Не похоже, — сказал я решительно.

— А вот у меня есть впечатление, что похоже, — сказал Экселенц.

— Вам, конечно, виднее, — отозвался я сухо.

— Бесспорно, — согласился он. — Но, к сожалению, это только впечатление. Фактов у меня нет. Однако, если я НЕ ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил бы о Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию, — и все это только для того, чтобы бросить в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?

— Видите ли, Экселенц, я не знаю его ситуации, и, наверное, именно поэтому у меня нет вашего впечатления.

— А какое есть? — спросил он с неожиданным интересом.

Я попытался сформулировать свое впечатление:

— Только не разбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов — он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный... Он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни... точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скрыли...

— Я замолчал, а потом сказал: — Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Теперь мы молчали оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы (не факты, добытые мной, а именно доводы, логические умозаключения) заставляли Экселенца пересмотреть свои представления.

Он поднял голову и сказал:

— Хорошо. Навести Щекна. Но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня.

— Слушаюсь, — сказал я и спросил: — А как насчет Яшмаа?

— Его нет на Земле.

— Почему же? — сказал я. — Он на Земле. Он в «Лагере Яна», под Антоновом.

— Он уже три дня как на Гиганде.

— Понятно, — сказал я, делая потуги быть ироничным. — Это же надо, какое совпадение! Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже посмертный ребенок, тоже фигурирует под номером...

— Хорошо, хорошо, — проворчал Экселенц. — Не отвлекайся.

Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гоаннека шагнул под ночной дождь на берег реки Телон.

3 июня 78-го года ЗАСТАВА НА РЕКЕ ТЕЛОН

Невидимая река шумела сквозь шуршание дождя где-то совсем рядом, под обрывом, а прямо передо мною мягко отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на линкосе: «ТЕРРИТОРИЯ НАРОДА ГОЛОВАНОВ». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы — не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В двух шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-казематного вида. От него пахнуло на меня незабываемым Саракшем — запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Странные все-таки места попадаются у нас на Земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же — обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь ни с чем не сообразное... Ладно. Что думает по поводу этого здания журналист Каммерер? О! У него, оказывается, уже сложилось по этому поводу вполне определенное мнение.

Журналист Каммерер отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел, подперши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока, нарядившегося по вычурной своей фантазии в яркое и пестрое мексиканское пончо. Синие глаза юнца встретили журналиста Каммерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным.

— Ну и архитектура здесь у вас, однако! — произнес журналист Каммерер, отряхивая с плеч дождевые брызги.

— А им нравится, — безразлично возразил Александр Б., не меняя позы.

— Быть этого не может! — саркастически сказал журналист Каммерер, озираясь, на что бы присесть.

Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек. Журналист Каммерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно. Вернее, непривычно. Но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей.

Журналист Каммерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но

тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки дивные ресницы и с механической проникновенностью транспортного кибера принялся наизусть зачитывать свой текст:

— Дорогой друг! К сожалению, вы проделали свой путь сюда совершенно напрасно. Вы не найдете здесь абсолютно ничего для себя интересного. Все слухи, которыми вы руководствовались, направляясь к нам, чрезвычайно преувеличены. Территория народа голованов ни в малейшей степени не может рассматриваться как некий развлекательно-познавательный комплекс. Голованы — замечательный, весьма самобытный народ — говорят о себе: «Мы любознательны, но вовсе не любопытны». Миссия голованов представляет здесь свой народ в качестве дипломатического органа и не является объектом неофициальных контактов и уж тем более — праздного любопытства. Уважаемый друг! Самое уместное, что вы можете сейчас сделать, — это пуститься в обратный путь и убедительно объяснить всем вашим знакомым истинное положение вещей.

Александр Б. замолк и томно приподнял ресницы. Журналист Каммерер пребывал перед ним по-прежнему, и это его, видимо, совсем не удивило.

— Разумеется, прежде чем мы простимся, я отвечу на все ваши вопросы.

— А вставать при этом вы не обязаны? — поинтересовался журналист Каммерер.

Что-то вроде оживления засветилось в синих очах.

— Откровенно говоря, да, — признался Александр Б. — Но вчера я расшиб колено, до сих пор болит ужасно, так что вы уж извините...

— Охотно, — сказал журналист Каммерер и присел на край стола. — Я вижу, вы замучены любопытствующими.

— За мое дежурство вы — шестая компания.

— Я один как перст! — возразил журналист Каммерер.

— Компания есть счетное слово, — возразил Александр Б., оживляясь еще более. — Ну, например, как ящик. Ящик консервов. Штука ситца. Или коробка конфет. Ведь может так случиться, что в коробке осталась всего одна конфета. Как перст.

— Ваши объяснения удовлетворили меня полностью, — сказал журналист Каммерер. — Но я не любопытствующий. Я пришел по делу.

— Восемьдесят три процента всех компаний, — немедленно откликнулся Александр Б., — являются сюда именно по делу. Последняя компания — из пяти экземпляров, включая малолетних детей и собаку, —

искала здесь возможности договориться с руководителями миссии об уроках языка голованов. Но в огромном большинстве это собиратели ксенофольклора. Поветрие! Все собирают ксенофольклор. Я тоже собираю ксенофольклор. Но у голованов нет фольклора! Это же утка! Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Оссиана, и все посходили с ума... «О лохматые древа, тысячехвостые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах! Тысячи тысяч хвостов у вас и ни одной головы!..» А у голованов, между прочим, понятия хвоста нет вообще! Хвост у них — орган ориентировки, и если уж переводить адекватно, то получится не хвост, а компас... «О тысячекомпасовые деревья!» Но вы, я вижу, не фольклорист.

— Нет, — честно признался журналист Каммерер. — Я гораздо хуже. Я журналист.

— Пишете книгу о голованах?

— В каком-то смысле. А что?

— Нет, ничего. Пожалуйста. Не вы первый, не вы последний. Вы голованов-то когда-нибудь видели?

— Да, конечно.

— На экране?

— Нет. Дело в том, что именно я открыл их на Саракше...

Александр Б. даже привстал:

— Так вы — Каммерер?

— К вашим услугам.

— Нет уж, это я к вашим услугам, доктор! Приказывайте, требуйте, распоряжайтесь...

Я моментально вспомнил разговор Каммерера с Абалкиным и торопливо пояснил:

— Я всего лишь открыл их и не более того. Я вовсе не специалист по голованам. И меня интересуют сейчас не голованы вообще, а только один-единственный голован, переводчик миссии. Так что, если вы не возражаете... Я пройду туда к ним?

— Да помилуйте, доктор! — Александр Б. всплеснул руками. — Вы, кажется, подумали, что мы здесь сидим, так сказать, на страже? Ничего подобного! Пожалуйста, проходите! Очень многие так и делают. Объяснишь ему, что слухи, мол, преувеличены, он покивает, распрощается, а сам выйдет — и шмыг через мост...

— Ну?

— Через некоторое время возвращается. Очень разочарованный. Ничего и никого не видел. Леса, сопки, распадки, очаровательные пейзажи

— это все, конечно, есть, а голованов нет. Во-первых, голованы ведут ночной образ жизни, во-вторых, живут они под землей, а самое главное — они встречаются только с теми, с кем хотят встречаться. Вот на этот случай мы здесь и дежурим — на положении, так сказать, связных...

— А кто это — вы? — спросил журналист Каммерер. — КОМКОН?

— Да. Практиканты. Дежурим здесь по очереди. Через нас идет связь в обе стороны... Вам кого именно из переводчиков?

— Мне нужен Щекн-Итрч.

— Попробуем. Он вас знает?

— Вряд ли. Но скажите ему, что я хочу поговорить с ним про Льва Абалкина, которого он знает наверняка.

— Еще бы! — сказал Александр Б. и придвинул к себе селектор.

Журналист Каммерер (да, признаться, и я сам) с восхищением, переходящим в благоговение, наблюдал, как этот юноша с нежным ликом романтического поэта вдруг дико выкатил глаза и, свернув изящные губы в немыслимую трубку, защелкал, закрякал, загукал, как тридцать три голована сразу (в мертвом ночном лесу, у развороченной бетонной дороги, под мутно фосфоресцирующим небом Саракша), и очень уместными казались эти звуки в этом сводчатом казематно-пустом помещении с шершавыми голыми стенами. Потом он замолчал и склонил голову, прислушиваясь к сериям ответных щелчков и гуканий, а губы и нижняя челюсть его продолжали странно двигаться, словно он держал их в постоянной готовности к продолжению беседы. Зрелище это было скорее неприятное, и журналист Каммерер при всем своем благоговении счел все-таки более деликатным отвести глаза.

Впрочем, беседа продолжалась не слишком долго. Александр Б. откинулся на спинку стула и, ласково массируя нижнюю челюсть длинными бледными пальцами, произнес, чуть задыхаясь:

— Кажется, он согласился. Впрочем, не хочу вас слишком обнадеживать: я вовсе не уверен, что все понял правильно. Два смысловых слоя я уловил, но, по-моему, там был еще и третий... Короче говоря, ступайте через мост, там будет тропинка. Тропинка идет в лес. Он вас там встретит. Точнее, он на вас посмотрит... Нет. Как бы это сказать... Вы знаете, не так трудно понять голована, как трудно его перевести. Вот, например, эта рекламная фраза: «Мы любознательны, но не любопытны». Это, между прочим, образец хорошего перевода. «Мы не любопытны» можно понимать так, что «мы не любопытствуем попусту», и в то же самое время — «мы для вас неинтересны». Понимаете?

— Понимаю, — сказал журналист Каммерер, слезая со стола. — Он на

меня посмотрит, а там уж решит, стоит ли со мной разговаривать. Спасибо за хлопоты.

— Какие хлопоты! Это моя приятная обязанность... Подождите, возьмите мой плащ, дождь на дворе...

— Спасибо, не надо, — сказал журналист Каммерер и вышел под дождь.

3 июня 78-го года ЩЕКН-ИТРЧ, ГОЛОВАН

Было по местному времени около трех часов утра, небо было кругом обложено, а лес был густой, и этот ночной мир казался мне серым, плоским и мутноватым, как скверная старинная фотография.

Конечно, он первым обнаружил меня и, наверное, минут пять, а может быть и все десять, следовал параллельным курсом, прячась в густом подлеске. Когда же я наконец заметил его, он понял это почти мгновенно и сразу оказался на тропинке передо мною.

— Я здесь, — объявил он.

— Вижу, — сказал я.

— Будем говорить здесь, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я.

Он сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином, — крупная, толстая, большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими круглыми глазами под массивным, широким лбом. Голос у него был хрипловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие, рубленые фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака. И еще — от него попахивало. Но не мокрой псиной, как можно было бы ожидать, запах был скорее неорганический — что-то вроде нагретой канифоли. Странный запах, скорее механизма, чем живого существа. На Саракше, помнится, голованы пахли совсем не так.

— Что тебе нужно? — спросил он прямо.

— Тебе сказали, кто я?

— Да. Ты — журналист. Пишешь книгу про мой народ.

— Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине. Ты его знаешь.

— Весь мой народ знает Льва Абалкина.

Это была новость.

— И что же твой народ думает о Льве Абалкине?

— Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.

Кажется, здесь начинались какие-то лингвистические болота.

— Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?

— Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.

Мы с журналистом Каммерером посоветовались и решили пока оставить эту тему. Мы спросили:

— Что ты можешь рассказать о Льве Абалкине?

— Ничего, — коротко ответил он.

Вот этого я боялся больше всего. Боялся до такой степени, что подсознательно отвергал саму возможность такого положения и был к нему совершенно не готов. Я растерялся самым жалким образом, а он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда наши кошки.

Впрочем, у меня хватило самообладания. Я вовремя сообразил, что если бы эта псина-сапиенс действительно не хотела иметь со мной никакого дела, она бы просто уклонилась от встречи.

— Я знаю, что Лев Абалкин — твой друг, — сказал я. — Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

— Зачем? — спросил он все так же коротко.

— Опыт, — ответил я.

— Бесполезный опыт.

— Бесполезного опыта не бывает.

Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

— Задавай конкретные вопросы.

Я подумал.

— Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

— Приходилось. Много.

— Ты почувствовал разницу?

Задавая этот вопрос, я, собственно, ничего особенного не имел в виду. Но Щекн вдруг замер, затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным красным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глодать свои когти.

— Трудно сказать, — проворчал он. — Работы разные, люди тоже разные. Трудно.

Он уклонился. От чего? Мой невинный вопрос заставил его как бы споткнуться. Он растерялся на целую секунду. Или здесь опять лингвистика? Вообще-то лингвистика — вещь неплохая. Будем атаковать. Прямо в лоб.

— Ты с ним встретился, — объявил я. — Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

Это могло означать: «Если бы ты с ним встретился и он бы снова пригласил тебя работать, — ты бы согласился?» Или на выбор: «Ты с ним

встречался, и он (как мне стало известно) приглашал тебя работать. Ты дал ему согласие?» Лингвистика. Не спорю, это был довольно жалкий маневр, но что мне оставалось делать?

И лингвистика выручила-таки.

— Он не приглашал меня работать, — возразил Щекн.

— Тогда о чем же вы говорили? — удивился я, развивая успех.

— О прошлом, — буркнул он. — Никому не интересно.

— Как тебе показалось, — спросил я, мысленно вытирая со лба трудовой пот, — он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

— Это тоже не интересно.

— Нет. Это очень интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я — землянин, а мне надо знать твое мнение.

— Мое мнение: да.

— Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

— Ему больше нет дела до народа голованов.

— Вот как? — искренне удивился я. — А со мной он только о голованах и говорил...

Глаза его опять озарились красным. Я понял это так, что мои слова снова его смутили.

— Что он тебе сказал? — спросил он.

— Мы спорили: кто из землян сделал больше для контактов с народом голованов.

— А еще?

— Все. Только об этом.

— Когда это было?

— Позавчера. А почему ты решил, что ему больше нет дела до народа голованов?

Он вдруг объявил:

— Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы.

— Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

— Не знаю.

— Что он намеревался делать?

— Не знаю.

— Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, я бы даже сказал, неестественную позу: присел на напруженненных лапах, вытянул шею и уставился на меня снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжеленной головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

— Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ Земли не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа Земли. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа Земли. Это решено. А потому. Не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

Вот это да!

У меня вырвалось:

— Он просил убежища? У вас?

— Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

— Я понял это. Но меня не интересует это. Повторяю вопрос: что он тебе говорил?

— Я отвечу. Но сначала повтори то главное, что я тебе сказал.

— Хорошо, я повторю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?

— Так. И это главное.

— Теперь отвечай на мой вопрос.

— Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулись, а его уже не было. Он исчез.

Ай да Щекн! «...Я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, чего не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю...» Ай да Щекн-Итрч!

3 июня 78-го года ЭКСЕЛЕНЦ ДОВОЛЕН

— Очень любопытно! — сказал Экселенц, когда я закончил доклад. — Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец.

— Не понимаю, — отозвался я, с раздражением отдирая колючие репьи от мокрой штанины. — Вы видите в этом какой-то смысл?

— Да.

Я вытаращился на него:

— Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежища?

— Нет. Этого я не допускаю.

— Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?

— Может быть. Но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция голованов — вот что важно. Впрочем, ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию. Спасибо. Я доволен. И ты будь доволен.

Я снова принялся отдирать репьи. Что и говорить, он, несомненно, был доволен. Зеленые глазищи его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, запыхавшийся, доложил ему, что Тихоня Прешт взят наконец с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту, совершенно готовый к употреблению. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал Странник: саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в Столицу...

Вот и сейчас он тоже явно понимал нечто такое, что было мне невдомек, но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял, никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался по огромной ласковой Земле загадочный человек с изуродованной судьбой, метался, не находя себе места, метался как отравленный, и сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам и сам становился жертвой предательства...

— Я тебе еще раз напоминаю, Мак, — сказал вдруг Экселенц негромко. — Он опасен. И он тем более опасен, что сам об этом не знает.

— Да кто же он такой, черт возьми? — спросил я. — Сумасшедший андроид?

— У андроида не может быть тайны личности, — сказал Экселенц. — Не отвлекайся.

Я засунул репьи в карман куртки и сел прямо.

— Сейчас ты можешь идти домой, — сказал Экселенц. — До девятнадцати ноль-ноль ты свободен. Затем будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в музей. Тогда будем брать.

— Хорошо, — сказал я без всякого энтузиазма.

Он откровенно оценивающе осмотрел меня.

— Надеюсь, ты в форме, — проговорил он. — Брать будем вдвоем, а я уже слишком стар для таких упражнений.

4 июня 78-го года МУЗЕЙ ВНЕЗЕМНЫХ КУЛЬТУР. НОЧЬ

В 01.08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос Экселенца пробормотал скороговоркой: «Мак, музей, главный вход, быстро...»

Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл в звездное небо. Три секунды на торможение. Двадцать две секунды на планирование и ориентировку. На Площади Звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно... Ага. Из кабины нуль-Т на углу музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселенц.

Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос киберинспектора произнес с укоризной: «Посадка глайдеров на Площади Звезды не разрешается...» Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселенц уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на Площади Звезды...» — проникновенно вещал киберинспектор.

— Заткни его... — не оборачиваясь, проворчал Экселенц сквозь зубы.

Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся.

— За мной! — бросил Экселенц и нырнул во тьму.

Я нырнул следом. Совсем как в старые времена.

Он несся передо мной огромными неслышными скачками, длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона, и я мельком подумал, что уж такого Экселенца наверняка не видывал ни один из нынешних наших сопляков, а видывал разве что старина Слон, да Петр Ангелов, да еще я — полтора десятка лет назад.

Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и аппаратов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света — видимо, автоматика была заранее отключена, — но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому ночному броску, наш Экселенц, и все получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхания. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать.

Возраст. Проклятые годы.

Внезапно он остановился и, едва я встал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял: мы прибыли на место, и он просто пережидает одышку.

Я огляделся. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами. Ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны Глумовой. Вот это ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Каммерер...

Экселенц отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь, — он что-то там высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет — какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг как фокусник потянул из нагрудного кармана длиннющую пеструю шаль с бахромой. Ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого своего бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал:

— Когда он прикоснется к платку — бери его. Если он прежде заметит нас — бери его. Встань здесь.

Я встал по одну сторону двери, Экселенц — по другую.

Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал различные варианты развития событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться. Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для переносного интравизора. Или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека...

Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный: где-то в недрах музея обрушилось что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я моментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девчушки. Я глянул на Экселенца. Экселенц тоже прислушивался и тоже недоумевал.

Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно. Чтобы Прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя,

вломился сослепу в такое громоздкое сооружение? Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну-единственную торчащую колючку... Нет, не мог. Прогрессор — не мог. Или здесь, на безопасной Земле, Прогрессор уже успел слегка подразболтаться?.. Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае он сейчас застыл на одной ноге и прислушивается, и будет так прислушиваться минут пять...

Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движение его сопровождалось целой какофонией шумов, разнообразных и совершенно неуместных для Прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность.

— Это не он, — сказал я Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись, и легко было представить себе, как через минуту он схватит лже-Прогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?»

И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себе борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый «герцог» двадцать шестого калибра, — он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и встряхивания.

Но когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руке, я попросту обмер. Это могло означать только одно: Экселенц готов был убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда Экселенц не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление, — только для того, чтобы убивать.

Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик «турист», а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился,

провел лучом фонарика по стеллажам и произнес:

— Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон — нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшновато, неловко, немножечко стыдно, словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. «Одной ногой в канаве», как говорят хонтийцы.

Теперь я видел, что это, собственно, старый человек. Может быть, даже старше Экселенца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно: этого человека я раньше никогда в жизни не видел.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи, неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова: «...Ну, это всем известно... бур-бур-бур... Обыкновенный иллизиум... бур-бур-бур... Хлам и хлам... бур-бур... Может быть, и не на месте... Засунули, запихали, запрятали... бур-бур-бур...»

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его стыло очень непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже отчаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказывается от такого естественного намерения — взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал: это было бы бессмысленно. Встряхивай, не встряхивай — ничего не изменится, все вернется на круги своя: будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять одной ногой в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции...

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брюзгливо:

— Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул.

— Кто здесь? — завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. — Кто это?

— Да я это, я! — отозвался Экселенц еще более брюзгливо. — Перестаньте вы трястись!

— Кто? Вы? Какого дьявола! — Луч уперся в Экселенца. — А! Сикорски! Ну, я так и знал!..

— Уберите фонарь, — приказал Экселенц, заслоняя лицо ладонью.

— Я так и знал, что это ваши штучки! — завопил старикан Бромберг. — Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем!

— Уберите фонарь, а то я его расколочу! — гаркнул Экселенц.

— Попрошу на меня не орать! — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. — И не смейте прикасаться к моему портфелю!

Экселенц встал и пошел на него.

— Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Ведь вы же старик!

Экселенц подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

— Присядьте, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить.

— Эти ваши разговоры... — пробурчал Бромберг и уселся.

Поразительно, но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький почтенный старичок. По-моему, даже веселый.

4 июня 78-го года АЙЗЕК БРОМБЕРГ. БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ СТАРЦЕВ

— Давайте попробуем поговорить спокойно, — предложил Экселенц.

— Попробуем, попробуем! — бодро отозвался Бромберг. — А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?

Экселенц ответил не сразу. Может быть, он намеревался отослать меня. «Максим, ты свободен», — и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселенц, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были и еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал:

— Это Максим Каммерер, сотрудник КОМКОНа. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки.

Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил:

— Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски... Садитесь, садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный...

— Сядь, Мак, — сказал Экселенц.

Я сел в знакомое кресло для посетителей.

— Так я жду ваших объяснений, Сикорски, — произнес Бромберг. — Что означает эта засада?

— Я вижу, вы сильно напугались.

— Какой вздор! — мгновенно воспламенился Бромберг. — Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых! И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорски...

— Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели...

— Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании, ночью...

— Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам...

— Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски, куда и когда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете сюда ходить? Днем меня не пускают. Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции... Слушайте, Сикорски, сознайтесь: ведь это ваша затея — закрыть доступ в музей! Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда. Меня не пускают.

Меня! Члена Ученого совета этого музея! Я звоню директору: в чем дело? Директор, милейший Грант Хочикян, мой в каком-то смысле ученик... Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной... Но он ничего не может сделать, он обещал! Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал! Любопытно узнать, кто его попросил? Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет! О, нет! Никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски! Но меня не проведешь! Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я! Закрытие музея! Позорная попытка изъять из музея принадлежащие ему экспонаты! Ночные засады! И кто, черт подери, выключил здесь электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика! Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал! И я там что-то повалил! От души надеюсь — хочу надеяться! — что это был всего лишь макет... И молите бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать! До последнего велдинга! А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь на Тагору...

Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками в грудь.

— Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? — яростно просипел он сквозь перханье.

Я сидел как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселенца и обомлел.

Экселенц, Странник, Рудольф Сикорски, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент Хладнокровия и Выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации, — он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило.

— Я хотел бы знать, Бромберг, — сдавленным голосом произнес он, — зачем вам понадобились детонаторы.

— Ах вы хотели бы это знать! — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселенцу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался в зубах у моего шефа. — А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?

Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось.

Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем. Впрочем, Экселенц пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам посунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться.

— Вашим стулом извольте интересоваться сами! — прорычал он. — А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней...

— Вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто? Сикорски! Меня! Обвинять во взломе! Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей! А? Отвечайте!

— Это не относится к делу, Бромберг!

— Вы взломщик, Сикорски! — объявил Бромберг, простирая к Экселенцу длинный извилистый палец. — Вы докатились до взлома!

— Это вы докатились до взлома, Бромберг! — взревел Экселенц. — Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано: доступ в музей прекращен! Любой нормальный человек на вашем месте...

— Если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг...

— Его долг — немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг — сообразить, что он живет не в Средние Века. Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля...

— Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорски, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски-фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему — открытым! Вы — глубокий старик, Сикорски, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально!..

— Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом! Вы — не просто старик, Бромберг, вы — жалкий старикашка, впавший в детство!..

— Прекрасно! — сказал Бромберг, вдруг снова успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед Экселенцем какой-то блестящий предмет. — Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда...

— Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея? — У Экселенца не было ключа, у него была магнитная отмычка, и ему оставалось одно — наступать.

— Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ,

Сикорски? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!

— У меня нет ключа! Он мне не нужен! Я нахожусь здесь по долгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы, истеричный дурак!

И что тут началось! Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемежку со скрипучими воплями. Таких эпитетов. Такой вакханалии эмоций. Таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены! В конце концов, это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае от Экселенца.

То и дело поле сражения целиком заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные «безответственные болтуны», «феодальные рыцари плаща и кинжала», «провокаторы-общественники», «плешивые агенты тайной службы», «склеротические демагоги» и «тайные тюремщики идей». Ну, а менее экзотические «старые ослы», «ядовитые сморчки» и «маразматики» всех видов сыпались градом наподобие шрапнели...

Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и завороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу.

Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в Группе Свободного Поиска. Одну из его книг — «Как это было на самом деле» — я, безусловно, читал: это была история «Массачусетсского кошмара». Книга эта, помнится, мне не понравилась — слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой я в то время нисколько не интересовался.

В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать «крайним левым» известного движения дзиюистов, основанного еще Ламондуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений.

Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации (помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их Первой Промышленной Революции).

Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ: держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение (как это, кстати, и случилось с Массачусетсской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая, нечеловеческая цивилизация Земли)?

Прекратить исследование! — приказывает обычно в таких случаях Всемирный совет.

Ни в коем случае! — провозглашают в ответ экстремисты. Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да! В конце концов, «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет» (из выступления патриарха экстремистов Дж. Гр. Пренсона). Но никаких запретов! Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности.

Именно такие экстремисты-практики и были основными клиентами нашего КОМКОНа-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселенца, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре.

По роду своей деятельности мы в КОМКОНе-2 никогда никому и

ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Всемирный совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь к утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям.

Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы.

Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм.

Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него КОМКОН-2 вообще и наш Экселенц в особенности. «КОМКОН-2! — ядовито шипел он, подскакивая к Экселенцу и тут же отскакивая назад. — О, ваше иезуитство!.. Взять всем известную аббревиатуру — Комиссия по Контактам с иными цивилизациями! Благородно, возвышенно! Прославлено! И спрятать за нею вашу зловонную контору! Комиссия по Контролю, видите ли! Команда Консерваторов, а не Комиссия по Контролю! Компания Конспираторов!..»

Экселенцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел — как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было постоянно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом — утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если б оказалось, что двадцать лет назад Экселенц нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселенца еще и потому, что Экселенц, человек не

только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию: это был тоже вид социального контроля — контроль над контролем.

Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал безусловно вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась его ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселенц, при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке, совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так, лицом к лицу, с Бромбергом. «Вы — невежественный мозгляк! — сорванным голосом хрипел он. — Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать, вы — смакователь дешевых анекдотов!..»

Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особым остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселенц уже глубокий старик.

Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял — речь, видимо, шла о делах, давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые.

Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне (предположительно — вторжения Странников), проведенные четыре десятка лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибли. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселенц.

Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Ионафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Всемирный совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Так вот, оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швейцеровской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом хомо супер.

История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше, главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «субъект или объект?» в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катахрезой. Все подробности этой истории должны быть распубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться...

И так далее.

Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали «детонаторы» — по-видимому, те самые, за которыми явился сюда Бромберг и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг «дымовой завесы отвратительной секретности», поставленной Экселенцем вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор имярек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев (при чем тут кроманьонцы?), вынужден был держать эти результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор имярек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи...

Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы Экселенц

выставил как приманку для Льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще и я наконец узнаю нечто существенное о Льве Абалкине. Но я услышал это существенное только тогда, когда они, наоборот, угомонились.

4 июня 78-го года ЛЕВ АБАЛКИН У ДОКТОРА БРОМБЕРГА

Они угомонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселенц, не глядя на него, полез за пазуху (я испугался — не за пистолетом ли), извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу.

— И не подумаю! — заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь.

Экселенц продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом:

— Яд, мудрецом тебе предложенный, возьми, из рук же дурака не принимай бальзама...

Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик.

— Я в этом не нуждаюсь! — объявил он и кинул шарик в рот. — Пока еще не нуждаюсь...

— Айзек, — сказал Экселенц и причмокнул, — что вы будете делать, когда я умру?

— Спляшу качучу, — сказал Бромберг мрачно. — Не говорите глупостей.

— Айзек, — сказал Экселенц, — зачем вам все-таки понадобились детонаторы?.. Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня. Именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась...

— А кто это должен был за ними прийти? — подозрительно спросил Бромберг.

— Лев Абалкин, — сказал Экселенц утомленно.

— Кто это такой?

— Вы не знаете Льва Абалкина?

— В первый раз слышу, — сказал Бромберг.

— Верю, — сказал Экселенц.

— Еще бы! — сказал Бромберг высокомерно.

— Вам я верю, — сказал Экселенц. — Но я не верю в совпадения... Слушайте, Айзек, неужели это так трудно — просто, без кривляний, рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами...

— Мне не нравится слово «кривлянья»! — сказал Бромберг сварливо, но уже без прежнего задора.

— Я беру его назад, — сказал Экселенц.

Бромберг снова принялся утираться.

— У меня секретов нет, — объявил он. — Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?

— Нет.

— Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили — несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь... — Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки, — довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: «Это что — татуировка?» Вы знаете, Рудольф, татуировки — мое хобби... «Нет, — ответил он. — Это родимое пятно». Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «сандзю» — «тридцать». Вам это ничего не напоминает, Рудольф?

— Напоминает, — сказал Экселенц.

Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее, что-то, показавшееся и странным, и несущественным одновременно.

— Вы что — сразу сообразили? — спросил Бромберг с завистью.

— Да, — сказал Экселенц.

— А вот я — не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок... Причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой — ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей — музей закрыт...

— Мак, — сказал Экселенц, — будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью.

Я повиновался.

Брусок был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед Экселенцем. Экселенц подвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала ярко-

янтарного цвета с едва заметной, идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселенц попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось.

— Дайте-ка мне, — нетерпеливо сказал Бромберг. Он оттолкнул Экселенца, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону.

Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами: круглые серые блямбы миллиметров семидесяти в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было одиннадцать, и еще два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выстлано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые, да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые.

Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом, и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу — чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж» или, если угодно, японский иероглиф «сандзю» — маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа номер один в деле номер ноль-семь. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и Экселенц, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес:

— Он?

— Да, да, — нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку. — Не мешайте. Вы ничего не понимаете...

Он вцепился ногтями в края детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом: «Здесь совсем не в этом дело... Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать... Чушь какая...» И он вытянул наконец детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше, и видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утоньшаются, лопаются одна за другой, и когда лопнула последняя, Бромберг повернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале.

— Да! — сказал Бромберг торжествующе. — Точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться.

— В чем именно? — спросил Экселенц.

— Размер! — сказал Бромберг. — Размер, детали, пропорции. Вы

понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок — оно в точности такое же... — Он пристально посмотрел на Экселенца. — Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что — их всех пометили?

— Нет, конечно.

— Значит, у них это было с самого начала? — спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки.

— Нет. Эти значки появились у них в возрасте десяти-двенадцати лет.

Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло.

— Ну что же, — произнес он. — Так я все это и понял... Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим... И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорски! — вскричал он, размахивая пальцем перед носом Экселенца. — Он сам пришел ко мне, а я сам — понимаете? — сам, вот этой своей старой головой, сообразил, кто передо мною, и теперь он мой! Я не проникал в ваши паршивые тайны! Немножко везенья, немножко сообразительности...

— Хорошо, хорошо, — сказал Экселенц. — Ради бога. Никаких возражений. Он ваш, встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем.

— Н-ну... — с ироническим сомнением протянул Бромберг.

— А впрочем, как вам будет угодно, — сказал вдруг Экселенц. — Все это сейчас не важно... Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали?

Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над Экселенцем, были настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным.

— Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный, — сказал он. — Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову...

Сегодня, а вернее, вчера утром к нему явился молодой человек лет сорока — сорока пяти и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга

записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель: не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю.

Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. Не исключено, сказал он, что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка (февраль 36-го), поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте...

Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, но на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33-го по 39-й годы он обнаружил в общей сложности восемь различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок.

— Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение двух биохимиков! Уж этого бы я вам не простил, Сикорски!

И еще битых два часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые, слухи, взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном — поскорее убраться восвояси...

Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил родимое пятно. Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с двумя-тремя специалистами по поводу супругов Дымок (безрезультатно), но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение,

что об этом значке или о чем-то, связанном с этим значком, упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив в памяти самым скрупулезным образом всю эту беседу фразу за фразой, он добрался наконец до саркофага, вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, кто таков на самом деле Александр Дымок, осенила его.

Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему, Бромбергу, научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знавал совпадения и покруче. Поэтому он бросился сначала звонить в музей...

— Все понятно, — сказал Экселенц мрачно. — Спасибо вам, Айзек. Значит, теперь он знает о саркофаге...

— А почему бы ему об этом и не знать? — вскинулся Бромберг.

— Действительно, — медленно проговорил Экселенц. — Почему бы и нет?

Тайна личности Льва Абалкина

21 декабря 37-го года отряд Следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной планетки в системе ЕН 9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых Странникам.

24 декабря интравизионная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более трех метров.

25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в десять метров. Полусфера эта была облицована янтарином, материалом, весьма характерным для цивилизации Странников, и содержала громоздкое устройство, которое с легкой руки одного из Следопытов стали называть саркофагом.

26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соответствующего отдела КОМКОНа разрешение на обследование саркофага своими силами.

Действуя, по своему обыкновению, изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом трое суток. За это время удалось определить возраст находки (сорок — сорок пять тысяч лет), обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь

между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что указанные «развалины» вовсе развалинами не являются, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки, системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической (сейсмика, флюктуации магнитного поля, метеоявления, излучение центрального светила, космические лучи и так далее).

29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснений, но Борис Фокин от объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фокиным, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал, однако эмбриолога послал — правда, далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося — некоего Марка ван Блеркома (впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении, ибо Марк ван Блерком оказался закадычным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга).

30 декабря Марк ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение. В этом сообщении он утверждал, что так называемый саркофаг представляет собой на самом деле не что иное, как своего рода эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. В сейфе содержится тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс, причем все они представляются вполне жизнеспособными, хотя и пребывают в латентном состоянии.

Необходимо отдать должное двум участникам этой истории: Борису Фокину и члену КОМКОНа Геннадию Комову. Борис Фокин каким-то шестым чувством угадал, что об этой находке не следует орать на весь мир: радиограмма Марка ван Блеркома была первой и последней открытой радиограммой в последующем радиообмене отряда с Землей. Поэтому вся эта история отразилась в потоке массовой информации на нашей планете лишь в виде коротенького сообщения, впоследствии не подтвердившегося и потому почти не привлекшего внимания.

Что же касается Геннадия Комова, то он не только сразу ухватил суть возникающей на глазах проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд вообразимых последствий этой проблемы.

Прежде всего он потребовал от Фокина и Блеркома подтверждения полученных данных (спецкодом по сверхсрочному каналу) и, получив это подтверждение, немедленно собрал совещание тех руководителей КОМКОНа, которые являлись одновременно членами Всемирного совета. Среди них были такие корифеи, как Леонид Горбовский и Август-Иоганн Бадер, молодой и горячий Кирилл Александров, осторожный, вечно сомневающийся Махиро Синода, а также энергичный шестидесятидвухлетний Рудольф Сикорски.

Комов проинформировал собравшихся и поставил вопрос ребром: что теперь делать? Очевидно, можно было закрыть саркофаг и оставить все как есть, ограничившись на будущее пассивным наблюдением. Можно было попытаться инициировать развитие яйцеклеток и посмотреть, что из этого получится. Наконец, можно было во избежание грядущих осложнений уничтожить находку.

Разумеется, Геннадий Комов, человек в то время уже достаточно опытный, прекрасно понимал, что ни это чрезвычайное совещание, ни даже десяток последующих проблему не решат. Своим нарочито резким выступлением он преследовал только одну цель: шокировать собравшихся и побудить их к дискуссии.

Надо сказать, цели своей он достиг. Из всех участников совещания только Леонид Горбовский и Рудольф Сикорски сохранили видимое хладнокровие. Горбовский — потому что был разумным оптимистом. Сикорски же — потому что уже тогда был руководителем КОМКОНа-2. Было произнесено множество слов — безудержно горячих и нарочито спокойных, вполне легкомысленных и исполненных глубокого смысла, давно забытых и таких, что вошли впоследствии в лексикон докладов, легенд, отчетов и рекомендаций. Как и следовало ожидать, единственное решение совещания свелось к тому, чтобы завтра же собрать новое, расширенное совещание с привлечением других членов Всемирного совета — специалистов по социальной психологии, педагогике и средствам массовой информации.

На протяжении всего совещания Рудольф Сикорски молчал. Он не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказываться за то или иное решение проблемы. Однако долгий опыт работы в области экспериментальной истории, а также вся совокупность известных ему фактов о деятельности Странников однозначно приводили его к выводу: какое бы решение ни принял в конце концов Всемирный совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лиц с самым высоким уровнем социальной

ответственности. В этом смысле он и высказался под занавес. «Решение оставить все как есть и пассивно наблюдать решением на самом деле не является. Истинных решений всего два: уничтожить или инициировать. Неважно, когда будет принято одно из этих решений — завтра или через сто лет, — но любое из них будет неудовлетворительным. Уничтожить саркофаг — это значит совершить необратимый поступок. Мы все здесь знаем цену необратимым поступкам. Инициировать — это значит пойти на поводу у Странников, конечные намерения которых нам, мягко выражаясь, непонятны. Я ничего не предрешаю и вообще не считаю себя вправе голосовать за какое бы то ни было решение. Единственное, о чем я прошу и на чем я настаиваю, — разрешите мне немедленно принять меры против утечки информации. Ну, хотя бы для того только, чтобы нас не захлестнуло океаном некомпетентности...»

Эта маленькая речь произвела известное впечатление, и разрешение было дано единогласно, тем более что все понимали: спешить не следует, а создать условия для спокойной и обстоятельной работы совершенно необходимо.

31 декабря состоялось расширенное совещание. Присутствовало восемнадцать человек, в том числе приглашенный Горбовским Председатель Всемирного совета по социальным проблемам. Все согласились, что саркофаг был найден совершенно случайно, а значит — преждевременно. Все согласились далее, что, прежде чем принимать какое бы то ни было решение, надобно попытаться понять, а если и не понять, то, по крайней мере, представить себе изначальный замысел Странников. Было высказано несколько более или менее экзотических гипотез.

Кирилл Александров, известный своими антропоморфистскими взглядами, высказал предположение, что саркофаг есть хранилище генофонда Странников. Все известные мне доказательства негуманоидности Странников, заявил он, являются по сути своей косвенными. На самом же деле Странники вполне могут оказаться генетическими двойниками человека. Такое предположение не противоречит ни одному из доступных фактов. Исходя из этого, Александров предлагал все исследования прекратить, вернуть находку в первоначальное состояние и покинуть систему ЕН 9173.

По мнению Августа-Иоганна Бадера, саркофаг есть — да! — хранилище генофонда, но никаких не Странников, а именно землян. Сорок пять тысяч лет тому назад Странники, допуская теоретически возможность генетического вырождения немногочисленных тогда племен хомо сапиенс, пытались таким образом принять меры к восстановлению земного

человечества в будущем.

Под тем же лозунгом «не будем плохо думать о Странниках» выступил и престарелый Пак Хин. Он, как и Бадер, был убежден, что мы имеем дело с генофондом землян, но полагал, будто Странники выступают здесь с целями скорее просветительскими. Саркофаг есть своеобразная «бомба времени», вскрыв которую современные земляне получат возможность воочию ознакомиться с особенностями облика, анатомии и физиологии своих далеких предков.

Геннадий Комов поставил вопрос значительно шире. По его мнению, любая цивилизация, достигшая определенного уровня развития, не может не стремиться к контакту с иным разумом. Однако контакт между гуманоидными и негуманоидными цивилизациями чрезвычайно затруднен, если только вообще возможен. Не имеем ли мы дело с попыткой применить принципиально новый метод контакта — создать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого закодированы некие существенные характеристики негуманоидной психологии. В этом смысле мы должны рассматривать находку как начало принципиально нового этапа и в истории землян, и в истории негуманоидных Странников. По мнению Комова, яйцеклетки должны быть несомненно и немедленно инициированы. Его, Комова, мало смущает заведомая преждевременность находки: Странники, рассчитывая темпы развития человечества, легко могли ошибиться на несколько столетий.

Гипотеза Комова вызвала оживленную дискуссию, во время которой впервые прозвучало сомнение в том, что современная педагогика способна успешно применить свою методику к воспитанию людей, психика которых в значительной степени отличается от гуманоидной.

Одновременно осторожнейший Махиро Синода, крупный специалист по Странникам, задал вполне резонный вопрос: почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасположенности Странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что Странники вообще способны на благорасположенность к кому бы то ни было, в том числе и к гуманоидам. Напротив, факты (немногочисленные, правда) свидетельствуют скорее о том, что Странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно — предположить, что гипотетические существа-посредники должны, по замыслу Странников,

выполнять задачи, с нашей точки зрения, скорее негативные. Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники — своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию. Диверсанты — разумеется, слово одиозное. Но вот у нас сейчас появилось новое понятие — Прогрессор — человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники — это своего рода Прогрессоры Странников? Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения Странников на темпы и формы нашего, человеческого прогресса?..

Совещание немедленно раскололось на две фракции — оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о закономерностях развития Разума точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться общая теория прогресса. Могли ошибаться ее интерпретаторы. И главное, могли ошибиться сами Странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю.

Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека, более того, ничем не отличается от человека психически — ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением. Это существо живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределимый момент, когда программа эта включится наконец, взорвет в нем землянина и поведет его... Куда? К какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто — и в первую очередь он сам, Рудольф Сикорски, — не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения.

В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым

голосом объявил: «Плохо дело — Фокин и ван Блерком сообщают, что все тринадцать яйцеклеток совершили первое деление».

Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38-го года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся Комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором, и обсуждался, по сути дела, всего один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу тринадцати будущих новых граждан планеты Земля.

Вопрос об уничтожении инкубатора больше не поднимался, хотя все члены Комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному им извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер.

Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи, Учителя, возможные Наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике Странников в частности — на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора, для предупреждения «неловких действий», а главным образом — в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с «подкидышами». Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях Странников...

Рудольф Сикорски в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей.

Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее.

Мы проделали здесь неплохую работу и более или менее подготовились к возможному развитию событий — насколько это возможно

при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо своей воли и по воле Странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков — в этом, собственно, суть всех наших решений. Но! Как руководитель КОМКОНа-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые нам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь.

Первое. Все работы, хотя бы мало-мальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание: всем хорошо известный Закон о тайне личности.

Второе. Ни один из «подкидышей» не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание: тот же Закон.

Третье. «Подкидыши» немедленно по появлении на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основание: достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить.

Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности, с тем чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание: та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у Странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем (и чем скорее, тем лучше) с проторенной для нас дороги свернуть.

Как и следовало ожидать, «Четыре требования Сикорски» вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще КОМКОНа-2. Но Сикорски правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возьмутся за ум и решительно встанут на его сторону. С Законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых двух «Требований». Попытайтесь-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного сорок пять тысяч лет тому назад неведомыми чудовищами с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том,

что он, землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший кроме Земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты...

Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычно резким выступлением Махиро Синоды, который прямо заявил, что мы здесь слишком много думаем о тринадцати еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. В результате все «Четыре требования» были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя.

5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом — тагорским ксенологом, аккредитованным последние два года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычной находке в системе ЕН 9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не Следопыт, что это вне его сферы интересов, что он в общем-то не в курсе, и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщения этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского тем не менее остался от этой части беседы самый неприятный осадок.

Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение. И не ошибся.

7 января его неожиданно посетил только что прибывший с Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ас-Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток (холодный ячменный кофе с синтетическим медом), высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями.

В частности, доктор Ас-Су рассказал, как полтораста земных лет назад

при закладке фундамента Третьей Большой Машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще Приполярного Континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим двести три личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой Генетической Революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки...

— Поразительно, — пробормотал Сикорски. — Неужели уже в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?

— Разумеется, нет! — ответил доктор Ас-Су. — Безусловно, это была затея Странников.

— Но зачем?

— Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить.

— И что же дальше случилось с этими двумя сотнями маленьких тагорян?

— Хм... Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым... Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?

— Могу, — сказал Сикорски.

На другой день, 8 января 38-го года, Высокий Посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорянина. А еще через месяц все без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на двадцать пять лет.

Тайна личности Льва Абалкина (продолжение)

Они все родились в один день — 6 октября 38-го года, — пять девочек и восемь мальчиков, крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Всемирного совета и консультанты Комиссии по Тринадцати, обмыли и спеленали их и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в тринадцати яслях, разбросанных по всем шести материкам, заботливые

няни уже хлопотали над тринадцатью сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были подготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Всемирного совета введены в БВИ.

Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьбы остальных двенадцати его «единоутробных» сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных, земных сверстников.

В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты.

Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Ядвига Михайловна Леканова — один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горних высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда шестилетний Лева Абалкин был переведен со всей своей группой в Сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Ядвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста, и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу.

Лева Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Так же благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников, по преимуществу — славян, разве что иссиня-черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября сорок седьмого года.

16 ноября, проводя регулярный осмотр, Ядвига Михайловна обнаружила у Левы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки — невеликая редкость, и Ядвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно,

нельзя было назвать синяком, это было уже нечто вроде татуировки — желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показали, что Лева Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя.

Поколебавшись, Ядвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Ядвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. Без изменений, ответила несколько удивленная Ядвига Михайловна. Если вас не затруднит, попросил доктор Сикорски, как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне.

Лев Абалкин был первым из «подкидышей», у кого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих двух месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у восьми «подкидышей» при совершенно сходных обстоятельствах: синяк с припухлостью вначале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю — желто-коричневый значок. К концу 48-го года «клеймо Странников» носили уже все тринадцать. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие «детонатор».

Кто первым ввел это понятие, определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 39-м году, через год после рождения «подкидышей», ксенотехники, занимавшиеся демонтажом опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий тринадцать серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто специального внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей внеземных культур, описан в закрытом издании «Материалы по саркофагу-инкубатору» как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный Спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых десять лет.

В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу

«подкидышей» (назовем его, например, Иванов) вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице шестого тома «Материалов по саркофагу». Экселенц глянул и обомлел. Перед ним была фотография «элемента жизнеобеспечения 15/156А»: тринадцать серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра. Тринадцать замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он уже даже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по тринадцати фотографиям тринадцати сгибов детских локтей. По значку на локоть. По значку на диск. По диску на локоть.

Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать. Что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из музея этот «элемент 15/156А» и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему ему страшно.

Иванов был тоже испуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина стояла перед их глазами: тринадцать загорелых, исцарапанных бомб с веселым гиканьем носятся по-над речками и лазают по деревьям в разных концах Земного шара, а здесь, в двух шагах, тринадцать детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа.

Это была минута слабости, конечно. Ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось «подкидышей». Но если даже эта паника воображения и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было изъять из музея и отправить за тридевять земель, на край обитаемой Вселенной, а при необходимости — и еще дальше.

Рудольф Сикорски позвонил директору музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Всемирного совета — к нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый, но недвусмысленный отказ. Выяснилось (Сикорски прежде и представления об этом не имел), что экспонаты из музея, причем не только из Музея внеземных культур, но и из любого музея на Земле, не выдаются — ни частным лицам, ни Всемирному совету, ни даже Господу Богу. Если бы даже самому Господу Богу потребовалось поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах

музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, Господу Богу, были бы созданы все необходимые условия: лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее, и тому подобное.

Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов, хорошо уже и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся, по меньшей мере, «соответствующие полномочия». И в конце концов, только от Рудольфа Сикорски зависело сделать так, чтобы музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся детонаторы и что они вообще существуют? Нет-нет, это была минута слабости. Одна из немногих подобных минут в его жизни.

Детонаторами занялись вплотную. Соответственно подобранные люди, снабженные соответствующими полномочиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми, если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство.

С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты: в отличие от многих предметов материальной культуры Странников, детонатор номер 12 (значок «М готическое»), будучи разрушен, не восстановился. А спустя два дня в Северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната «Темпладо» — двадцать семь девчонок и мальчишек во главе с Учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы — кроме Эдны Ласко, личное дело № 12, значок «М готическое».

Безусловно, это могло быть случайностью. Но исследования детонаторов были приостановлены, и через Всемирный совет удалось провести их как запрещенные.

И было еще одно происшествие, но много позже, уже в 62-м году, когда Рудольф Сикорски, по местному прозвищу «Странник», резидентствовал на Саракше.

Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав Комиссии по Тринадцати, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайны личности одному из «подкидышей». Для эксперимента был выбран Корней Яшмаа — номер 11, значок «Эльбрус». После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем. Больше ни о ком.

Корней Яшмаа кончал тогда школу Прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и

очень сильной волей, весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшмаа воспринял информацию с поразительным хладнокровием — видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, — это предупреждение нисколько не взволновало его. Он откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение, включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций, и даже сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, Комиссия могла быть довольна: по крайней мере один из «подкидышей» стал теперь сознательным и сильным союзником Земли.

Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорски поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайны личности «подкидышей» прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении «подкидышей», когда и если программа заработает, кроме этой подсознательной программы были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и странные поступки. Но в конце концов, для контроля было бы даже полезно иметь одного (но не больше!) из «подкидышей», располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она, безусловно, организована так, что никакое сознание справиться с нею будет не в силах. Иначе Странникам не стоило и огород городить. Но, без всякого сомнения, поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих.

Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшмаа, они спустя три года (Рудольф Сикорски все еще сидел на Саракше) повторили эксперимент с Томасом Нильсоном (номер 02, значок «Косая звезда»), смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости, нимало не смущенный тайной своей личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций.

Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по

самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным ему тяжеловатым юмором, но, правда, наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные мотивы. А на сто двадцать восьмой день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства.

Для Комиссии вообще и для психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из Комиссии, бросил институт, учеников, родных и удалился в самоизгнание. А на сто тридцать второй день сотрудник КОМКОНа-2, в обязанности которого входил, в частности, ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, выстланном шевелящимися волокнами псевдоэпителия, даже пыли.

Теперь существование некоей, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из «подкидышей» и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов Комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории.

4 июня 78-го года ДИСКУССИЯ СИТУАЦИИ

Все это и еще многое другое рассказал мне Экселенц той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет.

Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся и, не глядя на меня, пошел заваривать кофе.

— Можешь спрашивать, — проворчал он.

К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно — огромное, безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что, как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой Земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывают, — все это как-то, кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени.

Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит — должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит — увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они, — увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него — за то, что он все-таки не удержал.

— У тебя нет вопросов? — осведомился Экселенц.

Я спохватился:

— Значит, вы полагаете, что программа заработала и он убил

Тристана?

— Давай рассуждать логически. — Экселенц расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. — Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности Прогрессора, а на самом деле — для того, чтобы убедиться: Абалкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. Тридцатого мая, самое позднее — тридцать первого, я должен был получить от него три семерки, «все в порядке». Но двадцать восьмого, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на Землю. Лев Абалкин бежит на Землю, Лев Абалкин скрывается, Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану... — Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. — По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со Странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников. — Он снова помолчал. — Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более — Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили...

— Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора?

— Мне больше нечего предполагать.

— Но ведь он понятия не имеет о детонаторах... Или это тоже Тристан?

— Тристан ничего не знал. И Абалкин ничего не знает. Знает программа!

— А как ведет себя Яшмаа? И остальные?

— Все в пределах нормы. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был первым.

Это надо было понимать так, что в отношении остальных Экселенц уже принял необходимые меры, и слава богу, мне не надо было знать, что это за меры. Меня это не касалось. Пока. Я сказал:

— Вы только поймите меня правильно, Экселенц. Не подумайте, что я пытаюсь смягчить, сгладить, приуменьшить. Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался... Я все понимаю: гибель Тристана — бегство — звонок по вашему спецканалу — скрывается — выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы... Выглядит это совершенно однозначно. Этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь

есть и другое! Встречается с Глумовой — и ни слова о музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с Учителем — и только обида, будто бы Учитель испортил ему жизнь... Разговор со мной — обида, будто я украл у него приоритет... Кстати, зачем ему было вообще встречаться с Учителем? Со мной еще туда-сюда: скажем, он хотел проверить, кто его выслеживает... А с Учителем зачем? Теперь Щекн — дурацкая просьба об убежище, что вообще уже ни в какие ворота не лезет!

— Лезет, Мак. Все лезет. Программа — программой, а сознание — сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него нечеловеческого, а сознание тщится трансформировать это требование во что-то хоть мало-мальски осмысленное... Он мечется, он совершает странные и нелепые поступки. Чего-то вроде этого я и ожидал... Для того и нужна была тайна личности: мы имеем теперь хоть какой-то запас времени... А насчет Щекна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек, и демонстрируют нам свою лояльность. Вот что там было...

Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина, я разговаривал с ним, я видел Учителя и Майю Тойвовну, я разговаривал с ними. Абалкин метался — да. Он совершал странные поступки — да, но эти поступки не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять, какая. И потом, Абалкин был жалок, он не мог быть опасен...

Но все это была только моя интуиция, а я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом, интуиция — это из области человеческого опыта, а мы как-никак имели дело со Странниками...

— Можно еще кофе? — попросил я.

Экселенц поднялся и пошел заваривать новую порцию.

— Я вижу, ты сомневаешься, — сказал он, стоя ко мне спиной. — Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я — старый рационалист, Мак, и я навидался всякого, я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там сорок тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу, все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр... Меня с души воротит от всего этого!

Он принес кофе и разлил по чашкам.

— Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, — продолжал он, — и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с

каким бы наслаждением я объявил все это цепью идиотских случайностей! Случайно погиб Тристан — не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому... Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там Вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши... Для ученых все ясно: не изобретай лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого — это, в конечном счете, его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь Всемирный совет и все школяры в придачу... — Он с раздражением отодвинул от себя чашку. — Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд...

— Экселенц, — сказал я, — ну что вы, в самом деле... Ну почему обязательно черт с рогами? В конце концов, что плохого мы можем сказать о Странниках? Ну, возьмите вы операцию «Мертвый мир»... Ведь они там как-никак население целой планеты спасли! Несколько миллиардов человек!

— Утешаешь... — сказал Экселенц, мрачно усмехаясь. — А ведь они там не население спасали. Они планету спасали от населения! И очень успешно... А куда делось население — этого нам знать не дано...

— Почему — планету? — спросил я, растерявшись.

— А почему — население?

— Ну ладно, — сказал я. — Дело даже не в этом. Пусть вы правы: программа, детонаторы, черт с рогами... Ну что он нам может сделать? Ведь он один.

— Мальчик, — сказал Экселенц почти нежно, — ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я. И мы ничего не придумали, вот что хуже всего. И никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не знаем, что они могут. И никогда не узнаем.

Единственная надежда — что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть все. Этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что, старый дурак, радуюсь, что мы не уничтожили этот проклятый саркофаг сразу же, в первый же день... Вот тагоряне уничтожили — и посмотри теперь на них! Этот жуткий тупик, в который они уперлись... Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили полтора века назад... Но ведь, с другой-то стороны, сами себя они в тупике не считают! Это тупик с нашей, человеческой точки зрения! А со своей точки зрения они процветают и благоденствуют и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению... Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждали?

Он положил лысый череп на ладони и замотал головой.

— Мы все устали, Мак, — проговорил он. — Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов Комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике»... Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда... Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи! Все будет хорошо... А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак, — хорек в курятнике?..

И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами:

— Мерзавцы! Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! Сорок лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке... Ну, что ты вытаращился на меня? Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что

события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас! А вам с этим тоже ведь не справиться! Потому что вы...

Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы. И он медленно поднимался из-за стола. Я обернулся.

На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.

4 июня 78-го года ЛЕВ АБАЛКИН В НАТУРЕ

— Лева! — произнес Экселенц изумленно-растроганным голосом. — Боже мой, дружище! А мы с ног сбились, вас разыскивая!

Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий Прогрессор новой школы, профессионал, да еще из лучших, наверное, — мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия.

— Вы — Рудольф Сикорски, начальник КОМКОНа-2, — произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.

— Да, — отозвался Экселенц, радушно улыбаясь. — А почему так официально? Садитесь, Лева...

— Я буду говорить стоя, — сказал Лев Абалкин.

— Бросьте, Лева, что за церемонии? Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?

— Нет, не правда, — сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул. — У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать.

Экселенц был потрясен.

— Как это — не хотите? — вопросил он. — Вы, дорогой мой, на службе, вы обязаны отчетом... Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном... Как это — не хотите?

— Я — один из «тринадцати»?

— Этот Бромберг... — проговорил Экселенц с досадой. — Да, Лева. К сожалению, вы — один из «тринадцати».

— Мне запрещено находиться на Земле? И я всю жизнь должен оставаться под надзором?

— Да, Лева. Это так.

Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства.

— Так вот, я пришел сюда сказать, — произнес Абалкин все тем же тихим бесцветным голосом, — что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я — на Земле и более не намерен Землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю и избавляться от него буду беспощадно.

— Как от Тристана? — небрежно спросил Экселенц.

Абалкин, казалось, не слыхал этой реплики.

— Я вас предупредил, — сказал он. — Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь.

— Хорошо. Не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?

— Теперь я сам буду выбирать себе работу.

— Очень хорошо. Великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с «подкидышами»?

Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина.

— Здесь нет материала для размышлений, — сказал он. — Здесь все очевидно. Надо было мне все рассказать, сделать меня своим сознательным союзником...

— А вы бы через пару месяцев покончили с собой? Страшно ведь, Лева, ощущать себя угрозой для человечества, это не всякий выдержит...

— Чепуха. Это все бредни ваших психологов. Я — землянин! Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, я чуть не спятил! Только андроидам запрещено жить на Земле. Я мотался как сумасшедший — искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с голованами... Вы боялись свести меня с ума? Ну, так это вам почти удалось!

— А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле?

— А что — это неправда? — осведомился Абалкин. — Может быть, мне разрешено жить на Земле?

— Теперь — не знаю... Наверное, да. Но посудите сами, Лева! На всем Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на Землю. А он вам этого сказать не мог... Или все-таки сказал?

Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна, словно следы старых лишаев, — он сделался похож на пандейского дервиша.

— Ну, хорошо, — сказал, подождав, Экселенц. Он демонстративно разглядывал свои ногти. — Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но — пусть. Тогда почему он не рассказал вам остального? Почему он не рассказал вам, что вы — «подкидыш»? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины — и весьма существенные, что бы вы об этом ни думали...

Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло — рот полуоткрылся, и широко раскрылись, как бы в удивлении, глаза, и я впервые услыхал его дыхание.

— Я не хочу об этом говорить... — громко и хрипло произнес он.

— Очень жаль, — сказал Экселенц. — Нам это очень важно.

— А мне важно только одно, — сказал Абалкин. — Чтобы вы оставили меня в покое.

Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселенц заговорил совсем другим тоном:

— Лева. Разумеется, мы оставим вас в покое. Но я умоляю вас, если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение... какие-нибудь странные мысли... просто больным себя почувствуете... Умоляю, сообщите об этом. Ну, пусть не мне. Горбовскому. Комову. Бромбергу, в конце концов...

Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселенц почти кричал ему вслед, протягивая руку:

— Только сразу же! Сразу! Пока вы еще землянин! Пусть я виноват перед вами, но Земля-то не виновата ни в чем!..

— Сообщу, сообщу, — сказал Абалкин через плечо. — Лично вам.

Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Несколько секунд Экселенц молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса:

— За ним. Ни в коем случае не упускать. Связь через браслет. Я буду в музее.

4 июня 78-го года ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

Выйдя из здания КОМКОНа-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился две минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин все так же неторопливо, заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова.

По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и минут двадцать сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы: раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме него, не было ни души.

Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселенц. Я не понимал, что он затеял.

Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было вначале, три дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать — убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ «брать его, как только он прикоснется к платку». И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселенцу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного: Экселенц убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. (Работает ли программа на самом деле — на этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего мне надо было понять замысел Экселенца.)

Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над Землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно

изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами. И поставить точку по крайней мере на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в музей. Это может означать только одно: он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей. За детонаторами. За чем же еще? (Казалось бы, чего проще — сунуть этот янтарный футляр в списанный «призрак» и загнать в подпространство до скончания времен... К сожалению, делать этого, конечно, нельзя: это был бы необратимый поступок.)

Абалкин является в музей (или прорывается с боем — ведь там его ждет Гриша Серосовин)... В общем, он является в музей и снова видит там Экселенца. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор...

Экселенц его убьет, подумал я. Господи помилуй, в панике подумал я. Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселенц его убьет. Ведь это же просто, как репа. Экселенц для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат Странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр (глазами? по запаху? шестым чувством?), как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором... Только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселенц нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя...

И я сказал себе: ну нет, этого не будет.

Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину.

Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом.

— Лева, — сказал я, — уезжайте отсюда. Сейчас же.

— Кажется, я просил оставить меня в покое, — сказал он прежним тихим и бесцветным голосом.

— Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лева Абалкин. Левы Абалкина больше нет. Вы для нас — автомат Странников.

— А вы для меня — банда взбесившихся от страха идиотов.

— Не спорю, — сказал я. — Но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лева, поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет.

— А зачем? — сказал он. — Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унизительно.

— Лева, — сказал я, — если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унизительным покривляться и повалять дурака перед ними, чтобы их успокоить?

Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край Вселенной, но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение.

— Бесполезно, — сказал он. — Прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора.

Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся.

— Лева, — сказал я, — вас убьют.

— Ну, это не так просто сделать, — небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи.

Я пошел рядом с ним. Я все время говорил. Нес какую-то чушь, что-де это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо-де рисковать жизнью из-за одной только гордости, что-де стариков тоже надо бы понять — они сорок лет живут как на иголках... Он отмалчивался или отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся — мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к Площади Звезды.

Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу... Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове два-три дежурных «призрака». Я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой Ружене, в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары — тайна личности Льва Абалкина... Так. Вон у обочины подходящий глайдер. Свободный. Как раз то, что нужно...

Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, а я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуху, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для особой тревоги никаких нет — может же стать человеку дурно на улице...

Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я

попался на самый обыкновенный «поворот вниз», проведенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит.

— Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке...

— Лежите, лежите, пожалуйста, вам просто стало дурно...

— Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом...

Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на два сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс...

Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач! В чем дело?..»

И откуда только у меня ноги взялись! Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях:

— Женщине плохо, помогите ей...

Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно-протестующий вопль: «Но позвольте же!..» — а в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем Площадь Звезды.

Все было как в повторном сне. Как шесть часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи, только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю.

Уже опоздал.

Уже.

Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из «герцога». Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей. Тоже опоздал.

Треснули еще два выстрела, один за другим... «Лева. Вас убьют». —

«Это не так просто сделать...» Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно — Гриша и я.

Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а Экселенц, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова.

У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице.

Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека Экселенца были покрыты крупными каплями пота.

Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью.

И стояла тишина.

Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора. Со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «сандзю».

Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. (Экселенц каркнул мне что-то предостерегающее.) Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил:

— Стояли звери около двери...

— Лева, — позвал я.

— Стояли звери около двери, — повторил он настойчиво. — Стояли звери...

И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.

ХРОМАЯ СУДЬБА

Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.

Райдзан

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения.

1. ФЕЛИКС СОРОКИН ПУРГА

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «Типпа» с заедающей от рождения буквой «э», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается:

«...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским

автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Отступ.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека — пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П. В. Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства», картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В.

Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Тарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груде агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазые, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»... а-а, все равно: ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в

пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в этакой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе «Коньэй-мару» было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...»

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сэнтё, выходи», — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды», — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен», — приказал майор».

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

«Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?» — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо «ки» говорил «кси», вместо «цу» говорил «ту», понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему

вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не

сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теребит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а, наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми

скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: «Сэйнэн дзидай-но саку» — «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

«Кроличьи Яйца» — «Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской

ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» — ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ печать любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда «Суворовский натиск», дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что «Случай в карауле» не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли «Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!». Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой «Случай в карауле» на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: «Случай в карауле» или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил «Творения юношеских лет» в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: «Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы».

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс»,

написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Карт сэ-Шануа, «полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет», а также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда «взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви». И поскольку «воле Шуа дю-Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю-Гюрзель», бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: «К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе».

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои «Современные сказки» полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего «Нарцисса». Во-первых, потому, что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину!», не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантасмагории.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. «Корягины». Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц — студенты, художники, слушатели военной академии... Действие происходит в Москве, в наши дни.

«_Аня_. Слушай, можно задать тебе один вопрос?

Николай. Попробуй.

Аня. А ты не обидишься?

Николай. Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

Аня. Да. Почему ты с нею развелся?»

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попалась общая тетрадь в липком

коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!» — потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

«2.04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...»

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, 7.04 — странная запись: «Писал жалобу в правительствующий сенат». И еще: 19.04. «Омерзительный, как окурок в писсуаре». И 3.05: «Ничто так не взрослит, как предательство».

А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки.

«21 мая 72 года. История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовой. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя».

Это еще не «Современные сказки», до «Современных сказок» было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовой? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

«28.10.72. Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса». В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу

летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения». Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: «Не работал, страдаю брюхом», а третьего — короткая запись: «Вполсвиста».

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей.

«Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет».

«Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий».

«Против кого дружите?»

«Ректальная литература».

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин».

«Гнал спирт из ногтей алкоголиков».

А это опять для «Современных сказок»:

«Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает «Кубические формы» Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Святыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: "Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское

приставание"».

Еще фразы:

«Путал сентименталов с симменталами».

«Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит...»

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь — исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно-сухие: «Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.». А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны — все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получалась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя

добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще» — а она ответила: «А вы пишите побольше».

Кроме денег оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. «Господину Фериксу Арександровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

«Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Есри вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской деригации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство «Хаякава» и журнал «Эс-Эф магадзин», но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это — наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимают некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто Вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить Вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением»

(подпись иероглифами).

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто итадакимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора «Товарищей офицеров» и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя «Современных сказок». И неоднократно мне даже присылали записки: «Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего «Современные сказки»?»

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: «хватить шилом патоки», «цвести, как майская роза», «иметь попсовый вид», «полные штаны удовольствия», «начистить ряшку» и «залить зенки»... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что «банан» на жаргоне школьников означает «двойку как отметку, в скобках — оценку», а «забойный» означает всего-навсего «сногсшибательный» в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу». А во-вторых, фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на «молниях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?»

Леня Баринов по прозвищу Шибзд спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда? — сейчас же осведомился Леня.

— Леня, — сказал я теперь уже просительно. — Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать

не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби, — примирительно попросил Леня. — Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда? — спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь, — произнес Леня грустно. — Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в кармане — тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбегал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку «Салюта».

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиною, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не

стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс», мы включим по всей квартире весь свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему бренчало за стеной неумелое пианино и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпиграф:

> Я в третьем круге, там, где дождь струится,
> Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
> Всегда такой же, он все так же длится...

....

Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек — незваный гость на этих улицах, и дождь его не жалует.

У меня их здесь десять тысяч человеков в моем городе — дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпиков. Детей. И неописуемое наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал — какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого и не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

2. БАНЕВ В КРУГУ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лола. — Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она — знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат,

запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать, — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. — Она уже успокоилась, красные пятна пропали. — Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом, она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки

довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион, — сказал Виктор. — Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола, — сказал Виктор. — Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый — дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она. — Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола, — сказал Виктор морщась. — Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну вот что, — сказал Виктор. — Ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла выпрямившись и прямо-таки дрожала, предвкушая

упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые наконец наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да, в конце концов, и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребячьего ржания... Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него.

Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый, — сказал Виктор, — хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись, — сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик. — Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да, — сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я все-таки кого-нибудь позову, — сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось. — Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... — Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. — Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... — Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. Чем же это меня? — подумал он. Да ведь как ловко...

— Вы наступили себе на плащ, — сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага, — сказал он. — Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор. — Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу, — сказал Бол-Кунац. — Куда вам лучше идти? Домой?

— Погоди, — сказал Виктор. — Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили, — сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут, за углом...

— Ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет, — ответил Бол-Кунац, подумав. — По-моему, они все были без очков.

— О, господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. — Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

— Не знаю, — сдержанно произнес Бол-Кунац. — По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. — Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем, — помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном. — Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно, — сказал он и двинулся дальше. — Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил ему Виктор, — что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в

детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо спросил Бол-Кунац. — И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно, — продолжал между тем Бол-Кунац. — А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да, — сказал Виктор. — Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать, — рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей и попадались прохожие — торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная слава»...

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный

нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить, и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня... в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги... и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет... и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане...

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». — «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. — Шляешься по ресторанам...» — «У меня разговор с господином Баневым, — повторял Бол-Кунац. — Ресторан меня не интересует». — «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э... — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился

и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй. — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе», — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься, — сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор.

— Это неважно, — сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он. — Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я. — Он осушил стакан. — Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг: вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомню, — сказал Бол-Кунац. — А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

— Погоди, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Бол-Кунац. — Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?.. Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от модернового стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета — я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться...

И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно, — благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, — а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина

президента небось не такой. У господина президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишенное мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками — я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямотой сообщили, что «беллетрист В. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все это помню... Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но — для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет этому некрасивому, но мужественному лицу, — я должен отметить, я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы сейчас благополучнейшим образом обретались в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

— Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор. — Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь, — сказал Голем. — Они абсолютно не заразные.

— Как же не заразные, — возразил Виктор, — когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок, — благодушно сказал Голем. — От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор, — сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тиной воняет, — с негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него воняет тиной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем. — Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все по очереди.

— Срам! — с негодованием сказал доктор Р. Квадрига. — Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо — многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, могут быть самолеты, аэродром, и потом, никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р. Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман, — грустно сказал Павору доктор Р. Квадрига. — Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор, — сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом, — произнес доктор Р. Квадрига,

мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем, — ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р. Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь, — сказал он ровным голосом. — За городом грязь, весь в дерьме. — И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором, — произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку. — Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно?

— Вам лучше знать, — сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает, — возразил Голем. — Некоторые догадываются. Очень немногие — те, кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем, — сказал Виктор, — вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим, — сказал Виктор. — Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело, — сказал Голем, наливая себе из графинчика. — Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню, — сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига. — Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню, — сказал он Виктору. — Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем, — небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульпт'р?

— Нет. Врач.

— Х'рург?

— Я главный врач лепрозория, — терпеливо объяснил Голем.

— Ах да! — сказал доктор Р. Квадрига, по-лошадиному мотая головой.

— Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представлю. Такие люди нам нужны... Простите, — сказал он неожиданно. — Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р. Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди, — сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально глядел на Виктора. — А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать, и падать, и падать...

— Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...

— За систематический пессимизм, — сказал Виктор вслух, — ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно, — сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, — сообщил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем, — сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал, — заметил Виктор, — что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии, — сказал Павор, — эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение, — сказал Голем, — когда при мне штатский человек рассуждает как военный.

— Военные вообще не рассуждают, — возразил Павор. — У военных только рефлексы и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Павор. — Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоет, но это случится еще очень не скоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что

они — мокрые у вас тут стали от дождей?

— А почему — нет? — сказал Павор. — Как же их, по-вашему, называть?

— Очкарики, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый — вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что, — брюзгливо сказал он еще издали. — Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему доверительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас, — сказал Р. Квадрига, — но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я — консерватор... Внимание! — сказал он громко. — Предлагается тост за консерватизм. Минуточку... — Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. — Я — консерватор, — сказал он. — И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, — продолжал Виктор. — Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправданно раньше, но сейчас такая функция государства попросту

необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать свои щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... В гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор, — сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же, — сказал Голем. — Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку... — А чего я, собственно, стою, подумал Виктор и сел. — Ну, как вам это показалось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы, — сказал Голем. — А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом. — Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор. — Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом, — сказал Голем. — А может быть, и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? В

этом захолустье?

— Вот видите, — наставительно сказал Виктор. — Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать, — сказал он. — Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р. Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано, — заметил Виктор уклончиво. — А еще что?

— Подвал, — печально сказал Р. Квадрига. — Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари, — предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

— Жалко, — сказал он.

— Скупердяй, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Р. Квадрига. — И никто.

— А господин президент? — агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа», — оживляясь, сказал Р. Квадрига. —

Эскиз в золотистых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом», — сказал Р. Квадрига с готовностью. — Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор, — говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться, — отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа, — сказал Виктор. — Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — спросил он.

— Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь, — коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и оперся на стойку. — Что там на твоем барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отполированному стволику.

— Без просвета, — сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник». — Дьявольская выдумка. — Подумав, он добавил: — А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару, — предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно, — сказал он. — Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему...

— Я ему так и сказал. — Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу. — Не отдам, — заявил он решительно. — Пусть-ка сам поищет. — Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит

в пальцах рюмку, и сообщил: — Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасаешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он знал раньше, она — самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой — у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р. Квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.

— Дороги мокрые, скользкие, — говорил Тэдди. — Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент, — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди, — сказал Виктор. — Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р. Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил:

— «Легион Свободы — опора президента». Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...

— Я пошел, — сказал Виктор.

— Жаль, — сказал Голем. — Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу, — сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант», — оживился Р. Квадрига. — Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий, — проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь, — равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко. — Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути, — сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое

и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто, тряся жирным задом, не бегал в пятнашки, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской Росшеперовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в

сиреневом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Перед ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчиганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу, — просительно проблеял Росшепер. — Давай в лошадки! И-го-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полузнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет как надо, без накладок, а дома несчастье... Нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда же он вернется, и он тоже ждет, когда дадут занавес и погасят огни... И даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распихивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу —

ура!» Замолкшая на секунду радиола снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой что хочу. Не ты со мной, а я с тобой.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана, На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал где-то неподалеку: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?

— Абсолютно.

— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.

— Пошли отсюда, — сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», — и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри... и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно... и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хором.

— Это надолго? — спросил он.

— Что? — спросила Диана сонно.
— Долго они будут выть?
— Не знаю. Какое нам дело? — Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она.
Они повозились, забираясь под одеяло.
— Не спи, — сказал он.
— Угу, — пробормотала она.
— Тебе хорошо?
— Угу.
— А если за ухо?
— Угу... Отстань, больно.
— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?
— Можно.
— А где?
— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.
Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...
Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.
— Не могу я их сажать, — сказал пьяный голос полицмейстера. — Нет такого закона...
— Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рявкнул бургомистр.

— Будет! — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные, — проблеял фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия, — сказал Росшепер, — расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул бургомистр. — Чтобы р-разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет?

Чем бы их садануть? — подумал Виктор.

— Росшепер! — сказал полицмейстер. — Ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет, — сказал Росшепер. — Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай я тебя поцелую, — сказал полицмейстер.

— Молодец, — сказал бургомистр. — Голова. Дай я тоже...

— Ерунда, — сказал Росшепер. — Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» — и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да, — сказала Диана хрипло. — Да, это я... — Она откашлялась. — Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно, — сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает

разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, к Росшеперу, а налево. Потом скрипнула где-то дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть теперь, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он появился как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет, — сказала она. — Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет, — сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся, — сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повиновение. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Поедем или пойдем?

— Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

— Я готов, — сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли. — Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — Или, скажем, у кровати?..

Она встрепенулась.

— Нет. Ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет. — На, — сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался — спортивный мелкокалиберный. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны, — сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллейку между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как там мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыло, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор, — сказала она негромко. — Сейчас мы пойдем по

тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял, — покорно сказал Виктор. — Шаг влево, шаг вправо — считается побег...

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи, — сказала Диана перехваченным голосом. — Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор», — и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! — крикнула Диана. — Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи», — хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик», — сказала Диана. «Не могу, — виновато сказал Виктор. — Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик, — повторила она. — Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена, — сказал из темноты напряженный голос. —

Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно, — сказала Диана. — Сейчас. Виктор, давай мне фонарик, а сам возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же, — нетерпеливо сказала Диана. — На спину.

— Сейчас, — отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. — Сейчас... — Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. — Обнимите меня за шею, — сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль, — ответила Диана.

— Не надо, — тем же напряженным голосом произнес мокрец. — Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь, — возразил Виктор.

— Перестаньте болтать, — сказал мокрец. — Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его, — сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь, — сказал он.

— Не будьте дураком, — проговорил мокрец. — Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин, — тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван, — сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. — Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили, — сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня, — сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня сегодня назвали дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него теперь страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них тоже неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. — Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — Глоток джину?

— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком,

присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?» — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

— Я не ухожу, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься, — сказала Диана.

— Я не ухожу, — повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно, — сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда, — сказал он из темноты. — Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет, — ответила Диана. — Позвонить?

— Теперь уж не стоит, — сказал Голем, — а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем, — сказала Диана.

— Поплывем, — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего, — сказала она. — Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки, — сердито пожаловался Виктор. — И

потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор. — Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас — мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла, и зажегся свет.

— Подожди, — сказал Виктор озираясь. — Куда ты меня привела?

— Это лаборатория, — ответила Диана. — Я сейчас.

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами на полу темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас, — сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

— Ну вот, — сказала Диана. — Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана, — сказал Виктор осторожно. — А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж... Бывший муж.

3. ФЕЛИКС СОРОКИН ПРИКЛЮЧЕНИЕ

С вечера я не принял сустак, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что сустак нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и, наверное, «Салюта» на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же, тут же позвонила Катька и, конечно же, озабоченно, однако не без яду, осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: «Это не по ним, это по их товарищам справа...» И сначала все пошло у меня лихо, бодро-весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: «А Комиссар все смотрит на горящий танк.

Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно».

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий «тигр». Но все это было словно из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это судьбою в полной мере... Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада... Симонов у нас есть, нежно мною любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, горький мастер, и несравненный Богомолов, и поразительный «Сашка» есть у Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша, тоже мой любимый, и ранний Бондарев... Да мне их всех и не перечислить. И не надо. К чему мне их перечислять, мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них, — не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной не заслужил и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой пятьдесят четвертого года рождения, взявшемся вдруг писать о Курской дуге, — не о БАМе, заметьте, писать взявшемся и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, — если откровенно...

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движенье мельник должен жить...» — бормотал я, с кряхтеньем натягивая башмаки. «Вода примером служит нам!..» — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу «Корягины». Я

отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс!» — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого, — похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот, опять», — подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распущен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня — вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удается собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс! — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. — Сам бог тебя ко мне

послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: «М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иван Давыдович, мафусаллин». То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. («Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...») Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый, упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной «беломориной» в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У «неотложки» мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение, — что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, сущеглупый и бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось сильнее

сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать — ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полуобморочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народа в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я,

Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечественным, так и зарубежным — в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси прямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск, — сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает, — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская, — объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь

оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов — Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

— В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком! — гаркнул он. — С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова, — произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит, — объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит, — сказал я. — Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? — прервал он меня. — Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтоб его там... — пробормотал он. — Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте! — пророкотал он. — А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру! — сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе! — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы вперемежку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородском шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что...

После всех этих передряг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб. Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, масляно поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?.. нет, минеральной... А притушив

первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками «адидас» нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки, — средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а навыворот — серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на «Кропоткинской», и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: «Свой, свой,

Марья Трофимовна!» — и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллинн. Виды на урожай на юге, оказывается, хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыра во Вселенной», а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: «Ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: «Вчера помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей Парагвая (пауза) за группу писателей Уругвая...» А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: «Ну, и что же ты?» — «А что я? — агрессивно произнес Жора. — Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка меж ног...» — «Но потом, —

сказал Гарик, — когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой, случайно, не извинялся?» — «А как же! Даже стихи мне посвятил. В «Литературке». На манер Пушкина, про лицейскую дружбу...» — «Пожалуй, будь себе татарин?..» — ядовито предположил Валя. Мы поржали — не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС-1020, а может быть, и вовсе какой-нибудь «Минск» поплоше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, он же Гирш Наумович, то все очень просто: какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеды, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые — писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет углядывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валю, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

— В глаза! — проникновенно произнес Валя. — В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая,

стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами «жопа», а на бумаге выходит: «окорока», «пятая точка», «афедрон» и уж в самом крайнем случае «ж» с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валей и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он распираем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать...

— Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина — особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников знаете что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматьи пять страниц из «Тихого Дона»! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка — что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: «Михеич, говорю, ну что ты

боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?..»

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! «Изпитал»! «Измеритель писательского таланта». Писатели сначала по глупости своей радуются — наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть «Мензуру Зоили» Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

— «С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, — всем им теперь крышка!»

После чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катька с заказом, да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно?

На обратном пути я вспомнил. Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

— Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я

только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

— Обязательно, — сказал я. — А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

— Вообще-то... — промямлил я. — Завтра, пожалуй, в это время.

— Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил — непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня! Что очень срочно, важно очень...

— Вообще-то ладно... — сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание, ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером — пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут — я не помню, и какое он имеет отношение к литературе — представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случалось и ранее, появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутоярский, тощий, темнолицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

— Что такое критика? — спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. — Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка плеснулась у них из фужеров.

— Критика — это наука, — продолжал Слава, глядя на Жору в упор. — Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здравой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и, пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что, как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счеты. Вот так.

Я выпил и закусил ломтиком остывшего бифштекса. Между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей — это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже оттого, что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши все и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы он расплатился за меня, и, твердо шагая, направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке возглашал стихи диаконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навытяжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди, — выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре Клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеваный, похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашения подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному: Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание, растекалась, спустившись, между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, гопа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками... Прекрасная жизнь била ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло — я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан — манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я

было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

— Да что ты пихаешься? — сказал я наконец уже в коридоре.

— Пойдем присядем, — пригласил он. — Вон там, скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с заметно меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, помнится: «Надо же, животное — а ведь чувствует!» И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился:

— Что, помогло, значит?

— Что именно? — спросил он быстро.

— Ну, этот твой... мафусаил...

— Да! — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. — Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают... Веришь, у меня глаза на лоб полезли, впору к окулисту проситься!..

И он пустился по второму разу: как его рвало и как его несло, и так далее. При этом он острил — иногда довольно удачно, вообще пытался все изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень скоро мне пришло в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — Я растерялся. — Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

— Нет, никак... — уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

— Было дело, — сказал я и, не удержавшись, добавил: — Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием...

— Ну, ничего! — произнес он, делая легкомысленный жест. — Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах — то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдали, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

— Слушай, — сказал я решительно. — Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

— Да-да, конечно! — воскликнул он. — Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал — в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил — опять же полушепотом:

— Ты чего?

Это опять был совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно:

— Да нет, ничего. Сейчас пойду.

— Ну, иди, — пробормотал Костя. — Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спросил я.

— Насчет чего? — спросил Костя совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из Клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто сказал? — спросил Костя, и глаза его снова заметались.

— Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным.

— Ладно, — сказал я, махнув рукой. — Не поняли так не поняли. Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уже несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиною к стене и, брызгаясь, прошипел мне в лицо:

— Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда удирал от этого вурдалака, Ивана Давыдовича Мартинсона.

— Постой, да ты что? — пробормотал я, пытаясь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы закостеневшие. — Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? — заорал я в полный голос, оторвал наконец от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: — Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения — не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сипло дыша друг другу в лицо...

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: «Не было ничего, понял? Не было!..» — а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, не нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет — от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет и что было на

самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и в самом деле произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то неположенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Костя их тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес я как можно спокойнее. — Ну чего ты дергаешься? Ну какое мне дело до всего этого, сам подумай... Ну не было так не было. Что я — спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплюнуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: «О себе подумай! Сорокин! Серьезно тебе говорю!» Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к коньячку моему и к Синей Папке!

В гардеробе, затягивая молнию на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро — рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш, — сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

4. БАНЕВ ВУНДЕРКИНДЫ

— Давно я вас не видел в городе, — сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно, — возразил Виктор. — Всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь, — вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь, — обратился Павор к Диане. — Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица... — Он чихнул. — Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он у Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно — все время хочется выпить.

— Что за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха, — сказал Виктор. — Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотится на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так, — сказал Павор. — А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от пострадавшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и расстались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается, — резко сказала Диана.

— Конечно, — сказал Павор. — Я просто удивился... — Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт, — сказал он. — Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высморкался. — Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку. — Он с довольным видом осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов, — посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял, — сказал Павор со вздохом. — Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно.

— До свидания, — сказал Павор, поднимаясь. — Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный, — сказала Диана.

— Да, — согласился Виктор. — Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет, — сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая, — ответила Диана. — Белокурая бестия.

Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на, — удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь, — заметил Виктор. — Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже, в общем, неплохо...

— Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно, — сказал Виктор. — Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет Диане! — заорал он. — Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана. — Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел, — сказал Виктор.

— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все.

— То, что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь. — Он закурил и передал ей сигарету. — Продолжай.

— Медузы, — сказала она горько. — Скользкие глупые медузы. Копошатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и то, признаться, уже навяз на зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен!

— И это все?

— Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана. — А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне, — напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди, — сказал Виктор, — но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин, — сказал Виктор. — Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра?

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с черной повязкой на лице.

— Здравствуйте, — сказал он Диане. — Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет, — сказал он громко.

— Да, — сказала Диана. — Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрецу равнодушной улыбкой. Все стало, как обычно, — Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р. Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор

налил ему коньяку. Мокрец привычно небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да, — сказала Диана. — Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока, — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком? Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..

— Моя фамилия Банев, — представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно, — ответил мокрец холодно.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла, — сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзмансор.

— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не родственник Павлу Зурзмансору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец, — сказал он. — Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его там, — словом, племянничек. Виктор глядел на него не больше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю, — любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку, — сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этакий юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке, — черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастями. Затем фотография кончилась, и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади.

Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации, — только один из них применял бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше, а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылью в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылью, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буянить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне?

Виктор щупал распухшее ухо.

— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, навострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети президента...

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь,

прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого с нами не было, — шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на долговязого. — Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?» — «Понял», — тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзмансор с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил вполголоса, после чего Голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы с тобой били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря, — сказал Виктор. — Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизни нашей ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:

— Что? Много наломали?

— Да нет, — ответил швейцар. — Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, на вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р. Квадриге, которого обычно не жаловала. Перед Р. Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею,

что не присутствовал при сем хотя мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо, — сказал Р. Квадрига. — Где ты такое достал? Как петушиный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей и только ей обязан я викторией своею, — сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим, — мрачно сказал Р. Квадрига и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен, — сказала Диана. — Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело, — ответил Виктор. — Я специально защищал.

Доктор Р. Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы, — поспешно сказал ему Виктор. — Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев...

— Оставь, — сказал Р. Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья мои сидят без права переписки, а новые — неграмотны...

— Никаких государственных тайн, — сказал Виктор. — Я неблагонадежен.

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.

— Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. — Потрудитесь скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо! — сказал Виктор, и Р. Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают, — сказал он жалобно. — Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь

боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина, — пояснил Виктор Диане. — «Президент и Вечно Юная Нация»...

— Дурак, — грустно сказал доктор Р. Квадрига. — Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак, — сказал Р. Квадрига. — Это будет лицо художника...

— Моя задница, — объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига. — Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто лежит без права переписки... И все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я понял, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются... — Глаза его вдруг наполнились слезами. — Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров, — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не любит Павора, — сказал он. — Один я урод какой-то.

— Тихий омут, — произнес доктор Р. Квадрига. — И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига. — Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор гонорис кауза...

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только

сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах, — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только — обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыдные детские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, думал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничижения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные...

Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятишек и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента — даром доктора Р. Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. — Он повернулся к Виктору. — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть... — Ага, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валерьянс, 6 кл.» — Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами как с равными и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом

проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. — Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак. Все ли читали мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет», — и снова сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что, вопреки широко распространенному мнению, ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из зала.

— Нет, это я шучу, — сказал Виктор. — Так что мы решим насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть самого себя в

настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. (Несу, подумал он. Да и как тут не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью».

Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крякнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим общественную мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что... как бы тебе сказать... всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. — Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет, — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если окружающие поддерживают его в этом мнении.

Да-а, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы, — сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же, — сказал Виктор. — Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. — Или инакочувствующий, — добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. — Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами.

— Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня

ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывают жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении... — Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы ввернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем!.. — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы — не взрослые еще. Я понимаю, это непедагогично — так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга.

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком

случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис, — пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне, — сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете, — сказал он, — я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там низачем не нужна, командовать некем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая

возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато снова поднялся прыщавый юнец и, горестно кивая, заговорил:

— Вот в этом все дело... Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за», — показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междуусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого только вы не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание, затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного

было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы совершенно самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать все сначала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно

сохраняется, становится хозяином и в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да, — сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... а может быть, именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир, — загадочно сказал Бол-Кунац, — нам мешать не станет. Он будет нам даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчики и девочки, подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаяньем. Может быть, и обойдется. Они же совсем не такие, как мы. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много:

«Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...

— Тут у меня несколько вопросов, — сказал он. — Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию современного общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он написал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом

постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она — акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, объявлявшие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых, Боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, Боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он. Фантазия разыгралась... Ну дети, ну акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам развитых не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом, — все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, — значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а

при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе джину и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завыть от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет, что чего там, и так сойдет — а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на всю свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, будто учиненное сегодня над ним плюходействие было величайшим триумфом в его жизни, или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, подумал он с ненавистью. Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он. Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул: «Да!» — и вошел Павор в поддельном бухарском халате, растрепанный, с распухшим носом.

— Наконец-то, — сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что — наконец-то? — спросил Виктор. — Джину хотите?

— Ох, не знаю... — отозвался Павор, хлюпая и всхрапывая. — Меня этот город доконает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы, — сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, старый дурень, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли, — сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь», — сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету, — решительно сказал Виктор. — А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слыхал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два,

как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — система воспитания, детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. — Что они ширинку забывают вовремя расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора. — У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и отрешенность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну, ладно, хватит, — сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать, — сказал Виктор. — Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые... — Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса... Адское, какое-то болезненное несоответствие... — Павор сочувственно кивал. — Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор. — Неохота вспоминать.

— Понятно, — сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний.

Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— Что ж, очень даже может быть, — сказал Павор. — Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. Вокс populi. Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к ним в лепрозорий, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. И теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев.

— Я не понимаю, — сказал он. — Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно. — Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни, — туманно сказал он. — Трепотня пополам с

истиной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом, — сказал он. — Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от младых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— Имеющий глаза да видит, — говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике, — он тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, думал Виктор. Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа.

Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот что удивительно.

Нет, это все-таки не президент, думал Виктор. Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать.

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы, — пробормотал Виктор. — Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка, — сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг, — сказал Виктор. — Все, что я с собой привез, все в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди, — ответил он. — Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема, — сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. — У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрецы

настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм... — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние. — Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает, — повторил Виктор, — что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет?

— Насколько я знаю, — сказал Голем, отхлебнув из стакана, — мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием «злой волчок»?

— Ну, конечно, — сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была... — Виктор замолчал. — Да, действительно, — сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон, — сказал Павор. — Можно узнать мне, пришельцу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя, — сказал Голем. — Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю, — сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту, — сказал Павор капризно. — Я не про «погодник»...

— Погодите, Павор, — нетерпеливо сказал Виктор. — Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?
— А вы разве не обижаете?
— Пока нет. Пока даже наоборот.
— Ну, тогда все в порядке, — сказал Голем и поднялся. — Тогда поехали.
Виктор вытаращил глаза.
— Куда поехали?
— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.
Виктор посмотрел на часы.
— Не рано ли? — сказал он.
— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.
— А может быть, сначала пообедаем?
— Как угодно, — повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам не советую.
Виктор пощупал живот.
— Да, — сказал он. Потом он посмотрел на Павора. — Поеду, пожалуй.
— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только книжек привезите.
— Обязательно, — пообещал Виктор и стал одеваться.
Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:
— Вы намеки понимаете?
— Иногда, — ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что?
— Так вот обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.
— Гм, — пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать?
— Как намек. Перестаньте болтать языком.
— С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая.
Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.
— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом

господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем усмехнулся.

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом вовсе не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы, — сказал Голем.

— Я практически тоже, — произнес Виктор. — Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю, — сказал Виктор. — Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четверо, — сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу. — Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так, — сказал он наконец. — Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха, ха, ха. Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные, — сказал Голем, — никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно, — пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался об

этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да, — сказал Виктор. — Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А ля гаммельнский крысолов? — спросил Голем.

— Да, — легкомысленно подтвердил Виктор. — Именно а ля. — Потом он вспомнил, чем кончилась история с гаммельнским крысоловом. — Ничего забавного тут нет, — сказал он. — Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребятишек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь, — сказал Голем. — Понятно. А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Н-да, — вздохнул Виктор. — Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте бренчать, — сказал Голем.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем. — И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км» и «САН. «ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ» — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка остановитесь, — сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого

бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоем месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь, — сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но — что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал. — Вас, милостивый государь, — сказал он надменно, — я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнеся эти слова, — с отвращением подумал он, — граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста, — сказала Ирма и, скособочившись на сиденье,

просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний, — когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз за этот день...

— Забери свою ногу, — сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо следил за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель, — сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма. — Что это ты придумал?

— Ладно, ладно... — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжки, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем... — начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем, не оборачиваясь.

— Нет, ничего, — вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща. — Ирма, — сказал он утомленно. — Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман, — ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман, — повторила Ирма.

— Про туман, — поправил Виктор. — Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол, — объяснил Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как, — сказала Ирма. — Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман, — неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди, — сказал он. — Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости, — сказал Голем.

— Ну, это исключение, — сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро, — сказал Голем.

— Быстро — это не существительное, — запальчиво сказал Виктор. — Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман, — сказал Виктор. — Можешь его думать. А также его нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим, — сказал он. — Глагол «думать» выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело, — возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделением поглядел на горлышко фляги. — Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает, — признался Виктор.

— Надо выпить джину, — заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть, — сказал Голем. — Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме; лежало с таким видом, словно

пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девки в белье и уличными голосами пели про жестокого аптекаря, — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее.

На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятьями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он. — Др-руг! — Тут он заметил Ирму и пришел в восторг. — Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!» — «Диана! — рявкнул Виктор. — Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От нее пахло спиртным. — Господи, — сказала она. — Кого ты привел?

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо.

— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи в

постель, и вообще...

— Я не лягу, — заявила Ирма.

— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно.

— Диана, — сказал Виктор. — Я тебя прошу.

— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

5. ФЕЛИКС СОРОКИН «...И ЖИВОТНОВОДСТВО!»

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением осознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше бабы. Видимо, это уже наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левое предплечье, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в туалет и воевать с неисправным бачком, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрав глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами, вроде: «Ни кадра на родной земле» или «Сойдет за мировоззрение»... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно

бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался, и никогда теперь уже не стану никем другим, напиши я еще хоть сто «Современных сказок», потому что откуда мне знать: может быть, и Синяя Папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, — тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну, ладно, предположим даже, что это баранина, парная, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она ни была, эта моя слава. Деньги добывать проще халтурою, чем честным писательским трудом. А так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого бы не заметил. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком, тоже ничего, ну ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Эф А? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятимиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом Эль Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по «Войне и миру»... Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта, такая простенькая и такая мертвящая мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает

слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем НИЧТО, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это — лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты государство или построил дачу из ворованного материала, к делу это не относится, ибо есть лишь НИЧТО ДО и НИЧТО ПОСЛЕ, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным логическим умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибегал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень, — пусть даже небольшой, местного значения, — вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, я перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего, я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека единовременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые, Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умилительное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что — непонятно: наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И водочка под соленые грузди в Клубе... Банально, я понимаю, — водочка; так ведь и все радости банальны! А безответственный, вполпьяна, треп в Клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах спозаранку в лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает...

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть, Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я, не вставая, сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), кряхтя поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь в лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и значит, звонил Леня Шибзд.

— Здорово, — произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. — Как дела?

— Охайо, — отозвался я. — Боцубоцу-са. Аригато.

— А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он.

— Могу, — сказал я с готовностью. — Эврисинг из окэй.

— Так бы сразу и сказал. — Он помолчал. — Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

— Ты о чем? — спросил я насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

— Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я наконец сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на

Банную.

— М-мать... — сказал я. — Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того изымают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

— В ресторане я ее забыл! — проговорил я с облегчением.

— Кого? — спросил он, охотно прервавшись.

— Папку!

— Какую?

— Канцелярскую. Со шнурочками.

— А внутри? — напирал Шибзд,

— Слушай, — сказал я. — Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена...

— У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

— Не был я на Банной! Не был!

— А где ты тогда был?

Помыслить было страшно — рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустволичьи глаза Ивана Давыдовыча и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта; и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд — это человек, которого не интересует ЧТО. Его всегда интересует ПОЧЕМУ. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам...

— Леня, — сказал я решительно. — Извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Баринова. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он — маленький, черняtвенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по нескольку слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих выражающее заданную идею, и

все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не полениться и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и создашь наконец что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: «она тронула его руку» или «она притронулась к его руке»... И в отчаянии он звонит за советом Вале, и жестокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым аверченковским: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги...» И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости...

Но есть, есть между нами некое сродство! Я уверен, что прочитай я ему из своей Синей Папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете не понял бы и не принял бы. Только читать ему из Синей Папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать сведения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно — читать ему из Синей Папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год, — про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью — во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он получает призы, мировую известность, почести — и все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне

нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и недовыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы недовыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, вплоть до КПК...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и между прочим, не только у нашего брата — советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор... Язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. «Молодая пешеход добежал до переход...»

У меня вот в «Товарищах офицерах» любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель — читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос — во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники — все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже

погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспевает. Или Ойло Союзное...

— Однако все это философия, а не пора ли за работу? — произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому, что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер — человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино — не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: «А, сойдет за мировоззрение!» А что касается другого его афоризма — «Ни кадра на родной земле», — то пусть-ка он попробует отснять кадры моей танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него в конце концов получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получится моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино — но только в кино! — была парочка штурмбанфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хор-р-рошая танковая атака, желательно массированная... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет их инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запале, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему принцип «ко», немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

— Дурак он и склочник, этот Орешин, — ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежьи хлопоты». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала «Советише Гэймланд» он прочитал повесть «Поезд надежды», переведенную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни «Медвежьи хлопоты»! Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имярека осуществил якобы его прикованный к постели друг и т. д., и т. д., и т. п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и т. д., и т. д., и т. п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу

О. Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, грешным делом, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня неубедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченке удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь в лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и ублаготворенным. Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет пришло мне два письма. Одно официальное, из Клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке — может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес с прибавлением «лично, в собственные руки!» написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят нечасто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость, или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу

предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое — поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на днях.

Опять скандал. Вот бы о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится: «Чур меня, чур!» Общий пафос докладчика: «Где же здесь литература?» Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепрозории, претендент — доктор наук, ну на кой ляд ему членство в Союзе?.. Выступает председатель: Космос, век НТС (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... высокая литература... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеич... Сортир Сортирыч... Первого претендента единодушно проваливают при тайном голосовании с одним-единственным «за».

Второй претендент — медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с непроспанными глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг — тигр. (Рязанская область, село Мясное.) Мужик — бежать. Тигр — за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы лейб-гвардейцев. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и написал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносят повестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности; восхищение и одобрение преображаются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех «за». Все смущены. Лейб-гвардеец объясняет

мне: «Ну, не знаю. Я как был «за», так и голосовал «за»...»

Потом принимаются за бывого министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том — что-то вроде «Развития прачечного дела от царицы Тамар до наших дней».

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

— Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как, вчера — на Банной был?

— Да, — сказал я. — А как же... Все отвез в лучшем виде.

— Ну, спасибо. Тогда у меня все.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресел и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в Клубе... и если я сейчас заеду за нею в Клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обвязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один — посередине фасада. Дверной проем был широкий и по замыслу архитекторов должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью: «Институт лингвистических исследований АН СССР».

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедняг, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снегу, что из опасения упасть мы все придерживались друг за друга.

Вырвавшись наконец на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки, сверху, через решетчатую стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слева от меня стеклянный киоск торговал изопродукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечо к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом — кроме одного старичка, которого послали за пирожками.

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился: «Ну, чего встал, стояло?», и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике — лампочку, а за лампочкой — старушку с вязаньем. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили.

Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось проходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разве что в буфет, так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: «Только там собрание...», — и я,

хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал.

Коридор. Не часто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушинами под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, выстланный скрипучими неровными досками, опасно подающимися под ногой. И не прямым был этот коридор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице, и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери ощетиниваются копьями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелы... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вышел в конференц-зал. Но только здесь дошел до меня смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего — общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я озирал окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: «Писатели — сюда». Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть речи, я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.

Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без

десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то, скорее всего, через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к месткому. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хотя и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания, и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица — любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряшку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатова, и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади.

С трибуны неслось:

— ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на

развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже... Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем безусловно есть. Невзирая на его поросячьи, вечно непроспанные глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... (Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды в Мурашах, в доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за появление в столовой в нетрезвом виде, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: «Рогожин, я Вас люблю!» Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с каменным лицом расхаживает среди них и приговаривает: «Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...» Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегает взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у

него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своем исчезают. Полина Златопольских (мечтательно заведя глаза): «Однако же, какая у него струя!»

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. «Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?» Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: «Рогожин, я к Вам равнодушен!» Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное?!

Громовой возглас «И животноводство!» вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах

сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут через меня в коридор выскользнули двое юношей бледных со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки, — напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видал, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покоробило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: «Вы писатель, наверное?» — «Увы», — сознался я. «А как ваша фамилия?» — с юношеской непосредственностью осведомился другой. «Есенин», — сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятием, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее вполслуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица — и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо...

Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большей частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскакивали вопросики, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекла их, не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно, один за другим мне пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

— Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? — спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простирания дланей, задирания очей горе и прочей шиллеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если за бугром снова напечатали меня помимо ВААПа? Ну что за сволочи, в самом деле! И меня прорвало.

— Чушь проклятая! — гаркнул я. — Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

— Побеседовать, — сказала Катька. — Я, может быть, в Ганду поеду...

— В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара, квартиру она сдает Щукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом — как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по следам мамаши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют!

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушенного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крякнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

— А ты чего же? — как обычно спохватился я с уже набитым ртом.

— А я уже, — как обычно ответила она, встала коленками на стул и, отклячив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

— Раз в Ганду, — прочавкал я, — тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

— Спрашивал.

— Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

— Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, — сказала Катька, нарезая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом...

— Странные все какие-то вопросы были, — произнесла Катька тихо. — Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из Синей Папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о «Современных сказках», когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченая. И сейчас вот — улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Скоробогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне

никак не собраться... Забрезжила тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой: в самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О. Орешин.

Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какового содействия, конечно же, немыслима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот неимоверный период, однако не на таковского я напал.

Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял сустак. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, я принял его за обыкновенного зоологического антисемита вроде лейб-гвардейцев. Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг — пожалуйста! — возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы — хватает то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает — и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на

то, что читать на нем все равно никто не умеет...

Дурак он, этот О. Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак, как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания.

— ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное — честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

— И животноводство! — рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть и две, трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно:

— Животноводство? Да... животноводство — без всякого сомнения... Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным?..

И он затянул все сначала.

В общем мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие Счастливчика Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасения, крутилось у меня в голове. Нет им спасения, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасения ныне и присно, и во веки веков, аминь! Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

— Феликса Александровича, будьте добры.

— Я.

После маленькой паузы голос спросил:

— Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

— Какое письмо?

— Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович... Мы тогда позвоним дня через два... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул, да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва Г-69 — где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: «Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!»

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... «МЫ позвоним...» Катькин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем... «Да. Было какое-то письмо. Чушь какая-то. Не помню. Я, знаете, их много получаю, на каждый, знаете, чих не наздравствуешься...»

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком черными чернилами написано там было следующее. Без обращения.

«Мы давно уже догадались, кто Вы такой. Но не беспокойтесь. Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно Вас и причин, по которым Вы среди нас оказались. Если Вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам, то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном Вашем распоряжении. Мы будем звонить Вам. Работайте спокойно».

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

6. БАНЕВ ВОЗБУЖДЕНИЕ К АКТИВНОСТИ

На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде — никаких косичек, — кажется даже, с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедагогичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов, не страшно, ты тоже любишь выпить, а ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагодарное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было четырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере.

Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет гораздо полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал, — по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квадрига и заказал своеобычную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять представилось в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает своего отца и, может быть, даже любит... Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то... Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно — отдельное — воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой, — но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить оказалось совершенно невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего?

— В общем, ничего, — сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди передаст.

— Ага, — сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан.

Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, подумал он с некоторым испугом. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая.

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо, — славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, что он любит своих ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу, — сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев, — сказал он, — и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с коим я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его

скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю, — сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул обеспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр подъятием пальца остановил его.

— Друг мой, — сказал он. — Полпорции китчиганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю, — сказал он, снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да, — сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной Лощине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно этой округи. Однако только благодаря усилиям господина президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема — деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как

теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам... Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор. — Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил; черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход: и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал — шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что — во всяком случае лоску у господина бургомистра поубавилось прямо на глазах, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел совсем уже опустевший зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам с вами вилять, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся самосуды, окружная администрация бездействует — вот такая у нас ситуация... — Он осушил рюмку. — Должен вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите,

господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько ни развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди наши — это все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги греби лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, острая стадия, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще — и все, как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, отель горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стену горох: красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь и нет... — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— М-да, — сказал Виктор. — А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна, в столичной газете, и подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев! А материал животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецовского не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю, — сказал Виктор медленно. — Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались

сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штучки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накличут они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки, — сказал бургомистр. — Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем как скрытый коммунист этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там, и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так-так, — сказал Виктор. — Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, этот, племянник...

— Фламин Ювента, — сказал бургомистр, — мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного, — сказал Виктор. — А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накипает все-таки. И потом... — Бургомистр стыдливо заулыбался. — Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно, и даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клок, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться,

что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать себе на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступить на эту тему перед вундеркиндами... Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы все мы вам предоставим, можем предоставить даже этакую схемку, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в своекорыстных намерениях... «Выдающиеся сыновья!..» И ведь совершенно уверен, скотина, что статью я ему напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души своей отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумаю ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. Вы ведь знаете, мы, писатели, народ неподкупный, действуем исключительно по велению совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее... Помню, как же... — Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. — Прошу вас завтра ко мне, — пророкотал он. — Исключительно свои подберутся. Только чур без жен. А?

— Вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — я вынужден прямо и

решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять подмигнул. — В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и, чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища, каждый вечер скучища... и древние телевизоры, и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... А впрочем, что там говорить, есть, есть куда ехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), и, может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменился — покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер; выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка,

отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?..

Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял, — сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать, — сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся, — сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз. — Нигде правды нету! Налево ездишь — задерживают, направо ездишь — опять задерживают. — Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди, — проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул передний скат, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурок и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он. Известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв... Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он все видит, но ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд.

Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами водопады из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом, — мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: «ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км». Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и, когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять

минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, — но не говорите: слава богу...» Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.

— Здравствуйте, — сказал он. — Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства, — сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы, — сказал он сухо.

— Какие там документы, — сказал Виктор весело. — Я же говорю — обстоятельства.

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги, — сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет.

— Ага, — сказал солдат, и его лицо прояснилось. — То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду, — сказал Виктор, подняв указательный палец. — За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро, — сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами, тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башни, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. Неужели не пригласят посмотреть? — подумал Виктор. Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли, для них геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас

веселый и безо всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте, — сказал солдатик. — А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема, — сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда, — предложил солдатик.

— Гм, — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет, — объяснил он. — А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками пополз за ограду. Потом ворота закрылись. Сквозь шум дождя Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него — машина. И фляга. — А что же, вызовите.

— Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего, — сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну, да мне нетрудно. Банев, значит... — И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, ласковый, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного

двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно озираясь, сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите, — возразил Виктор с достоинством. — Что за хамство? Я буду на вас жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники.

— Но-но-но! — сказал Виктор, отступая на шаг. — Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. — Вы меня с кем-то путаете, ребята.

— Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский.

— Ну как не тот! — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора. — А ну, давай руки! — сказал он деловито.

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойти от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты, там, потише! — сказал полицейский с недовольным лицом. —

Здесь полиция.

— Ска-апление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте-давайте, отходите, — озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, ты что, сдурел? — сказал он. — Этот тип угнал грузовик.

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. — Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох, — сказал второй полицейский. — Давай отойдем, ну их к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура, — сказал он, жуя. — Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близко, — сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смотришь? Близко ведь!

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. — Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его, — буркнул солдатик.

— Какая жалость, — сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй... — Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор, тоже встревоженно.

— Почему нельзя, — сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожась все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор. — Стрелять не будете?

— Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него выжидательно. Виктор не сдвинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сообщил:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция, — сказал он мокрецу.

— Ничего, садитесь, — сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлей». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом. — И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно, — сказал, наконец, полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста, — согласился мокрец. — Но, если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело. — Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж двинулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция да потеряла случай содрать с человека штраф... А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере, душу отвел... Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодующе хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться — та она или не та... Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, — глядишь, и оттаял бы человек.

— Надо же какой дождь хлещет, — сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был, — продолжал Виктор. Тут его осенило. — И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как

подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хотя и пишут в газетах: добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали, — и кто при таких условиях будет лезть из шкуры вон... Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется, и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут мокреца с Виктором пригласили к начальству.

Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу, — вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицмейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом, — сказал полицмейстер. — Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил мокрец. — Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно, — сказал полицмейстер. — Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как должностное лицо, я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены. — Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно.

— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил полицмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева.

— Господин Банев, — сказал мокрец, — если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему. До свидания, — сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего, — ответствовал тот.

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди, — сказал Виктор, привалившись к стойке. — Как дела? — Тут он вспомнил. — А! Счет... Сильно я вчера?

— Счет — ладно, — проворчал Тэдди. — Не так уж и много — разбил зеркало да рукомойник своротил. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Так я и знал, что ты не упомнишь. Глаза у тебя были, брат, что у вареного порося. Ничего не соображал... Так вот ты, — он уставил Виктору в грудь указательный палец, — запер его, беднягу, в сортирной кабине, припер дверцу метлой и не выпускал. Ни в какую. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, что это Квадрига там. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал потрясенный Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришили бы тебе дело, вот что, — сказал Тэдди. — Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягчающих обстоятельствах. А может, и того похуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоем месте... — Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил, — сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где... — Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представился ему теперь в совсем новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай что велят, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убраться тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Хотя, честно говоря, задумано и выполнено неплохо... Он по-прежнему не помнил ничего, кроме кафельного пола, сплошь залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, порося ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибанный, любимец господина президента... да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться... Роц-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим, так что, и продаваясь даже, ты наносишь ущерб идеологическому противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным... Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку... Одного не понимаю, — продолжал он, наблюдая, как Виктор отсчитывает деньги. — Чем это ты зеркало умудрился раскокать? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги. — Напишешь статеечку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь — вот все и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р. Квадрига; прямой и подтянутый, несмотря на свой насморк, Павор; расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги, — сказал Виктор. — Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались, — сказал Павор с упреком. — Говорил я вам: бросьте

пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига. — Убил, наконец, кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Этот алкоголик, — сказал Виктор, обращаясь к Голему, — напился, как зюзя, загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р. Квадрига. — Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем. — Шить?

— Ну да, шить, — сказал Р. Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю. — Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов — словом, скучища... Обойдется, — ободряюще сказал он Виктору. — Подумаешь... А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем, — предложил Виктор.

— Так о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно. — Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь, — сказал Р. Квадрига. — Конь. Дер пферд. Или дас.

— А все-таки, — сказал Виктор, — знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии, — сказал доктор Р. Квадрига, — нашей дивизией командовало его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— Арш по-немецки — задница, — сообщил молчавший до сих пор Голем. — Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера, — ответил Виктор.

— Ну и что?

— И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс, — заявил Р. Квадрига. —

Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах, — ответил Р. Квадрига.

— Давайте выпьем, — предложил Виктор. — Официант, бутылку коньяку!

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор, — сказал Виктор. — Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент, — возразил Павор. — Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь, — сказал Р. Квадрига с отчаянием. — И когда успел?..

— Мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина — напивается, ну и бог с ней, а мы просто тихонько выпьем.

— Вот в том-то все и дело, — сказал Павор. — Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае, культурными.

— По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных.

— Возможно, — согласился Павор. — Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну хорошо, Павор, — примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.

— Не желаю серьезного, — объявил Р. Квадрига. — Пьявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте,

расскажите нам про эту вашу пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет, — сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет, — сказал Павор. — Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически: рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас... Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали; мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики... Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятие — демократическое воспитание: эгалитэ, фратернитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать

выводы: спасаться пора.

— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю, — сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем, — легкомысленно сказал Виктор, — нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет, — сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение! — сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения, — продолжал Павор. — Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение: она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи, — сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?..

— Не притворяйтесь дураком, — сказал Павор. — Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В принципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности, — ответил Павор. — Если человек сер, незаметен — значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам понадобился этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче, — сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился. — Вы же сами пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир.

— О да, — сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно, — согласился Виктор. — Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая и мелкая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если начнут уничтожать, то вас уничтожат первого. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор отвратителен. Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому и чем врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?

— Ну хорошо, — сказал наконец Павор. — Поговорили — и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у

штурмбаннфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях, — сказал Голем.

— Это не мое дело, — легко сказал Виктор. — Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы мне это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта, — сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них коротки. То есть у бургомистра коротки и у суда.

— А у Павора?

— А у Павора руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите, — проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу. — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле, даже не защитил меня от Павора?

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось, — сказал Виктор. — Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступиться за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал Голем. — У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача. — Виктор чокнулся с Големом и выпил. — Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать

именно такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет, — сказал Голем. — Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно, — сказал Виктор. — Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина президента?.. Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем. — Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек, — возразил Виктор. — Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши. — Он насупил брови и закурил сигарету. — Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него, — добавил Голем.

— Вот именно. Дрался.

— С фашистами, — сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет, — сказал Голем. — Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает.

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон. — Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем, — сказал Виктор, понизив голос. — Это правда, что вы — коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил Голем.

— Господи, — сказал Виктор. — А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен, — сказал Голем.

— В общем, как хотите, — сказал Виктор. — Мне-то все равно. Но бургомистр... Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд...

— Но мы же ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. — Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Странный генерал, — задумчиво сказал Виктор. — Генерал от лепрозория. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе, — сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например.

Голем взял бутылку, с удовольствием посмотрел ее на свет и разлил коньяк.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще это — только моя гипотеза. Не обращайте внимания.

— Не обращаю, — грустно сказал Виктор. — А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны... — повторил Голем. — Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин президент. Что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще?.. Потом, есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь... И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они

совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем... — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно, меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет, — ответил Голем.

— Так он что, по-вашему, шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем.

— Погодите, — сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока, — вздохнул Голем. — Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... Точнее, портвейн с табаком.

— Ладно, — сказал Виктор. — Значит, генерал Пферд. Ага... — сказал он. — И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш,

иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом. — Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да, — сказал Голем.

— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю, нет, — сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо, — произнес Виктор. — Надо сказать.

— Слушайте, Виктор, — сказал Голем. — Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже пикнуть не успеете.

— Меня испугать нетрудно, — сказал Виктор со вздохом. — Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи, — сказал Голем. — Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?

— Много, — согласился Виктор. — Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... Хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе, — сказал Виктор. — Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы, — важно сказал Виктор. — Я изучаю жизнь.

— Ради бога, — сказал Голем. — Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно, — возразил Виктор. — Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз

могут просто пристрелить.

— Ну, — сказал Виктор, — во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых — мало ли где мне могут дать по черепу. Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте вы, прибор, — сказал он. — Вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался, — сказал Виктор. — Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот, — сказал Голем. — Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен, — возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднэпинг.

— А я помешал?

— Пытались помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор... — медленно сказал Виктор.

— Никаких имен, — напомнил Голем строго.

— Сукин сын, — сказал Виктор. — Ладно, посмотрим... А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами

знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной как с товарищем, подлец, и все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р. Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человечек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и, боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза совсем заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные, спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто

спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я — дерьмо, и никакой не писатель, какой из меня, к черту, писатель, если я не терплю писать, если писать для меня — это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, Господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р. Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание, или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки.

Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо. — Он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый вечер, господин Банев, — сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет, — ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац. — Я его не знаю.

— Банев, — пробормотал Р. Квадрига. — Я тебя прошу... Я не могу

там один. Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой.

— До свидания, Бол-Кунац, — сказал он. — До свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что же Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р. Квадригу.

— Отведите его потом в номер, — сказал он.

— Да, конечно, господин Банев, — ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, и волосами был обсыпан его форменный сюртук, а на лице, на обеих щеках, вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем.

Портье замялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо, — сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят, — нерешительно

предупредил портье.

— Я знаю, — сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев, — вежливо сказал он.

— Всякие могут быть, — вздохнул Виктор. — Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать, и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс, две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину, — тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил наконец голос за дверью.

— Сосед, — ответил Виктор. — Откройте на минутку.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром, — сказал голос за дверью. — Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал, — сказал Виктор, рассердившись. — Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов, — сказал он.

— Входите, — сказал долговязый. — Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите, — сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принюхался — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет, — сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите, — сказал долговязый.

— Как хотите, — сказал Виктор. — Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага, — сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице, — объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор. — Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну, ладно, — сказал долговязый. — Пойдемте в ванную.

— Знаете, — сказал Виктор, — я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело. — Он сделал движение.

Долговязый даже закряхтел от раздиравших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель, — сказал он. — Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель, — сказал Виктор. — До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер, — сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне, — сказал долговязый. — Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда, — сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать. — Вот кресло, — сказал он. — Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно, — сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но, раз он сюда пришел, надо было говорить. — Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим, — сказал долговязый. — И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый. — Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. — Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим, — повторил он. — А откуда вы, собственно, все это знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно, — произнес он.

— Ваше дело — проверить, — сказал Виктор. — А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите, — сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. — Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что, — ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское, — сказал долговязый. — Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скотч. Получайте. — Он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди, — сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей, — сказал долговязый и тоже выпил. — Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что... — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул.

— Ну? — сказал он. — Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламента... Ювента...

— Фламин Ювента, — подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так, — произнес долговязый. — Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу, — сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?

— Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

7. ФЕЛИКС СОРОКИН «ИЗПИТАЛ»

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в «Жемчужнице». Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнехонько напротив районного Дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот «Миллионный», разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими, по замыслу архитектора, изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом — приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда есть пиво, можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке, а вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать — когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подоспел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. И курили. Натощак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих «Современных сказках».

Господи, эта книжка воистину — как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель, и если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на «Современные сказки», болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца; как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслюненный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, занося над головою голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) «Где автор увидел таких героев?» — спрашивали они кого-то. «Чему может научить нашего читателя такая литература?» — вопрошали они друг друга. «И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина...»

А потом грянул обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в «Добровольном информаторе», и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще «Марсианских хроник» и даже не слыхал, что такая книга существует. Я писал свои «Сказки», представления не имея, что у меня получаются «Марсианские хроники» навыворот: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было — попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды, со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, по-моему, ей-богу забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается, — одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще кружку пива и

принялся есть.

— Вы разрешите? — произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным вьющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне — видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: «Мне то же самое, если можно...» Я доел мясо, взялся за кружку и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

— Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам.

— Ко мне?

— Понимаете ли, да. Именно к вам.

— Так, — сказал я. — А кто посоветовал?

— Да вот... — Он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы. — Странно, только что вон там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высовывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно немыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысой щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него — птичьим двором, этакой неопрятной кислятинкой. Странный он был тип: для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

— Ушел куда-то, — сообщил он виноватым голосом. — Да бог с ним... Понимаете, он мне сказал, что вы способны если и не поверить, то по крайней мере понять.

— Слушаю вас, — сказал я, откровенно вздохнув.

— Собственно... вот! — Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

— Извините, — сказал я решительно, — но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...

— Это не рукопись, — сказал он быстро. — То есть это не то, что вы думаете...

— Все равно, — сказал я.

— Нет, пожалуйста... Это вас заинтересует! — И видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

— Послушайте... — сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую к тому же очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... как бы это выразиться... ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... Одиночество... Никчемность... Бесперспективность... Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну, хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г. Дж. Уэллсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если мелодию эту сыграть, скажем, на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым, разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще, подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука Учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в Парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

— Гонорар, — сказал я. — Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

— Ничего у меня нет, — тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

— Ноты заберите! — крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: «пр. Грановского 19, «Жемчужница», клетч. пальто».

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе: уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбою. Поэтому, едва прочитав про клетч. пальто, я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру — сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из моего поля зрения.

Я опустился на стул и припал к кружке.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут

же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль: «Что я скажу Федору моему Михеичу?»

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью «Писатели — сюда» и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись «Не входить!». Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись «Входите». По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде его у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал: «Это надо же, жив! Опять жив!»

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа — с машинной скоростью тасуются некие карточки, на которые занесено все: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что все это — мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то все это делается совсем не так, да и времена уже не те, старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе,

он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, — гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время. И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный — наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде.

Впервые в моей жизни он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны, любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось загородиться от него руками и заверещать: «Разговаривает!..»

Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до меня вдруг дошло (словно холодной водой окатило), что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, черных эпиграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два! Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, — добродушно бранясь, вылавливает из солянки маслину. А тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади...

И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос: как относиться к ним? Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам являются преступниками; хуже того — палачами; хуже того — предателями! Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза. По слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам, не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде, но я не знаю ни одного такого инцидента, чтобы не лежало в его основе что-нибудь вовсе не романтическое — выхваченная из-под носа путевка, адюльтерчик банальнейший, закрытая, но ставшая открытою недоброжелательная рецензия.

Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью, — наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов. И мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честны и горячи, нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были стары, и дряблые их, отечные щеки были

изборождены морщинами, и недостойно было топтать поверженных; нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеймлены, они уже на свалке и никогда больше не поднимут головы. В назидание потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится, и разве такие назидания нужны потомству? И вообще казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться...

Но прошел год и прошел другой, и как-то неуловимо все переменилось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало, они, добродушно бранясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая, по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утвержденными. В пучине истории пошли исчезать черные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а что несвоевременно.

И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях, и диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу имяреку. Ах, он в таком-то году обрек на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старичья обвиняет в такого рода грешках другую половину, и скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше?

Не суди и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять. А паче всего — не плюй в колодец и не мочись против ветра.

Потому что страшно. И всегда было страшно. С самого начала.

Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной все. Написать. Намекнуть. Выразить недоумение. Или уверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет — и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово — и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации — и тварь

откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов — то ли у Ефремова, то ли у Беляева, — описан чудовищный зверь гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие — на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов.

— Господи, да что это с тобой? — воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. Да что же это они с ним сделали? — с ужасом подумал я.

Впрочем, тут же выяснилось, что ОНИ ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Троих увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

— ...Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! Повезло, понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

— А это у тебя что? — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня

папку. — А! Так ты и музыкой балуешься? — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую. Мертвый номер. — Он сунул папку обратно мне в руки. — Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. «Не отдам, — говорит. — Эталон». Я ему говорю: «Какой там эталон, писано между делом, случайный заказ». А он отвечает: «Для вас — случайный заказ, а для нас — эталон». Не-ет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза навыкате.

— Как же так? — прошипел он, вполне, впрочем, явственно. — Как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

— Я же лично... — свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. — Лично... Сам!

— Пустяки, — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью. — Ничего такого особенного нету. И раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кирилыч...

— Да вы понимаете ли, что говорите? — спросил его Мефодий Кирилыч с каким-то даже отчаянием. — Или, может, Трубы Страшного Суда протрубили?

— Ни-ни-ни-ни-ни! — возразил Петенька. — Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кирилыч, и маленько отдышимся...

— Лично!.. — проскрипел старик, послушно усаживаясь. — А впоследствии сам читал...

— Вы, Мефодий Кирилыч, строчки читали, а надо было между, — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. — Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ущучила...

— Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись «Входите». Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-

циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидящий за столом, заваленным рулонами и папками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

— Закройте, пожалуйста, дверь плотно, — произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

— Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько значительное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери — опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность, вроде: «А ничего себе живут ученые, лихо устроились!»

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал, и ногу на ногу не стал задирать, а сидел смирно, прилично и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы — то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно

доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив наконец мне изъять из папки манускрипт падшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

— Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадаются в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой груде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мною человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокина он, видимо, читал и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол — на, мол, подавись.

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл наконец позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

— Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ощетинился.

— Это почему же вы так полагаете?

— Ну а как же? — Он постучал ногтем по папке. — Из этого материала, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: «Знать ничего не хочу, сказано было — любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны...» Но ничего подобного говорить я не стал,

а сказал я, поникнув:

— Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

— Не сердитесь, пожалуйста.

— Ну что вы, — произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой. — Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

— Позвольте, — проговорил я, почему-то понизив голос. — Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали — про объективную ценность?

— В самом прямом, — ответил он, перестав улыбаться.

— Да разве же это возможно? Это что же — надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили?

— Почему бы и нет? И Мензуру, и многое другое...

— Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

— Почему бы и нет? — повторил он.

— Да хотя бы потому... Это же, простите, банальность! Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

— Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

— А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я, горячась, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого быть не может!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше. Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации...

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, графинчик, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро возникнет в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

— Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что нисколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель «Изпитала» — «Измерителя писательского таланта»; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аменподесповича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение «Изпитала», никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор»; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из Клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, — предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... словом, о том, как восемь дней в доме творчества в Кукушкине стоял ад кромешный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги,

а еще через день Мефодий Кирилыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

— Значит, и вы знавали Анатолия Ефимовича?

— Разумеется! — ответил он с некоторым даже удивлением. — А почему вы о нем сейчас вспомнили?

— Ну, как же! Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

— А, да, — произнес он, как бы вспомнив. — Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел — под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло...

Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность.

— Что значит — написал? — возразил я. — Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал!

Он усмехнулся невесело.

— Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу и лежала эта его комедия с неуклюжим названием «Изпитал».

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удостаивал в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой этой обидою испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается, давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак, реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, все дело было в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все

остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно хотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

— Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти шкафы и есть «Изпитал»? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На этот раз он даже не улыбнулся.

— Нет, конечно, — проговорил он. — То есть, в каком-то смысле, — да. Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально-лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социо-психологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант — явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических.

— Впрочем, — сказал он, — проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием «Рождение голубки»... Что это за повесть — можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Феликс Александрович.

Он не без труда отцепил от листков намертво приржавевшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этакий мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заныли всякие там клистроны,

кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР.

Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

— Ну, вот и все, — произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

— Обратите внимание вот на эту цифру, — сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. — Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

— Ойло Союзное, — пробормотал я машинально.

— Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

— Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра? — с любопытством спросил я.

— Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают только однозначными. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея, — он снова постучал пальцем по моей четверке, — есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

— Читателей текста... — заметил я с робкой мстительностью.

— Да-да, строгий стилист несомненно найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае «читатель текста» — это термин,

означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка — не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель НКЧТ или просто ЧТ...

— А что такое эн-ка? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

— НК — наивероятнейшее количество.

— Ага... — сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я вопросил с возмущением: — Так какое же отношение это ваше НКЧТ имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста?

— Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

— Да никакое даже не косвенное! — прервал я его, набирая обороты. — Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

— А тиражи?

— Ну, знаете, — сказал я, — уже мне-то вы не рассказывайте. Уж мы-то знаем, от чего, а главное — от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

— Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин — почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста прямой зависимостью.

— Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

— Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст, — он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии, — показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки?

— Но позвольте... Естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... может, автор, если ему покажут...

— Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выцветшей, желто-пятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

— Что мы здесь видим? — спросил он.

Мы здесь видели щемяще-знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под

картинкой стихи: «Как ныне сбирается Вещий Олег...»

— В чем дело? — спросил я с вызовом. — Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

— Безусловно, безусловно, — сказал он. — Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

— Н-ну... — промямлил я, — много должно получиться, наверное... одних школьников сколько... Миллионов десять-двадцать?

— За миллиард, — жестко произнес он. — За миллиард, Феликс Александрович!

— Может, и за миллиард, — сказал я покорно. — Я же говорю — много...

— Итак, — произнес он, — тривиальная рецензия — НКЧТ равно четырем. «Замечательные, превосходные стихи» — НКЧТ превосходит миллиард. А вы говорите — никакой зависимости нет.

— Так ведь... — Я замахал руками и защелкал пальцами. — «Песня-то... о Вещем Олеге»... Она ведь напечатана! И сколько раз! Ее поют даже!

— Поют. — Он покивал. — И будут петь. И будут печатать снова и снова.

— Ну, вот! А рецензия моя...

— А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому и НКЧТ у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и сгинет никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверцу моего сознания: «Открой! Впусти!» Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

— Ну и правильно... — сказал я нерешительно. — И господь с ней. Тоже мне — художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

— Я пошутил, Феликс Александрович, — сказал вдруг он почти виновато. — Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаясь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще — совершенно прав. И еще, в чем была соль шутки. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

— Ну, что же... я пойду, пожалуй?
— Да-да, конечно, большое вам спасибо.
— Папку я возьму?
— Разумеется, прошу вас.
— А может быть, она вам...
— Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.
— Так что мне больше приходить не надо?
Он поднял на меня невеселые глаза.
— Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.
Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами и принялся завязывать тесемки на папке, и тут он сказал:
— Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.
Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запихиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:
— Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...
Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Словно бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.
От Банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскальзываясь, по обледенелым тротуарам, проталкивался через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомцем. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...
С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну, ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?..
Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной

был ребенок, а в другой резиновые камеры для «Москвича»), я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: «Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло».

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне послышалось, конечно. Или оговорка. Главное — что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы сказал даже — нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В Клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до войны, другие погибли во время, а третьи, как он однажды выразился, «избрали часть благую». В сущности он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груду нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трилогии, той самой, удостоенной всех мыслимых лавров, — он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать.

Собственно, кроме меня он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об «Изпитале». А нынешний мой знакомец не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так когда же бы они успели?..

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбежалось шестеро, и порядочно было тут кряхтенья, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных ламентаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, права на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу, но и я треснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве

зимой еще не бывало... бардак... конец света... страшный суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические реминисценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знакомца. «Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли...» А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? «Боже царя храни»? Или «Хорст Вессель»? И по этому поводу тоже ничего у меня не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партитура Труб Страшного Суда.

Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикуреец и неистовый трудяга, с которым мы были на «ты» чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

Из-за обитой дерматином двери гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. Из-за двери грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

— Извини, ради бога, — сказал я, прижимая к груди папку.

— Что случилось? — осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

— Ничего не случилось, — ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. — Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

— Слушай, — произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, да?

— Подожди, у меня дело совсем пустяковое, — сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. — Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда

будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

— Л-ладно... — произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листков. — Слушай, кто писал, откуда взял, а?

— Это я тебе потом расскажу, — сказал я, отступая от двери.

— Да, дорогой, — сейчас же согласился Чачуа. — Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня всего на час работы, потом «Спартак» будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно, и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего — ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется. Есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... И коньячок. Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! И какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко промороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на Банную!..

Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ — чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и с искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик хотя бы и прозы и параллельно издать романчик Унитазова Сортир

Сортирыча про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял и сейчас понять не могу? А, вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!..

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами и луком, и лавровым листом, и коньячок пролился в пузатую рюмку, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не надо больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран.

Я опрокинул рюмку, набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщика, я переключился. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключился. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того, чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пильщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плясунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пильщика. Налил вторую рюмку, отхлебнул и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то

он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели КПД ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам безусловно был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Аганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь ни при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка навеселе, и оставалось мне всего-то навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

«Война и мир». Не сегодня. Полугода еще не прошло.

«Письма Чехова». Не то настроение.

Чуковский. «От Чехова до наших дней». Недавно перечитывал.

Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. «Скучную историю» перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом тысяча девятьсот восемнадцатый, от начала же революции — второй...»

— Нет, — сказал я вслух. — Я сейчас «Театральный роман» почитаю. Ничего на свете нет лучше «Театрального романа», хотите бейте вы меня, а хотите режьте...

И я извлек с полки томик Булгакова и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя,

грешно относиться к книге как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе материального благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Н-ском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со «Старым дураком». Валя ответил, что в «Ежеквартальном надзирателе» после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в «Губернском вестнике» да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть, в Швейцарии, а может быть, и в Швамбрании. Поэтому никто в «Губернском вестнике» мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется «Старый мудрец», а вот сцену совращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Леня. Ах не звонил? Ну так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками Внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций... или хотя бы были деньги, рубликов триста

пятьдесят — в «Планете» продается «Вашингтонская галерея», умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. «Кровавый урожай» там есть, и «Мальтийский сокол», и «Стеклянный ключ»... Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня.

И принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля «тхюйен жонг», на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек «The Novels of Dashiel Hammett». Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на «Мальтийском соколе».

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэйду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, и тут мне стало невмоготу. Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню, вылил в рюмку остатки коньяка и выпил маленькими глоточками, как японцы пьют сакэ.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвигнул меня лукавый рискнуть съехать на финских санях по крутому склону до самого залива. Все съезжали, вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к едрене фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. «Сломали ребрышко-то», — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в Клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивно-восторженном состоянии

духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. «Ты знаешь, трещина у тебя, старик», — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибалльный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. «Боюсь, переломчик у вас», — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне казалось, что поскольку бог любит именно троицу, злоключения ребра моего на этом закончатся. Но, как видно, изба не строится без четырех углов...

Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же — теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегаполиса, солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро! Горько, товарищи. Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан «Ла Паломы», в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто

забыть и про ноты падшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил:

— Слушай... — просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. — Опять «Спартак» пропер! Ну что ты будешь делать, а?

8. БАНЕВ ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно, — сказала Диана. Диван скрипнул. — Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь, — ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. — Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший, — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная, — совсем не та, что ворвалась вчера к нему в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку, — сообщил он. — И даже не на кошку — на кошечку, на кошаточку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись, — сказала она. — Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь, — возразил Виктор.

— Ну нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился, — сказала Диана.

— Ах да! — сказал Виктор. — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но

забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор. — Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди, — сказал Виктор. — Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог, и все тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь, — пробормотал Виктор. — Ты вот ему про писсуары излагала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время... — Он остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались. — Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня, — ответила Диана.

— Вечером?

— Угу, — сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера, — сказал Виктор. — Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно, — сказала она. — А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатему?

— Подожди, — сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! — в три ручья, с детства так не ревела...

— И вдруг все прошло, — сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила.

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! — хрипел Тэдди. — Открой!» — и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке

у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли, — тяжело дыша, сказал Тэдди. — Собирайся, дети ушли!

— Постой, — сказал Виктор. — Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он. — Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор, — заныла она. — Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь... — Она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Виктор. — Дайте штаны надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на развороешенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. — Погоди, — сказал Виктор. — Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли, маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные

перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали, и пели, и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, чрево, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужно двигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана

остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирены ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех подряд, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли легковые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался пробраться вглубь, подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала в голос. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его косо навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана вдобавок ко всему сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло боком перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось,

что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, на сколько хватало глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только втягивали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышащейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босяками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Мунитчка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут мы и поднапрем...

— А ты пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!..

— Да-а, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от

нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, сами, никто их не гнал насильно, брось...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!..

— Надо телеграмму господину президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией тебе же и по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

— Ворота отворяй!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны надсадные вопли офицера («...спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с

короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обер-шефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все ведь по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал в отчаянии озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся...» — а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, белый, в красных пятнах, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал,

никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они больше жить так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно это туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня — приходите. В Лошадиной Лощине будет оборудован Дом встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду, — продолжил Голос. — От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется, но потом... смотрите сами... А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. И не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?.. Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня... мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка? Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну, что же вы стоите? — сказал громовой Голос. — Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же, — сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли словно бы небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду... Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь сейчас боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» — и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубахах все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, вокруг Виктора, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» — и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился — должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она по крайней мере сказала, — а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана,

потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, прогнали, как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще уж ничего у них не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь... Да, конечно, инстинкт, и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте, как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже — преступление... Ну, а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, — эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было того-то и того-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за «то-то» и что это за «так-то», и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я», — и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубин пещер, до волосатых копьеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то... им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и

они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

...И черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание, без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум, думайте, учитесь, анализируйте, — а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только же визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... Как Ирма смотрела на того мокреца!.. Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... И, уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

...Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником, — а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определю, я слишком мало знаю о них, а из того, что знаю, из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер,

продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны — за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пферд (не терплю генералов), а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянутом белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. — Он будет с нами обедать.

— Кто таков? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж, — сказала Диана. — Мой бывший муж.

— Ага, — произнес Виктор. — Ага. Что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно? Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев, — представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы, — сказал муж. — Я Зурзмансор.

— Ах, да! — воскликнул Виктор. — Ну, конечно! У меня, должен вам сказать, память... — Он замолчал. — Погодите, — сказал он. — Какой Зурзмансор?

— Павел Зурзмансор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте

сядем.

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его «очки»? У Зурзмансора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным, — не было у Зурзмансора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно. Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет, — сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться.

— Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор. — Философ...

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся что ответить и решил подождать с беседой. В конце концов, не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и простодушно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней. Он вспомнил, как они танцевали, — шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О, черт, какие

слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции?»

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмансор.

Виктор угрюмо посмотрел на него. Нет, это была не насмешка. И не светский вопрос, чтобы завязать беседу. Этому мокрецу, кажется, действительно было любопытно узнать, как продвигается работа над статьей.

— Никак, — сказал Виктор.

— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзмансор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет.

— Видите ли, — сказал Зурзмансор, — статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщающее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти

разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется, — возразил Зурзмансор. — Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза, — я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатаешь?

— Диана, — сказал он. — А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город, — сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да, — сказал Виктор. — Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан, — попросил Виктор.

— Я не буду, — сказал Зурзмансор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду, — сказала Диана.

— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно, — сказал Зурзмансор. — Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков, лечебный корпус...

— Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?

— Людей, — сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно сказал Виктор. Изыди, нечистый дух!.. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзмансор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться... Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем. — Он помолчал. — Пишите о чем хотите и как хотите, Банев, не обращайте внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно, — сказал он. — Опять меня покупают.

— Если угодно, — сказал Зурзмансор. — Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который

весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия, — сказал Виктор. — Карт-бланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурзмансор, а вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно, — сказал Зурзмансор. — И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете. — Он снова помолчал. — Вы не правы, Банев, — сказал он. — Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин президент воображает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование, и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзмансор. — Желаю успешной работы.

— До свидания, — сказал Виктор.

Зурзмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана — Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана, Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь, — пробормотал Виктор. — Интеллектуалы... Новые калифы на час.

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Старался... — Он снова помрачнел. — Соседи заедаются, — сообщил он. — А я что? Я и не знал ничего...

— Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, снова приободрившись. — Так, может, еще породнимся?

— А что же, — сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слыхали? — спросил швейцар.

— Нет, — сказал Виктор, насторожившись. — А что?

— А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт, — сказал Виктор.

— Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все, в общем, ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку.

Сама же она нынче собирается в Дом встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день, — сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал он мрачно. — Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор, — сказал Павор. — Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал Павор, — весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман, — сказал Виктор. — Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор, — произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу, — объяснил Виктор. — А если уж бьет — бывают обстоятельства, — то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем, — сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман, — сказал Виктор, облизывая ложку. — Я всегда

недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну, понятно — здоровенный мужик, и каратэ, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас... Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете, — сказал Павор. — Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог тогда пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиняться за то, что я — работник известного вам департамента, — продолжал Павор, — я не могу, да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох, — и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно у меня было верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы этого не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или

Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное, — и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы когда-то были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений: начальство приказало — вот он и работает, за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтоб вы выбрали правильную сторону... — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов... — Он опять оскалился. — А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: «Сядьте», а

Павору сказали: «Встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу и, пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или по крайней мере выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице, а Виктор думал, что будет, если дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку» — и удалился в спальню направо. Виктор присел на стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутыль скотча, стакан, и

лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина президента я имею вручить вам медаль «Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчиганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона, вы же там, в кругах... — Он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах... — сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и сунул ему представление на вас. — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят, была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю... Что там у вас с ним получилось?

— Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорили.

— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— Ком си, ком са.

— Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое...

— Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. — Вы знаете, я пойду, — сказал он, поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно, — сказал он.

— До свидания.

— Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу, — сказал Виктор. — Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденоносными объятьями, и Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стеная от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запеленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притопывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это

так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка... вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь? — сказал он. — Павора арестовали.

— Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка... молодка... лагерь — не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,
С водки — похмелье, а с девок — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...

Сыт я по горло, сыт я по глотку,
О-о-ох, надоело пить и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...[1]

— Все! — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со

спускового крючка...

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, — а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона и абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом: Легион победно двигался вперед без меня, господин президент неумолимо становился господином президентом — и опять же без меня. Все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же, кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Да ни хрена подобного!.. А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин президент — лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает. — Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без, — сказал Голем. — Но это не важно, продолжайте.

Виктор развел руки.

— Все, — сказал он виновато. — Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте, — согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом

«Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом про правду и ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом. — А то ведь мы даже давить не умеем как следует. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне врали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм, — произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зузр... с Зу... с Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров?

— Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о мокрецах?

— Валяйте, — согласился Виктор. — Только больше не врите.

— Очковая болезнь, — сказал Голем, — это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал. — Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал, — возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы, — сказал он. — Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор. — Я занят!

— Простите, господин Банев, — сказал робкий голос портье. — Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет, — сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени...

— Я занят! — рявкнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака, — сказал Виктор. — Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань, — сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья, — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем, — сказал он. — Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно, — сказал Голем, — дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир, — сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда!.. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой... — проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще — очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну, расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах... иногда — гнойные язвы...

— Слушайте, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути.

— Для сути — нет, — сказал Голем. — Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка повысив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина, — сказал Виктор.

— А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

— Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор.

— Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья, — сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. — За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы, — сказал Виктор.

— Ну нет, — возразил Голем. — Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю, — сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем, — сказал он. — Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор, — спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется, — благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как Господь Бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас. Ну, расскажите еще что-нибудь...

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, облаков не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем...

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... Ага, собственно, мне хочется пить. «Диана!» — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы я раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?.. А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, но его замутило, и он опять лег на спину. Давно я так не надирался, однако... Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? Он скривился

и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то сосал. Или это было вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать бы надо, попить, то-сё... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть всего лишь несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе этого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще-то что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин в

общем-то — так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллейку для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открутил кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности — куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все стало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера, и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками, некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же

самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что он уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать.

Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть: секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он — умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу Галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и, когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты всего лишь человек... Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. Ну, вот и все, подумал он, ну вот и все, Виктор Банев, пьяница и хвастун.

Не пить тебе больше и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило, и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла, — сказала она. — Пускают погреться?

— Да, — сказал он, плохо понимая, что говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одежды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана. — Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди, — сказал он. — Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но теперь это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то

говорила, но он не слышал.

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так волноваться.

— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем, — сказал Виктор с отчаянием, — вы не понимаете. Я не могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. Ну вот и все, думал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да, — покорно сказал Виктор. — Клубнику.

— Слопали, небось, килограмма два, — сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что

началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: «Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...»

— Волдыри и от клопов бывают, — сказал Голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем усмехнулся.

— Выпейте коньяку, — предложил он. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель, — сказал Голем. — Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный дух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище, — сказал он официанту. — Бутылку джина, лимонный сок, лед и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики, — сказал он Голему и Р. Квадриге. — Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

9. ФЕЛИКС СОРОКИН «...ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ВСЕ ДУЕШЬ В ТРУБУ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?»

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадежности, будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери и тугим сквозняком вынесло из Синей Папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатиэтажной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в Синей Папке, но еще можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. «Катя!» — закричал я, и заплакал в отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело, и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждениям Катьки и лечь на обследование... и сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя Синяя Папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение — чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон — пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разметает мою Синюю Папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ...

И вот когда я вспомнил об НКЧТ (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда словно сама собой проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения!

Так вот что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее Количество Читателей Текста — сюда же все входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и

талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: «Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно...»

Умненькая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапога-скорохода. Цари-короли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном непременном условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее — кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с Синей Папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: «А дела твои, Феликс Александрович, говно. Три читателя у тебя будут, и утрись...»

Я отбросил одеяло и стал нашаривать ногами тапочки.

А ведь и не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать... Зачем? Зачем это мне знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но, с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это означает — коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение Синюю Папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин — Гагашкиным, а читатель — читателем. Все же я, черт возьми, не онанизмом занимаюсь — я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что Синюю Папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я и последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Была всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от

нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду, и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и Синяя Папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую уже стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под нею слово «КОНЕЦ». Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душою: «Все это, государи мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!» — и покачал бы Синюю Папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

«Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос».

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело: когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово «мокрую» и добавил после «черным-черно»: «и в черноте сверкал дождь». Нет, серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения! Только ежедневный рабский, механический, до

изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких коньяков. Никакого трепа. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полузнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: «Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю...», то ты вернешься через двадцать шесть суток домой как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташем... А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдташе!..

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные «Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!..». А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя Синяя Папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть...

Она жила в квартире № 19, занимала там крошечную комнатушку бог знает на каких правах, училась на первом курсе Политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф. Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в сорок третьем) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства — либо на

лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень Ф. Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась неимоверной, тягостное и безрезультатное перещупывание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми остальными грудями и ляжками в мире, и вообще для уместного опорожнения семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзё не знал еще тогда Ф. Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние половозрелые мальчишки привлекают главным образом дам на возрасте, а впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф. Сорокина уникален? Ф. Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он — лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф. Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф. Сорокину было лестно.

Однако тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось — может быть, от страха, может быть, по неопытности. Они только испачкали ей живот и ноги обильной дрянью и разбежались. Катя осталась девицею. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф. Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф. Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру № 19 к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась. И он

увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?), и он либо бросился бы бежать сломя голову, либо свалился бы в обмороке...

Я поднялся, кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурок, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхал, а теплый пахучий воздух.

...Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа, она молча взяла Ф. Сорокина за руку и ввела в свою комнатушку, потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф. Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф. Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, и потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядом в августе сорок первого года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф. Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры № 19. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатушку, и они запирались там и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф. Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была действительно невероятно насыщенной — для Ф.

Сорокина несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры № 19, Ф. Сорокин уже начинал тосковать. Через день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, — а затем снова тоска, нетерпение, радость и страх и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето сорок первого. И ни разу Ф. Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф. Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе сорок второго года) вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф. Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф. Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправление сообщили, что Катя убита при бомбежке.

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я

всегда запрещаю себе вспоминать это? Имя — да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, наверное, что я больше никогда не любил. Было у Ф. Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита, наконец и вовремя.

Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в Клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленым, серебристо-солнечным, туманно-голубым, с лихо мерцающей надписью поперек: «Перебьемся!» И бок мой теперь почти уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намека на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменил постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет,

я начистил «скайдрой» ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-приветственного вопроса «как дела» не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела здесь я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда.

Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм со значком лауреата единственной моей премии и вышел из дому без четверти два — с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украдкой сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: «Да не спеши ты, куда нам спешить?»...

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левою рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий из Гершвина, держащий в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам?

Ну разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеванный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

— Старик! — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. — Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать

выступлений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун, — я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновение, озарение, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков — тонко, чтобы никакая сука, буде она окажется в зале, не могла бы придраться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки «Современных сказок» и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

— А ты у нас рисковый мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовременье, а?

Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как его там... с эликсиром этим чертовым, который я же

сам и выдумал себе на голову... Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же, припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из «Московского плейбоя» дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: «Врежь ты ему по соплям и ничего не боись, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в предынфаркте». Повесть действительно была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный «Московского плейбоя». Нет, поперли его за то, что он «ел хлеб беззакония и пил вино хищения». И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал — не без оснований, впрочем, — что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я неспешно и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице.

И все-таки не обошлось без клетчатого пальто, все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века — красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и

двое милиционеров ввергали в его недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тщилось отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, — ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

Я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделю, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймищу!

— Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. — Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.

Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера «Прапорщика» с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северо-Сибирского издательства, повесть под названием «Стережем небо!».

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них благорасположения снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога,

выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстуке бабочкой и при газете «Морнинг Стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные, — то ли дописы, то ли жописы, по классификации Жоры Наумова.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза — сплошной зрачок без радужки, распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим — на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом, и поминутно элегантными щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с

Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александрычем, совсем уже больным, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и конечно же: «Их сиятельство уехали в Цека...» Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... а Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. «А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врассыпную за кусты и в лес, а сестры со шприцами наготове — за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит, бывало: «Побежали в лес по ягодицы»...» Константин Сергеевич... «Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович...» Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

— А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоною. Комман сава, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу, в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно:

— В библиотеку пошел. Или в партком.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были

у меня к нему вопросы? Да. Были. Конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантасмагорической недели, на протяжении которой тот, коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот — последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет более раскрывать мою Синюю Папку.

Как во сне услышал я брюзгливое барственное блеяние:

— Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу...

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В парткоме Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка там грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и красногубый и вообще румяный сатир и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

— ...и с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

— Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. — И требовательно обратилась к сатиру: — «...в архитектуре и в животноводстве...» Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер «Ежеквартального надзирателя». Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся.

— А! Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом. — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.

— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. — «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Он закрыл журнал, заложивши его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него, и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из

наших пустобрехов не узнал его и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

— Феликс Александрович, — сказал он наконец. — Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь за кого...

— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. — Ведь не станете же вы отрицать...

— Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне. — Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы ОН ни утверждал обратное.

Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя как во сне.

— Однако давайте наконец приступим к вашему делу, — продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. — Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

— Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку.

Я снова кивнул.

— Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрою, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно и впрямь вы заявляете миру некий Новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам, в сущности, не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола — изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив окончательно? Вы следите за ходом моих

рассуждений?

Я кивнул.

— Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого:

— Вы упустили еще третью возможность...

— Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый ко рту:

— Любопытно было бы узнать...

И он рассказал. Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унизительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... любой нормальный человек назвал бы ее первой... для Ойла Союзного она вообще — единственная, и других он не ведает... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, невесть что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну как, в самом деле, я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа «Товарищи офицеры», как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое Синей Папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие 90 тыс., означающие, что Синюю Папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план и выскочила она из печатных

машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

— ...Простите меня, — закончил он с сочувствием в голосе. — Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул. В который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

— Что же касается вашей угрозы сжечь Синюю Папку и забыть о ней, — продолжал Михаил Афанасьевич, — то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле угроза эта кажется мне серьезной, и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение, и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою Синюю Папку любите, вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня — насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

— Поймите меня правильно, Феликс Александрович, — сказал он. — Вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы. Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, — это ваша Синяя

Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой — я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. Словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было.

И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

«...Город смотрел на них пустыми окнами — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, словно он много лет гнил на дне моря и вот наконец его вытащили на поверхность, на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. Мягко подламываясь, истаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало...»

Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это читал и почему это кажется мне таким знакомым. Это был еще не самый конец, не последние строчки, но теперь я видел эту последнюю картинку, и я уже знал свою последнюю строчку, после которой не будет больше ничего, кроме слова «конец» и, может быть, даты.

Весь ресторан Клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

— Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачав черепашьей головкой, пробормотал: «Странно... Когда это он успел?..»

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел, это ему еще предстояло. Просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.

10. БАНЕВ EXODUS

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладывающих Норе вареную морковку, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека

из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакаме», мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпеж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые; дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает сохранившийся со времен Сопротивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор

перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в мокрую ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки нет». Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного

воздержания. Спущусь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожую вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его высокопревосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табели о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор вслух, лампа загорелась снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, да и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым полусветом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса идиота, Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев... — Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— Погоди, не хватайся, — сказал Виктор. — Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось, — сказал он. — Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель.

— Тебе что, — сказал Квадрига, — воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея. — Война?

Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге, — сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай, — бормотал он. — Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем, — сказал шепотом Квадрига и потянул Виктора к выходу. — Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие... — начал он и замолчал.

За конторкой сидел Зурзмансор.

На месте портье сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев, — сказал он, не поднимая головы. — Вот и все, Банев.

Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать, — возразил Виктор. Голос у него сорвался. — Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзмансор поднял желтое лицо.

— Нет, — сказал он. — Мы больше не работаем. Прощайте, Банев. — Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь, — сказал Зурзмансор. — Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Виктор. — Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи.

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить.

— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного, — сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет, — сказал он. — Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер, — сказал Голем. — Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так, — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. — В четыре или в пять у Солнечных ворот. — Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища.

— Может быть, в шесть, — сказал Голем.

— У Солнечных ворот... — повторил Виктор. — Это там, где вилла нашего доктора?

— Вот-вот, — сказал Голем. — Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить, — сказал Виктор.

— Да, — сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо. — Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?

— Мне хочется спать, — небрежно сказал Виктор. — Я две ночи не спал. — Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль. — Ладно, я уйду, — сказал он. — Но что это за пандемониум? У вас здесь съезд?

— Да, — сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да, — сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да, — сказал Голем. — Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно, — сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился. — А Диана? — спросил он.

— Ей ничто не грозит, — сказал Голем. — И мне тоже. Никому из нас ничто не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану, — сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все, — сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели, — сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев, — позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла. — Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что?

У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый, — сказал Квадрига. — А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду, — твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе, — предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в кромешную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он. — Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно

безлюдны. Где-то переговаривались вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут, — бормотал Квадрига. — Все удирают. Одни мы тащимся...» Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода, Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: «Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился: «Ну, что слышно?» — «Темно, так и не так...» — ответил Виктор. «Точно! — с энтузиазмом подхватил голос. — И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать». — «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: «Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось. Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел этот шабаш... Налетели на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил Виктор. «Дерется, — обиженно сообщил Квадрига. — Прямо по печени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный патруль. Предъявите документы». У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за

ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной.

— А ну тихо, — сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо, — сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него пересохло.

— А ну раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все, — сказал Виктор сквозь зубы. — Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке. — А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, да ведь я тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь... — забормотал он. — Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал, и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно, — сказал Виктор. — Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба, — сказал Виктор. — Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено.

Книги валялись вперемежку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы... — неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неописуемое изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже... — проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода, — робко подал голос солдатик. — Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток прямо из горлышка. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: «Боже мой!», а потом пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что таращишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду.

Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень. Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатику. — Засранец ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись. — Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь ты на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фига невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет... — Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихвати.

— Нет, — сказал Квадрига. — Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать, — приказал Виктор. — Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху сделал себе самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче заступил я на пост в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы — и в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сиденье, без фуражки, без плаща, — лупит шофера в шею и орет. «Давай, сукин сын! — орет. — Давай!» Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали, но к

городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился...

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. «Вот же человек, — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...» Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхрапывал намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взревывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии... да что там — против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, сплошь талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один Новый Порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уже известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал... Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга.

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение ни встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мейсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен, и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливому деревенскому недорослю, или аномально трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, не похоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не взывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку — правильно, Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?.. Эх,

добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь...

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно. Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой наползали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной, и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал

злость. Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?.. Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени, и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши — и не глупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпали магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и, когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно проползли вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине, — сама телега со старым продранным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана?

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил

внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли — слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел в небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садитесь, — сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то подавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце, — сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет, — сказала Диана. — Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу, посмотрел вперед на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхала отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Ну что, Голем, грядет новый мир?

— Да, — сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет, — сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет, — повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет. — Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал, — сказал Виктор улыбаясь, — но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь, — сказала вдруг Диана и вылезла из машины. — Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю, — сказала Диана. — У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну, хорошо, — сказал Голем. — Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть, — возразила Диана. — Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно, — подхватил Виктор. — На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети, — сказал Голем. — Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне, — сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим, — сказал Виктор.

— Господи, — сказал Голем, — как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно... — Он словно убеждал самого себя. — Эх, вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время. — Он включил скорость. — Где тетрадь, Диана?.. А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да, — сказала Диана. — Он так и хотел.

— Голем, — сказал Виктор, — а вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу, — строго сказал Голем. — Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту Президента в пустой город, навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце, улыбались друг другу и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город, — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, стаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым,

прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а невдалеке от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда теперь не вело, сидел Тэдди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди, — сказал Виктор. — Остался?

— Ага, — сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их, — сказал Тэдди. — Набились как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет... Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите, — сказал Тэдди. — Я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным серым кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть — пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, повзрослевший, широкоплечий, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна, — Диана Счастливая. И

тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но только вот что — не забыть бы мне вернуться.

ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР

Понять — значит упростить.

Д. Строгов

ВВЕДЕНИЕ

Меня зовут Максим Каммерер. Мне восемьдесят девять лет.

Когда-то давным-давно я прочитал старинную повесть, которая начиналась таким вот манером. Помнится, я подумал тогда, что если придется мне в будущем писать мемуар, то начну я его именно так. Впрочем, предлагаемый текст нельзя, строго говоря, считать мемуаром, а начать его следовало бы с одного письма, которое я получил примерно год назад.

Каммерер,

Вы, разумеется, прочли пресловутые «Пять биографий века». Прошу Вас, помогите мне установить, кто именно скрывается под псевдонимами П. Сорока и Э. Браун. Полагаю, Вам это будет легче, чем мне.

М. Глумова
13 июня 225 года. Новгород

Я не ответил на это письмо, потому что мне не удалось выяснить настоящие имена авторов «Пяти биографий века». Я установил только, что, как и следовало ожидать, П. Сорока и Э. Браун являются видными сотрудниками группы «Людены» Института исследования космической истории (ИИКИ).

Я без труда представлял себе чувства, которые испытывала Майя Тойвовна Глумова, читая биографию своего сына в изложении П. Сороки и Э. Брауна. И я понял, что обязан высказаться.

Я написал этот мемуар.

С точки зрения непредубежденного, а в особенности — молодого читателя, речь в нем пойдет о событиях, которые положили конец целой эпохе в космическом самосознании человечества и, как сначала казалось, открыли совершенно новые перспективы, рассматривавшиеся ранее только теоретически. Я был свидетелем, участником, а в каком-то смысле даже и инициатором этих событий, и поэтому неудивительно, что группа «Людены» на протяжении последних лет бомбардирует меня соответствующими запросами, официальными и неофициальными просьбами споспешествовать и напоминаниями о гражданском долге. Я изначально относился к целям и задачам группы «Людены» с пониманием

и сочувствием, но никогда не скрывал от них своего скептицизма относительно их шансов на успех. Кроме того, мне было совершенно ясно, что материалы и сведения, которыми располагаю лично я, никакой пользы группе «Людены» принести не могут, а потому до сих пор всячески уклонялся от участия в их работе.

Но вот сейчас, по причинам, носящим характер скорее личный, я испытал настоятельную потребность все-таки собрать воедино и предложить вниманию каждого, кто пожелает этим заинтересоваться, все, что мне известно о первых днях Большого Откровения, о событиях, в сущности, явившихся причиной той бури дискуссий, опасений, волнений, несогласий, возмущений, а главное — огромного удивления — всего того, что принято называть Большим Откровением.

Я перечитал последний абзац и вынужден тут же поправить самого себя. Во-первых, я предлагаю, разумеется, далеко не все, что мне известно. Некоторые материалы носят слишком специальный характер, чтобы их здесь излагать. Некоторые имена я не назову по причинам чисто этического порядка. Воздержусь я и от упоминания некоторых специфических методов тогдашней своей деятельности в качестве руководителя отдела Чрезвычайных Происшествий (ЧП) Комиссии по Контролю (КОМКОНа-2).

Во-вторых, события 99 года были, строго говоря, не первыми днями Большого Откровения, а, напротив, последними его днями. Именно поэтому оно (Большое Откровение) осталось ныне лишь предметом чисто исторических исследований. Но именно этого, как мне кажется, не понимают, а вернее — не желают принять сотрудники группы «Людены», несмотря на все мои старания быть убедительным. Впрочем, возможно, я не был достаточно настойчив. Годы уже не те.

Личность Тойво Глумова вызывает, естественно, особый, я бы сказал, специальный интерес сотрудников группы «Людены». Я их понимаю и поэтому сделал эту фигуру центральной в своем мемуаре.

Конечно, не только поэтому и не столько поэтому. По какому бы поводу я ни вспоминал о тех днях и что бы я о тех днях ни вспомнил, в памяти моей тотчас встает Тойво Глумов — я вижу его худощавое, всегда серьезное молодое лицо, вечно приспущенные над серыми прозрачными глазами белые его, длинные ресницы, слышу его как бы нарочито медлительную речь, вновь ощущаю исходящий от него безмолвный, беспомощный, но неумолимый напор, словно беззвучный крик: «Ну что же ты? Почему бездействуешь? Приказывай!» И наоборот, стоит мне вспомнить его по какому-либо поводу, и тотчас же, словно их разбудили грубым пинком, просыпаются «злобные псы воспоминаний» — весь ужас

тех дней, все отчаяние тех дней, все бессилие тех дней — ужас, отчаяние, бессилие, которые испытывал я тогда один, потому что мне не с кем было ими поделиться.

Основу предлагаемого мемуара составляют документы. Как правило, это стандартные рапорты-доклады моих инспекторов, а также кое-какая официальная переписка, которую я привожу для того, главным образом, чтобы попытаться воспроизвести атмосферу того времени. Вообще-то придирчивый и компетентный исследователь без труда заметит, что целый ряд документов, имеющих отношение к делу, в мемуар не включен, в то время как без некоторых включенных документов можно было бы, казалось, и обойтись. Отвечая на такой упрек заранее, замечу, что материалы подбирались мною в соответствии с определенными принципами, в суть которых вдаваться у меня нет ни желания, ни особой необходимости.

Далее, значительную часть текста составляют главы-реконструкции. Эти главы написаны мною, лично, и на самом деле представляют собой реконструкцию сцен и событий, свидетелем которых я не был. Реконструирование производилось на основании рассказов, фонозаписей и позднейших воспоминаний людей, в этих сценах и событиях участвовавших, как-то: Ася, жена Тойво Глумова, его коллеги, его знакомые и т. д. Я сознаю, что ценность этих глав для сотрудников группы «Людены» невелика, но — что делать! — она велика для меня.

Наконец, я позволил себе слегка разбавить текст мемуара собственными реминисценциями, несущими информацию не столько о тогдашних событиях, сколько о тогдашнем Максиме Каммерере пятидесяти восьми лет. Поведение этого человека в изображенных обстоятельствах даже мне представляется сейчас, спустя тридцать один год, не лишенным интереса...

Принявши окончательное решение писать этот мемуар, я оказался перед вопросом: с чего мне начать? Когда и что положило начало Большому Откровению?

Строго говоря, все это началось два века назад, когда в недрах Марса был вдруг обнаружен пустой тоннельный город из янтарина: тогда впервые было произнесено слово «Странники». Это верно. Но слишком общо. С тем же успехом можно было бы сказать, что Большое Откровение началось в момент Большого Взрыва.

Тогда, может быть, пятьдесят лет назад? Дело «подкидышей»? Когда впервые проблема Странников приобрела трагический привкус, когда родился и пошел гулять из уст в уста ядовитый термин-упрек «синдром

Сикорски»? Комплекс неуправляемого страха перед возможным вторжением Странников? Тоже верно. И гораздо ближе к делу... Но я тогда еще не был начальником отдела ЧП, да и самого отдела ЧП тогда еще не существовало. Да и пишу я не историю проблемы Странников.

А началось это для меня в мае 93-го, когда я, как и все начальники отделов ЧП всех секторов КОМКОНа-2, получил информат о происшествии на Тиссе (не на реке Тисе, что мирно протекает по Венгрии и Закарпатью, а на планете Тиссе у звезды ЕН 63061, незадолго до того обнаруженной ребятами из ГСП). Информат трактовал происшествие как случай внезапного и необъяснимого помешательства всех трех членов исследовательской партии, высадившейся на плато (забыл название) за две недели до того. Всем троим вдруг почудилось, будто связь с центральной базой утрачена и вообще утрачена связь с кем бы то ни было, кроме орбитального корабля-матки, а с корабля-матки автомат ведет непрерывно повторяющееся сообщение о том, что Земля погибла в результате некоего космического катаклизма, а все население Периферии вымерло от каких-то необъяснимых эпидемий.

Я уже не помню всех деталей. Двое из партии, кажется, пытались убить себя и в конце концов ушли в пустыню — в отчаянии от безнадежности и абсолютной бесперспективности дальнейшего существования. Командир же партии оказался человеком твердым. Он стиснул зубы и заставил себя жить — как если бы не погибло Человечество, а просто сам он попал в аварию и отрезан навсегда от родной планеты. Впоследствии он рассказал, что на четырнадцатый день этого его безумного бытия к нему явился некто в белом и объявил, что он, командир, с честью прошел первый тур испытаний и принят кандидатом в сообщество Странников. На пятнадцатый день с корабля-матки прибыл аварийный бот, и атмосфера разрядилась. Ушедших в пустыню благополучно нашли, все остались в здравом уме, никто не пострадал. Их свидетельства совпадали даже в мелочах. Например, они совершенно одинаково воспроизводили акцент автомата, якобы передававшего роковое сообщение. Субъективно же они воспринимали происшедшее как некую яркую, необычайно достоверную театральную постановку, участниками которой они неожиданно и помимо своей воли оказались. Глубокое ментоскопирование подтвердило это их субъективное ощущение и даже показало, что в самой глубине подсознания никто из них не сомневался, что все это лишь театральное действо.

Насколько я знаю, мои коллеги в других секторах восприняли этот информат как довольно рядовое ЧП, необъясненное Чрезвычайное

Происшествие, какие происходят на Периферии сплошь да рядом. Все живы и здоровы. Дальнейшая работа в районе ЧП необязательна, она и изначально не была обязательной. Желающих раскручивать загадку нет. Район ЧП эвакуирован. ЧП принято к сведению. В архив.

Но я-то был выучеником покойного Сикорски! Пока он был жив, я часто спорил с ним — и мысленно, и в открытую, — когда речь заходила об угрозе человечеству извне. Но один его тезис мне было трудно оспаривать, да и не хотел я его оспаривать: «Мы — работники КОМКОНа-2. Нам разрешается слыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одно не разрешается: недооценить опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах». И едва я услышал, что некто в белом вещает от имени Странников, я ощутил запах серы и встрепенулся, как старый боевой конь при звуках трубы.

Я сделал соответствующие запросы по соответствующим каналам. Без особого удивления я обнаружил, что в лексиконе инструкций, распоряжений и перспективных планов нашего КОМКОНа-2 слово «Странник» вообще отсутствует. Я побывал на приемах в самых высших инстанциях наших и уже вовсе без всякого удивления убедился, что в глазах наиболее ответственных наших руководителей проблема прогрессорской деятельности Странников в системе человечества как бы снята, пережита, как детская болезнь. Трагедия Льва Абалкина и Рудольфа Сикорски каким-то необъяснимым образом словно бы навсегда очистила Странников от подозрений.

Единственным человеком, у которого моя тревога вызвала некий проблеск сочувствия, оказался Атос-Сидоров, президент моего сектора и мой непосредственный начальник. Он своей властью утвердил и своей подписью скрепил предложенную мной тему «Визит старой дамы». Он разрешил мне организовать специальную группу для разработки этой темы. Собственно говоря, он дал мне карт-бланш в этом вопросе.

И начал я с того, что организовал экспертный опрос ряда наиболее компетентных специалистов по ксеносоциологии. Я задался целью создать модель (наиболее вероятную) прогрессорской деятельности Странников в системе земного человечества. Чтобы не вдаваться в подробности: все собранные материалы я послал известному историку науки и эрудиту Айзеку Бромбергу. Сейчас даже и не помню, зачем я это сделал, ведь к тому моменту Бромберг уже много лет не занимался ксенологией. Должно быть, дело в том, что большинство специалистов, к которым я обращался с этими

своими вопросами, просто отказывались разговаривать со мной серьезно (синдром Сикорски!), а у Бромберга, как всем известно, «всегда была в запасе пара слов», о чем бы ни заходила речь.

Так или иначе, доктор А. Бромберг прислал мне свой ответ, известный ныне специалистам как «Меморандум Бромберга».

С него все и началось.

С него начну и я.

Конец введения

....

ДОКУМЕНТ 1

В КОМКОН-2
Сектор «Урал — Север»
Максиму Каммереру
лично, служебное

Дата: 3 июня 94 года.

Автор: А. Бромберг, старший консультант КОМКОНа-1, доктор исторических наук, лауреат Геродотовской премии (63, 69 и 72 годов), профессор, лауреат Малой премии Яна Амоса Коменского (57 год), доктор ксенопсихологии, доктор социотопологии, действительный член Академии Социологии (Европа), член-корреспондент Лабораториума (Академии Наук) Великой Тагоры, магистр реализаций абстракций Парсиваля.

Тема 009: «Визит старой дамы».

Содержание: рабочая модель прогрессорской деятельности Странников в системе человечества Земли.

Дорогой Каммерер!

Прошу Вас, не сочтите некоей старческой издевкой ту казенную «шапку», которой я снабдил это свое послание. Таким образом я просто намеревался подчеркнуть, что послание мое, хотя и вполне личное, носит в то же время совершенно официальный характер. «Шапка» же ваших рапортов-докладов запомнилась мне еще с тех времен, когда их швырял передо мною на стол в качестве аргументов (довольно жалких) наш несчастный Сикорски.

Мое отношение к Вашей организации нисколько не переменилось, я его никогда не скрывал, и оно Вам, безусловно, хорошо известно. Однако же материалы, которые Вы любезно мне переслали, я изучил с большим интересом. Благодарю Вас. Хотелось бы заверить Вас, что в этом направлении своей работы (но только в этом!) Вы найдете в моем лице самого горячего сторонника и сотрудника.

Не знаю, случайное ли это совпадение, но Вашу «Сводку моделей» я получил как раз в тот момент, когда и сам готовился приступить к подведению итогов моих многолетних размышлений о природе Странников и о неизбежности их столкновения с цивилизацией Земли. Впрочем, по

моему глубокому убеждению, случайностей не бывает. Вопрос этот, видимо, созрел.

Я не имею ни времени, ни желания останавливаться на подробной критике Вашего документа. Не могу не заметить только, что модели «Спрут» и «Конкистадор» вызвали у меня приступ неудержимого хохота своей анекдотической примитивностью, а модель «Новый воздух» хотя и производит впечатление конструкции не вполне тривиальной, начисто лишена сколько-нибудь серьезной аргументации. Восемь моделей! Восемнадцать разработчиков, среди которых блистают такие звезды, как Карибанов, Ясуда, Микич! Черт подери, можно было ожидать чего-нибудь позначительнее! Как хотите, Каммерер, а совершенно естественным образом возникает предположение, что Вам не удалось внушить этим гроссмейстерам свою «тревогу по поводу нашей общей неподготовленности в этом вопросе». Они просто отписались.

Настоящим я повергаю к пьедесталу Вашего внимания краткую аннотацию моей будущей книги, которую намереваюсь назвать «Монокосм: вершина или первый шаг? Заметки об эволюции эволюции». Опять же я не располагаю ни временем, ни желанием снабжать основные свои положения сколько-нибудь подробной аргументацией. Могу заверить Вас только, что каждое из этих положений может быть уже сегодня аргументировано самым исчерпывающим образом, так что, если у Вас возникнут ко мне какие-то вопросы, буду рад Вам ответить. (Кстати, не могу удержаться и не заметить, что Ваше обращение за консультацией ко мне было, может быть, первым и единственным пока общественно полезным актом Вашей организации за все время ее существования.)

Итак: МОНОКОСМ.

Любой Разум — технологический ли, или руссоистский, или даже геронический — в процессе эволюции первого порядка проходит путь от состояния максимального разъединения (дикость, взаимная озлобленность, убогость эмоций, недоверие) к состоянию максимально возможного при сохранении индивидуальностей объединения (дружелюбие, высокая культура отношений, альтруизм, пренебрежение достижимым). Этот процесс управляется законами биологическими, биосоциальными и специфически социальными. Он хорошо изучен и представляет здесь для нас интерес лишь постольку, поскольку приводит к вопросу: а что дальше? Оставив в стороне романтические трели теории вертикального прогресса, мы обнаруживаем для Разума лишь две реальные, принципиально различающиеся возможности. Либо остановка, самоуспокоение, замыкание на себя, потеря интереса к физическому миру. Либо вступление на путь

эволюции второго порядка, на путь эволюции планируемой и управляемой, на путь к Монокосму.

Синтез Разумов неизбежен. Он дарует неисчислимое количество новых граней восприятия мира, а это ведет к неимоверному увеличению количества и, главное, качества доступной к поглощению информации, что, в свою очередь, приводит к уменьшению страданий до минимума и к увеличению радости до максимума. Понятие «дом» расширяется до масштабов Вселенной. (Наверное, именно поэтому возникло в обиходе это безответственное и поверхностное понятие — Странники.) Возникает новый метаболизм, и, как следствие его, жизнь и здоровье становятся практически вечными. Возраст индивида становится сравнимым с возрастом космических объектов — при полном отсутствии накопления психической усталости. Индивид Монокосма не нуждается в творцах. Он сам себе и творец, и потребитель культуры. По капле воды он способен не только воссоздать образ океана, но и весь мир населяющих его существ, в том числе и разумных. И все это при беспрерывном, неутолимом сенсорном голоде.

Каждый новый индивид возникает как произведение синкретического искусства: его творят и физиологи, и генетики, и инженеры, и психологи, эстетики, педагоги и философы Монокосма. Процесс этот занимает, безусловно, несколько десятков земных лет и, конечно же, является увлекательнейшим и почетнейшим родом занятий Странников. Современное человечество не знает аналогов такого рода искусства, если не считать, может быть, столь редких в истории случаев Великой Любви.

«СОЗИДАЙ, НЕ РАЗРУШАЯ!» — вот лозунг Монокосма.

Монокосм не может не считать свой путь развития и свой модус вивенди единственно верным. Боль и отчаяние вызывают у него картины разобщенных Разумов, не дозревших до приобщения к нему. Он вынужден ждать, пока Разум в рамках эволюции первого порядка разовьется до состояния всепланетного социума. Ибо только после этого можно начинать вмешательство в биоструктуру с целью подготовки носителя Разума к переходу в монокосмический организм Странника. Ибо вмешательство Странников в судьбы разъединенных цивилизаций ничего путного дать не может.

Многозначительная ситуация: Прогрессоры Земли стремятся в конечном счете ускорить исторический процесс создания более совершенных социальных структур у бедствующих цивилизаций. Таким образом они как бы подготавливают новые резервы материала для будущей работы Монокосма.

Мы знаем сейчас три цивилизации, полагающие себя благополучными.

Леонидяне. Цивилизация чрезвычайно древняя (возраст не менее трехсот тысяч лет, что бы там ни утверждал покойный Пак Хин). Это образец «медленной» цивилизации, они застыли в единении с природой.

Тагоряне. Цивилизация гипертрофированной предусмотрительности. Три четверти всех мощностей направлено у них на изучение вредных последствий, каковые могут проистечь из открытия, изобретения, нового технологического процесса и так далее. Эта цивилизация кажется нам странной только потому, что мы не способны понять, насколько это интересно — предотвращать вредные последствия, какую массу интеллектуального и эмоционального наслаждения это дает. Тормозить прогресс так же увлекательно, как и творить его, — все зависит от исходной установки и от воспитания. В результате транспорт у них только общественный, авиации никакой, зато прекрасно развита проводная связь.

Третья цивилизация — наша, и мы теперь понимаем, почему Странники должны вмешаться прежде всего и именно в нашу жизнь. Мы ДВИЖЕМСЯ. Мы движемся, а следовательно, мы можем ошибиться в выборе направления движения.

Сейчас уже никто не помнит «подмикитчиков», которые с фанатическим энтузиазмом пытались форсировать прогресс тагорян и леонидян. Сейчас уже все поняли, что расталкивать под микитки такие в своем роде совершенные цивилизации — занятие столь же бессмысленное и бесперспективное, как пытаться ускорить рост дерева, скажем, дуба, таща его вверх за ветки. Странники — не «подмикитчики», у них нет и не может быть такой задачи: форсирование прогресса. Их цель — поиск, выделение, подготовка к приобщению и, наконец, приобщение к Монокосму созревших для этого индивидов. Я не знаю, по какому принципу производят Странники этот отбор, и это очень жаль, потому что, хотим мы этого или не хотим, но если говорить прямо, без околичностей и без наукообразной терминологии, то речь идет вот о чем.

Первое: вступление человечества на путь эволюции второго порядка означает практически превращение хомо сапиенса в Странника.

Второе: скорее всего, далеко не каждый хомо сапиенс пригоден для такого превращения.

Резюме:

— человечество будет разделено на две неравные части;

— человечество будет разделено на две неравные части по не известному нам параметру;

— человечество будет разделено на две неравные части по не

известному нам параметру, причем меньшая часть форсированно и навсегда обгонит большую;

— человечество будет разделено на две неравные части по не известному нам параметру, меньшая часть его форсированно и навсегда обгонит большую, и свершится это волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой.

Дорогой Каммерер! В качестве социопсихологического упражнения предлагаю Вам для анализа эту не лишенную новизны ситуацию.

Теперь, когда основы прогрессорской стратегии Монокосма стали Вам более или менее ясны, Вы, наверное, лучше меня сумеете определить основные направления контрстратегии и тактики выявления моментов деятельности Странников. Понятно, что поиск, выделение и подготовка к приобщению созревших индивидов не могут не сопровождаться явлениями и событиями, доступными внимательному наблюдателю. Можно ожидать, например, возникновения массовых фобий, новых учений мессианского толка, появления людей с необычными способностями, необъяснимых исчезновений людей, внезапного, как бы по волшебству, появления у людей новых талантов и т. д. Я бы настоятельно рекомендовал Вам также не спускать глаз с тагорян и голованов, аккредитованных на Земле, — их чувствительность к инородному и неизвестному значительно выше нашей. (В этом смысле надлежит следить за поведением и земных животных, особенно стадных и обладающих зачатками интеллекта.)

Разумеется, в сфере Вашего внимания должна быть не только Земля, но и Солнечная система в целом, Периферия, и в первую очередь молодая Периферия.

Желаю успеха, Ваш

А. Бромберг

Конец документа 1

....

ДОКУМЕНТ 2

Президенту сектора
«Урал — Север»

Дата: 13 июня 94 года.
Автор: М. Каммерер, начальник отдела ЧП.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: смерть А. Бромберга.

Президент!

Профессор Айзек Бромберг скоропостижно скончался в санаториуме «Бежин Луг» утром 11 июня с. г.

Никаких заметок по поводу модели «Монокосм» и вообще никаких заметок по поводу Странников в его личном архиве не обнаружено. Поиски продолжаем.

Медицинское заключение о смерти прилагается.

М. Каммерер

Конец документа 2

....

Именно в таком порядке прочитал эти документы мой молодой стажер Тойво Глумов в начале 95-го года, и, разумеется, эти документы не могли не произвести на него вполне определенного впечатления, не могли не настроить его на вполне определенные предположения, тем более что они оправдывали самые мрачные его ожидания. Семя пало на благодатную почву. Немедленно разыскал он медицинское заключение и, не обнаружив в нем ровно ничего такого, что подтвердило бы его подозрения, казавшиеся такими естественными, потребовал разрешения обратиться ко мне.

Я хорошо помню это утро: серое, снежное, с настоящей вьюгой за окнами кабинета. Хорошо помню, может быть, именно из-за контраста, потому что телом я был здесь, на зимнем Урале, и глаза мои бессмысленно следили за струйками талой воды на стеклах, а перед мысленным взором моим стояла тропическая ночь над теплым океаном и обнаженное мертвое тело покачивалось в фосфоресцирующей пене, накатывающейся на

пологий песчаный берег. Я только что получил информацию из Центра о третьем смертном случае на острове Матуку.

В этот момент передо мною возник Тойво Глумов, и я, отогнав видение, пригласил его сесть и говорить.

Без всяких предисловий он спросил меня, считается ли расследование обстоятельств смерти доктора Бромберга законченным.

Я с некоторым удивлением ответил, что никакого расследования, собственно, и не было, равно как не было и никаких особенных обстоятельств смерти полуторавекового старца.

Где же, в таком случае, заметки доктора Бромберга по теме «Монокосм»?

Я объяснил, что таких заметок, скорее всего, никогда не существовало. Письмо доктора Бромберга — это, надо полагать, импровизация. Доктор Бромберг был блестящим импровизатором.

Следует ли понимать тогда, что письмо доктора Бромберга и сообщение о его смерти, посланное Максимом Каммерером Президенту, оказались рядом случайно?

Я смотрел на него, на тонкие губы его, поджатые очень решительно, на его набыченный лоб с упавшей прядью белых волос, и мне было совершенно ясно, ЧТО ему хотелось бы от меня сейчас услышать. «Да, Тойво, мой мальчик, — хотелось бы ему услышать, — и я думаю так же, как ты. Бромберг догадывался о многом, и Странники убрали его, а бесценные бумаги похитили». Но ничего подобного я, конечно, не думал, и ничего подобного я моему мальчику Тойво, конечно, не сказал. Почему документы оказались рядом, я и сам не знал. Скорее всего, действительно случайно. Так я ему и объяснил.

Тогда он спросил меня, пошли ли идеи Бромберга в практическую разработку.

Я ответил, что этот вопрос рассматривается. Все восемь моделей, предложенных экспертами, весьма уязвимы для критики. Что же до идей Бромберга, то обстоятельства не очень-то способствуют серьезному к ним отношению.

Тогда он собрался с духом и спросил меня в лоб, намерен ли я, Максим Каммерер, начальник отдела, заняться разработкой бромберговских идей. И вот тут, наконец, я получил возможность его порадовать. Он услышал от меня именно то, что ему хотелось услышать.

— Да, мой мальчик, — сказал я ему. — Именно для этого я и взял тебя к себе в отдел.

Он ушел осчастливленный. Ни он, ни я не подозревали тогда, конечно,

что именно в эту минуту он сделал свой первый шаг к Большому Откровению.

Я — психолог-практик. Когда я имею дело с каким-нибудь человеком, я, говоря без ложной скромности, в каждый момент очень точно чувствую душевное состояние его, направление его мыслей и очень неплохо предсказываю его поступки. Однако если бы меня попросили объяснить, как это мне удается, а паче того, попросили бы меня нарисовать, изложить словами, что за образ творится в моем сознании, я бы оказался в весьма затруднительном положении. Как всякий психолог-практик, я был бы вынужден прибегнуть к аналогиям из мира искусства или литературы. Сослался бы на героев Шекспира, или Достоевского, или Строгова, или Микеланджело, или Иоганна Сурда.

Так вот, Тойво Глумов напоминал мне мексиканца Риверу. Я имею в виду хрестоматийный рассказ Джека Лондона. Двадцатый век. Или даже девятнадцатый, не помню точно.

По профессии Тойво Глумов был Прогрессором. Специалисты говорили мне, что из него мог бы получиться Прогрессор высочайшего класса, Прогрессор-ас. У него были блестящие данные. Он великолепно владел собой, он обладал исключительным хладнокровием, редкостной быстротой реакции, и он был прирожденным актером и мастером имперсонации. И вот, проработав Прогрессором чуть больше трех лет, он без всяких на то видимых причин подал в отставку и вернулся на Землю. Едва закончив рекондиционирование, он сел на БВИ и без особого труда выяснил, что единственной организацией на нашей планете, могущей иметь отношение к его новым целям, является КОМКОН-2.

Он возник передо мною в декабре 94 года, исполненный ледяной готовности вновь и вновь отвечать на вопросы, почему он, такой многообещающий, абсолютно здоровый, всячески поощряемый, бросает вдруг свою работу, своих наставников, своих товарищей, разрушает тщательно разработанные планы, гасит возлагавшиеся на него надежды... Ничего подобного я, разумеется, спрашивать у него не стал. Меня вообще не интересовало, почему он не хочет более быть Прогрессором. Меня интересовало, почему он вдруг захотел стать контр-Прогрессором, если можно так выразиться.

Ответ его запомнился. Он испытывает неприязнь к самой идее Прогрессорства. Если можно, он не станет углубляться в подробности. Просто он, Прогрессор, относится к Прогрессорству отрицательно. И там (он показал большим пальцем через плечо) ему пришла в голову очень тривиальная мысль: пока он, потрясая гульфиком и размахивая шпагой,

топчется по булыжнику арканарских площадей, здесь (он показал указательным пальцем себе под ноги) какой-нибудь ловкач в модном радужном плащике и с метавизиркой через плечо прохаживается по площадям Свердловска. Насколько он, Тойво Глумов, знает, эта простенькая мысль мало кому приходит в голову, а если и приходит, то в нелепом юмористическом или романтическом обличье. Ему же, Тойво Глумову, эта мысль не дает покоя: никаким богам нельзя позволить вступаться в наши дела, богам нечего делать у нас на Земле, ибо «блага богов — это ветер, он надувает паруса, но и подымает бурю». (Потом я с большим трудом отыскал эту цитату — оказалось, она из Верблибена.)

Невооруженным глазом было видно — передо мною фанатик. К сожалению, как всякий фанатик, склонный к крайностям в суждениях чрезвычайным. (Взять хотя бы его высказывания о Прогрессорстве, о которых еще пойдет речь.) Католик, в католичестве своем далеко превосходящий самого папу римского, то есть меня. Но он готов был действовать. И я без дальнейших разговоров взял его к себе и сразу посадил на тему «Визит старой дамы».

Он оказался прекрасным работником. Он был энергичен, он был инициативен, он не знал усталости. И — очень редкое качество в его возрасте — его не разочаровывали неудачи. Для него не существовало отрицательных результатов. Более того, отрицательные результаты расследований радовали его точно так же, как и редкие положительные. Он словно бы изначально настроился на то, что при жизни его ничего определенного не обнаружится, и умел черпать удовольствие из самой (зачастую достаточно нудной) процедуры анализирования мало-мальски подозрительных ЧП. Замечательно, что мои старые работники — Гриша Серосовин, Сандро Мтбевари, Андрюша Кикин и другие — при нем как бы подтянулись, перестали лоботрясничать, стали гораздо менее ироничны и гораздо более деловиты, и не то чтобы они брали пример с него, об этом не могло быть и речи, он был для них слишком молод, слишком зелен, но он словно заразил их своей серьезностью, сосредоточенностью на деле, а больше всего поражала их, я думаю, та тяжелая ненависть к объекту работы, которая угадывалась в нем и которой сами они были лишены начисто. Как-то случайно я упомянул при Грише Серосовине о смуглом мальчишке Ривере и вскоре обнаружил, что все они отыскали и перечитали этот рассказ Джека Лондона.

Как и у Риверы, у Тойво не было друзей. Его окружали верные и надежные коллеги, и сам он был верным и надежным партнером в любом деле, но друзьями он так и не обзавелся. Полагаю, потому, что слишком

трудно было быть его другом, — он никогда и ни в чем не был доволен собой, а потому никогда и ни в чем не давал спуску окружающим. Была в нем этакая беспощадная сосредоточенность на цели, которую я замечал разве что только у крупных ученых и спортсменов. Какая уж тут дружба...

Впрочем, один-то друг у него был. Я имею в виду его жену, Асю Стасову, Анастасию Павловну. Когда я познакомился с нею, это была прелестная маленькая женщина, живая, как ртуть, острая на язык и в высшей степени склонная к скоропалительным мнениям и опрометчивым суждениям. Поэтому обстановка у них в доме была всегда приближена к боевой, и одно удовольствие было наблюдать (со стороны) их постоянно вспыхивающие словесные баталии.

Это было тем более удивительное зрелище, что в обычной, то есть рабочей, обстановке Тойво производил впечатление человека скорее медлительного и немногословного. Он был словно бы постоянно заторможен на какой-то важной, тщательно обдумываемой идее. Но не с Асей. Только не с Асей! С нею он был Демосфен, Цицерон, апостол Павел, он вещал, он строил максимы, он, черт меня побери, даже иронизировал!.. Трудно даже представить себе, насколько разными были эти два человека: молчаливый и медлительный Тойво-Глумов-На-Работе и оживленный, болтливый, философствующий, постоянно заблуждающийся и азартно свои заблуждения отстаивающий Тойво-Глумов-Дома. Дома он даже ел со вкусом. Даже капризничал по поводу еды. Ася работала гастрономом-дегустатором и готовила всегда сама. Так было принято в доме ее матери, так было принято в доме ее бабушки. Эта восхищавшая Тойво Глумова традиция уходила в семье Стасовых в глубину веков, в те невообразимые времена, когда еще не существовала молекулярная кулинария и обыкновенную котлету приходилось изготавливать посредством сложнейших и не очень аппетитных процедур...

И еще у Тойво была мама. Каждый день, чем бы он ни был занят и где бы он ни был, он обязательно выбирал минутку, чтобы связаться с нею по видеоканалу и обменяться хотя бы несколькими словами. У них это называлось «контрольным звонком». Много лет назад я познакомился с Майей Тойвовной Глумовой, но обстоятельства нашего знакомства были настолько печальны, что впоследствии мы с нею никогда больше не встречались. Не по моей вине. И вообще ни по чьей вине. Короче говоря, она была обо мне крайне дурного мнения, и Тойво это знал. Он никогда не говорил о ней со мною. Но с нею обо мне говорил неоднократно — я узнал об этом много позже...

Эта раздвоенность, без сомнения, раздражала и угнетала его. Не

думаю, чтобы Майя Тойвовна говорила ему обо мне дурно. И уже совершенно невероятно, чтобы она рассказала сыну страшную историю гибели Льва Абалкина. Скорее всего, когда Тойво заводил речь о своем непосредственном начальнике, она просто холодно уклонялась от этой темы. Но и этого с лихвой хватало.

Ведь я для Тойво был не просто начальник. Ведь я, по сути, был единственным его единомышленником, единственным человеком во всем необъятном КОМКОНе-2, который с абсолютной серьезностью, безо всяких скидок, относился к проблеме, которая захватила его целиком. Кроме того, он относился ко мне с огромным пиететом. Как-никак, а его начальником был легендарный Мак Сим! Тойво еще на свете не было, а Мак Сим уже на Саракше подрывал лучевые башни и дрался с фашистами... Непревзойденный Белый Ферзь! Организатор операции «Вирус», после которой сам Суперпрезидент дал ему прозвище Биг-Баг! Тойво был еще школьником, а Биг-Баг проник в Островную Империю, в самую столицу... первый из землян, да и последний, кстати... Конечно, все это были подвиги Прогрессора, но ведь сказано же: Прогрессора может одолеть только Прогрессор! А Тойво истово исповедовал эту простую идею.

И потом вот еще что. Тойво представления не имел, как он станет действовать, когда наконец вмешательство Странников в земные дела будет установлено и доказано с совершенной достоверностью. Никакие исторические аналогии из вековой деятельности земных Прогрессоров здесь не годились. Для герцога Ируканского разоблаченный Прогрессор-землянин был демоном или практикующим чародеем. Для контрразведчика Островной Империи тот же Прогрессор был ловким шпионом с материка. А что такое разоблаченный Прогрессор-Странник с точки зрения сотрудника КОМКОНа-2?

Разоблаченный чародей подлежал сожжению; неплохо было также засадить его в каменный мешок и заставить изготавливать золото из собственного дерьма. Ловкий шпион с материка подлежал перевербовке или уничтожению. А как следовало поступить с разоблаченным Странником?

Тойво не знал ответов на эти и подобные им вопросы. И никто из его знакомых не знал ответов на эти вопросы. Большинство вообще считало эти вопросы некорректными. «Как быть, если на винт твоей моторки намотало бороду водяного? Распутывать? Беспощадно резать? Хватать водяного за щеки?» Со мной Тойво на эти темы не говорил. А не говорил потому, как мне кажется, что изначально убедил себя, будто бы Биг-Баг,

легендарный Белый Ферзь, хитроумный Мак Сим давным-давно уже все это продумал, проанализировал все возможные варианты, составил детальные разработки и утвердил их в высшем руководстве.

Я его не разочаровывал. До поры до времени. Надо сказать, Тойво Глумов вообще был человеком предвзятых мнений. (Да и как могло быть иначе при его фанатизме?) Например, он никак не желал признавать связи между своей темой «Визит старой дамы» и давно разрабатывавшейся у нас темой «Рип ван Винкль». Случаи внезапных и совершенно необъяснимых исчезновений людей в семидесятых-восьмидесятых годах и столь же внезапных и необъяснимых их возвращений были единственным моментом «Меморандума Бромберга», который Тойво решительно отказался рассматривать и вообще принимать во внимание. «Здесь у него какая-то описка, — утверждал он. — Или мы неправильно его понимаем. Зачем это нужно Странникам, чтобы люди необъяснимо исчезали?» И это при том, что «Меморандум Бромберга» стал его катехизисом, программой его работы на всю жизнь вперед... Видимо, он не мог, не желал признать за Странниками могущества почти сверхъестественного. Такое признание обесценило бы его работу полностью. В самом деле, какой смысл выслеживать, искать, ловить существо, которое в любой момент способно рассыпаться в воздухе и собрать себя потом в любом другом месте?..

Но, при всей своей склонности к предвзятым суждениям, он никогда не пытался бороться против установленных фактов. Я помню, как он, совсем еще зеленый неофит, убедил меня подключиться к расследованию трагедии на острове Матуку.

Делом этим, естественно, занимался сектор «Океания», где ни о каких Странниках и слышать не хотели. Но дело было уникальное, не имевшее никаких прецедентов в прошлом (надеюсь искренне, что и в будущем ничего подобного более не случится), и нас с Тойво приняли в него без возражений.

На острове Матуку с незапамятных времен торчал старинный полуразвалившийся радиотелескоп. Кто его построил и зачем — установить так и не удалось.

Остров числился необитаемым, его посещали только случайные группы дельфинеров, да еще случайные парочки, искавшие жемчуг в прозрачных заливчиках на северном берегу. Однако, как скоро стало известно, там на протяжении нескольких последних лет постоянно жила сдвоенная семья голованов. (Нынешнее поколение уже стало забывать, кто такие голованы. Я напоминаю: это раса разумных киноидов с планеты Саракш, одно время находившаяся в очень тесном контакте с землянами.

Эти большеголовые говорящие собаки охотно сопровождали нас по всему Космосу и даже имели на нашей планете нечто вроде дипломатического представительства. Лет тридцать назад они ушли от нас и в контакты с людьми более не вступали.)

На юге острова была округлая вулканическая бухта. Она была неописуемо грязна, берега ее обросли какой-то мерзкой пеной. Похоже, вся эта дрянь имела органическое происхождение, потому что привлекала к себе неисчислимые стаи морских птиц. Впрочем, в остальном воды бухты были безжизненны. Там даже водоросли размножались неохотно.

И на этом острове происходили убийства. Одни люди убивали других, и это было до такой степени страшно, что в течение нескольких месяцев ни у кого рука не поднималась сообщить об этих событиях средствам массовой информации.

Довольно скоро выяснилось, что виною, а точнее — причиной всему был исполинский силурийский моллюск, чудовищное первобытное головоногое, некоторое время назад поселившееся на дне вулканической бухты. Должно быть, его закинуло туда тайфуном. Биополе этого монстра, время от времени всплывавшего на поверхность, оказывало угнетающее действие на психику высших животных. В частности, у человека оно вызывало катастрофическое снижение уровня мотивации, в этом биополе человек становился асоциален, он мог убить приятеля, случайно уронившего в воду его рубашку. И убивал.

Так вот, Тойво Глумов вбил себе в голову, будто этот моллюск и есть предсказанный Бромбергом индивид Монокосма в процессе сотворения. Надо признаться, что вначале, когда фактов не было еще совсем, рассуждения его выглядели довольно убедительно (если вообще можно говорить об убедительности логики, построенной на фантастической предпосылке). И надо было видеть, как шаг за шагом отступал он под давлением все новых данных, которые ежедневно добывали потрясенные специалисты по головоногим и палеонтологи...

Добил его один студент-биолог, раскопавший в Токио японский манускрипт тринадцатого века, где приводилось описание этого или такого же чудовища (цитирую по своему дневнику): «В Восточных морях видят катацуморидако пурпурного цвета с множеством длинных тонких рук, высовывается из круглой раковины размером в тридцать футов с остриями и гребнями, глаза как бы гнилые, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. В лунные ночи лежит,

колыхаясь на волнах, устремив глаза в поднебесье, и размышляет о пучине вод, откуда извергнут. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей, и они уподобляются тиграм».

Помню, как, прочитавши это, Тойво несколько минут молчал в глубокой задумчивости, а затем вздохнул — как мне показалось, с облегчением — и сказал: «Да. Это не то. И хорошо, потому что слишком уж мерзко». По его представлениям, Монокосм должен быть существом вполне отвратительным, но все же не до такой степени. Монокосм в обличье силурийского спрута не влезал в его представления. (Точно так же, к слову, как не влезал этот моллюск ни в какие представления специалистов — со своим ядоносным биополем, со своим раздвижным панцирем и со своим личным возрастом, превышающим четыреста миллионов лет.)

Таким образом, первое серьезное дело, за которое взялся Тойво Глумов, закончилось ничем. Таких пустышек в дальнейшем было у него немало, и вот в середине 98-го года он попросил у меня разрешения взяться за обработку материалов по массовым фобиям. Я разрешил.

....

ДОКУМЕНТ 3

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 011/99

Дата: 20 марта 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: космофобия, «синдром пингвина».

Анализируя случаи возникновения космических фобий за последние сто лет, я пришел к заключению, что в рамках темы 009 для нас могут представлять интерес материалы по так называемому «синдрому пингвина».

Источники:
А. Мебиус. Доклад на XIV конференции космопсихологов, Рига, 84.
А. Мебиус. Синдром пингвина, ПКП («Проблемы космической психологии»), 42, 84.
А. Мебиус. Снова о природе «синдрома пингвина», ПКП, 44, 85.

СПРАВКА

Мебиус Асмодей-Матвей, доктор медицины, чл.-корр. АМН Европы, директор филиала Всемирного Института Космической Психопатологии (Вена). Род. 26.04.36, Инсбрук. Образование: факультет психопатологии, Сорбонна; Второй Институт Космической Медицины, Москва; Высшие Курсы Бесприборной Акванавтики, Гонолулу. Основные области научных интересов: внепроизводственные космо- и аквафобии. С 81 по 91 — заместитель председателя Главной Медицинской Комиссии управления космофлота. Ныне общепризнанный основатель и глава школы так называемой «полиморфной космопсихопатологии».

7 октября 84 года на конференции космопсихологов в Риге доктор Асмодей Мебиус сделал сообщение о новом виде космофобии, который он

назвал «синдром пингвина». Фобия эта представляла собой неопасное психическое отклонение, выражающееся в навязчивых кошмарах, поражающих больного во время сна. Стоит больному задремать, как он обнаруживает себя висящим в безвоздушном пространстве, абсолютно беспомощным и бессильным, одиноким и всеми забытым, отданным на волю бездушных и неодолимых сил. Он физически ощущает мучительное удушье, чувствует, как тело его прожигают насквозь разрушительные жесткие излучения, как истончаются и тают его кости, как закипает и начинает испаряться мозг, неслыханное, невероятное по интенсивности отчаяние охватывает его, и он просыпается.

Доктор Мебиус не счел эту болезнь опасной потому, во-первых, что она не сопровождалась какими бы то ни было уязвлениями психики и сомы, а во-вторых, успешно поддавалась амбулаторной психотерапии. «Синдром пингвина» привлек внимание доктора Мебиуса прежде всего потому, что являлся совершенно новым явлением, не описанным ранее никем и никогда. Удивительно было, что болезнь эта поражает людей без различия пола, возраста и профессии, не менее удивительным было и то, что не усматривалось никакой связи синдрома с ген-индексом заболевшего.

Заинтересовавшись этиологией явления, доктор Мебиус подверг собранный материал (около тысячи двухсот случаев) многофакторному анализу по восемнадцати параметрам и с удовлетворением обнаружил, что в 78 процентах случаев синдром возникал у людей, совершавших дальние космические перелеты на кораблях типа «Призрак-17-пингвин». «Я ожидал чего-либо подобного, — объявил доктор Мебиус. — На моей памяти это не первый случай, когда конструкторы предлагают нам недостаточно апробированную технику. И именно поэтому я назвал открытый мною синдром названием типа корабля, и пусть это послужит назиданием».

На основании доклада доктора Мебиуса конференция в Риге вынесла решение временно запретить к эксплуатации корабли типа «Призрак-17-пингвин» впредь до полного устранения конструктивных недостатков, вызывающих фобию.

1. Я установил, что тип «Призрак-17-пингвин» был подвергнут самому тщательному обследованию, в ходе которого никаких сколько-нибудь существенных конструкторских просчетов обнаружено не было, так что непосредственная причина возникновения «синдрома пингвина» так и осталась сокрытой мглой и туманом. (Впрочем, желая свести риск к нулю, Управление космофлота сняло «пингвины» с пассажирских линий и переоборудовало их под автопилоты.) Случаи «синдрома пингвина» резко пошли на убыль, и, насколько мне теперь известно, последний был

зарегистрирован 13 лет назад.

Однако я не был удовлетворен. Меня беспокоили те 22 процента обследованных, отношение которых к кораблям типа «Призрак-17-пингвин» оставалось неясным. Из этих 22 процентов, по данным доктора Мебиуса, 7 процентов заведомо не имели никакого дела с «пингвинами», а остальные 15 не могли сказать по этому поводу ничего путного: они либо не помнили, либо никогда не интересовались типами кораблей, на которых ходили в Космос.

Конечно, статистическая значимость гипотезы о причастности «пингвинов» к возникновению фобии не вызывает никаких сомнений. Однако же 22 процента — это тоже немало. И я вновь подверг материалы Мебиуса многофакторному анализу по двадцати дополнительным параметрам, причем параметры эти я выбирал, признаюсь, уже в значительной степени случайно, не имея в запасе никакой, даже самой сомнительной гипотезы. Например, у меня были такие параметры: даты стартов с точностью до месяца; место рождения с точностью до региона; хобби с точностью до класса... и так далее.

Дело, однако, оказалось совершенно простым, и только извечная убежденность человечества в изотропности Вселенной помешала доктору Мебиусу обнаружить то, что удалось нащупать мне. Выяснилось же следующее: «синдром пингвина» поражал людей, совершавших космические перелеты по маршрутам на Саулу, на Редут и на Кассандру, иначе говоря, через подпространственный сектор входа 41/02.

«Призрак-17-пингвин» был ни в чем не виноват. Просто подавляющее большинство этих кораблей в те времена (начало 80-х годов) прямо со стапелей направлялось на маршруты Земля — Кассандра — Зефир и Земля — Редут — ЕН 2105. 80 процентов кораблей на этих маршрутах были тогда «пингвинами». Так объясняются 78 процентов доктора Мебиуса. Что же касается остальных 22 процентов заболевших, то 20 из них летали по этим маршрутам на кораблях других типов, и оставались только 2 процента, которые не летали никуда и никогда, но это уже не играло принципиальной роли.

2. Данные доктора Мебиуса, безусловно, не полны. Воспользовавшись анамнезами, им собранными, а также данными архивов Управления космофлота, мне удалось установить, что за рассматриваемый период по рассматриваемым маршрутам переместилось в обе стороны 4512 человек, из которых 183 человека (главным образом, члены экипажей) совершали полные рейсы неоднократно. Более двух третей членов реферируемой группы в поле зрения доктора Мебиуса не попали.

Напрашивается вывод, что они либо оказались иммунными к «синдрому пингвина», либо по каким-то причинам не сочли необходимым обращаться к врачам. В связи с этим мне представилось крайне важным установить:

— были ли среди членов реферируемой группы лица, оказавшиеся иммунными к синдрому;

— если таковые были, то нельзя ли установить причины иммунности или хотя бы биосоциопсихологические параметры, по которым эти лица отличаются от пострадавших.

С этими вопросами я обратился к самому доктору Мебиусу. Он ответил мне, что эта проблема его никогда не интересовала, но интуитивно он склонен полагать, что существование такого рода биосоциопсихологических параметров представляется ему крайне маловероятным. В ответ на мою просьбу он согласился поручить исследование этой проблемы одной из своих лабораторий, предупредив, что результатов следует ожидать не ранее чем через два-три месяца.

Чтобы не терять времени, я обратился к архивам медцентра Управления космофлота и попытался проанализировать данные по всем 124 пилотам, совершавшим регулярные полные рейсы по рассматриваемым маршрутам за рассматриваемый период времени. Элементарный анализ показал, что по крайней мере для пилотов вероятность подвергнуться поражению «синдромом пингвина» составляет примерно одну треть и не зависит от числа рейсов, проделанных ими через «опасный» сектор. Таким образом, представляется весьма вероятным, что: а) две трети людей иммунны к поражению «синдромом пингвина» и б) человек, лишенный иммунитета, поражается синдромом с вероятностью, близкой к единице. Именно поэтому вопрос об отличии иммунного человека от неиммунного представляет особый интерес.

3. Считаю необходимым привести полностью примечание доктора Мебиуса к его статье «Снова о природе "синдрома пингвина"». Доктор Мебиус пишет:

«Любопытное сообщение я получил от коллеги Кривоклыкова (Крымский филиал Второго ИКМ). После опубликования моего доклада в Риге он написал мне, что вот уже на протяжении многих месяцев видит сны, по сюжету необычайно похожие на кошмары страдающих «синдромом пингвина», — он ощущает себя висящим в безвоздушном пространстве, вдали от планет и звезд, он не чувствует своего тела, но видит его, равно как и многочисленные космические объекты, реальные и фантастические. Однако, в отличие от страдающих «синдромом пингвина», он не

испытывает при этом никаких отрицательных эмоций. Напротив, происходящее кажется ему интересным и приятным. Ему представляется, будто он — самостоятельное небесное тело, движущееся по избранной им траектории. Само движение доставляет ему удовольствие, ибо движется он к некоей цели, обещающей массу интересного. Сам вид звездных скоплений, мерцающих в бездне, вызывает у него ощущения неизъяснимого восторга и проч. Мне пришло было в голову, что в лице коллеги Кривоклыкова я имею случай некоей инверсии «синдрома пингвина», каковая представила бы большой теоретический интерес в свете изложенных мною в статье соображений. Однако я был разочарован: оказалось, что коллега Кривоклыков никогда в жизни не летал на звездолетах типа «Призрак-17-пингвин». Впрочем, я не оставляю надежды на то, что инверсия «синдрома пингвина» реально существует как психическое явление, и буду благодарен любому врачу, который соблаговолит сообщить мне новые данные по этому поводу».

СПРАВКА

Кривоклыков Иван Георгиевич, сменный врач-психиатр базы «Лембой» (ЕН 2105), в рассматриваемый период неоднократно проходил по маршруту Земля — Редут — ЕН 2105 на звездолетах разных типов. Согласно данным БВИ, в настоящее время находится на базе «Лембой».

В ходе личной беседы с доктором Мебиусом я выяснил, что за последние годы он обнаружил «положительную» инверсию «синдрома пингвина» еще у двух человек. Имена их он назвать отказался по соображениям врачебной этики.

Я не берусь комментировать явление инверсии «синдрома пингвина» сколько-нибудь подробно, однако мне кажется очевидным, что носителей такой инверсии должно быть заметно больше, чем это известно сейчас.

Т. Глумов

Конец документа 3

....

Документ 3 я привел здесь не только потому, что это был один из наиболее обещающих рапортов, представленных Тойво Глумовым. Читая и перечитывая его, я почувствовал, что мы, кажется, впервые напали на

настоящий след, хотя тогда мне и в голову не приходило, что с него начнется та цепочка событий, которая сыграет решающую роль в моем приобщении к Большому Откровению.

21 марта я прочитал доклад Тойво относительно «синдрома пингвина».

25 марта Колдун устроил свою демонстрацию в Институте Чудаков (узнал я об этом лишь несколько дней спустя).

А 27 марта Тойво представил мне рапорт-доклад относительно фукамифобии.

....

ДОКУМЕНТ 4

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 013/99

Дата: 26 марта 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: фукамифобия, история Поправки к «Закону об обязательной биоблокаде».

Анализируя случаи возникновения массовых фобий за последние сто лет, я пришел к выводу, что в рамках темы 009 для нас могут представить интерес события, которые предшествовали принятию 02.02.85 года Всемирным советом известной Поправки к «Закону о биоблокаде».

Надлежит принять во внимание:

1. Биоблокада, она же Токийская процедура, систематически применяется на Земле и на Периферии около ста пятидесяти лет. Биоблокада — термин непрофессиональный, принятый главным образом у журналистов. Специалисты-медики называют эту процедуру фукамизацией в честь сестер Натальи и Хосико Фуками, впервые теоретически обосновавших и применивших ее на практике. Целью фукамизации является повышение естественного уровня приспособляемости человеческого организма к внешним условиям (биоадаптация). В классической своей форме процедура фукамизации применяется исключительно к младенцам начиная с последнего периода внутриутробного развития. Насколько мне удалось установить и понять, процедура эта состоит из двух этапов.

Введение сыворотки УНБЛАФ (культура «бактерии жизни») на несколько порядков увеличивает сопротивляемость организма ко всем известным инфекциям, вирусным, бактериальным и споровым, а также ко всем органическим ядам. (Это и есть собственно биоблокада.)

Растормаживание гипоталамуса микроволновыми излучениями многократно повышает способность организма адаптироваться к таким

физическим агентам внешней среды, как жесткая радиация, неблагоприятный газовый состав атмосферы, высокая температура. Кроме того, многократно повышается способность организма к регенерации поврежденных внутренних органов, увеличивается диапазон спектра, воспринимаемого сетчаткой, повышается способность к психотерапии и т. д.

Полный текст инструкции по фукамизации приводится ниже.

2. Процедура фукамизации применялась до 85 года в обязательном порядке согласно «Закону об обязательной биоблокаде». В 82 году на рассмотрение Всемирного совета был внесен проект Поправки, предусматривающей отмену обязательности фукамизации для младенцев, появляющихся на свет на Земле. Поправка предусматривала замену процедуры фукамизации так называемой «прививкой зрелости», предназначенной для лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста. В 85 году Всемирный совет (большинством всего в двенадцать голосов) принял Поправку к «Закону об обязательной биоблокаде». Согласно этой Поправке, обязательная фукамизация отменялась, применение ее оставлялось полностью на усмотрение родителей. Лица, не прошедшие фукамизацию в младенческом возрасте, получили право отказаться впоследствии и от «прививки зрелости», однако в этом случае они теряли возможность работать в профессиональных областях, связанных с большими физическими и психическими нагрузками. По данным БВИ, к настоящему моменту на Земле живет около миллиона подростков, не прошедших фукамизацию, и около двадцати тысяч лиц, отказавшихся от «прививки зрелости».

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению поэтапной пренатальной и постнатальной фукамизации новорожденного

1. Определить точный срок начала родовой деятельности по методу целого четного. (Рекомендуемые диагностики: радиоиммунный анализатор НИМБ, наборы ФДХ-4 и ФДХ-8.)

2. Не менее чем за 18 часов до начала первичной контракции мускулатуры матки определить объем плода и объем околоплодных вод РАЗДЕЛЬНО.

Примечание. Поправку Лазаревича вводить ОБЯЗАТЕЛЬНО! Расчет проводить ТОЛЬКО по номографам Института биоадаптации, учитывающим расовые различия.

3. Определить необходимую дозу сыворотки УНБЛАФ. Полная, стабильная, долговременная иммунизация к белковым агентам и органическим соединениям белковоподобной и гаптоидной структуры достигается в дозе 6,8 гамма-молей на грамм лимфоидной ткани.

Примечание. А) При индексе объемов меньше 3,5 доза увеличивается на 16%. Б) При многоплодии общая доза вводимой сыворотки уменьшается на 8% на каждый плод (двойня — 8%, тройня — 16% и т. д.).

4. За 6 часов до начала первичной контракции мускулатуры матки ввести нуль-инжектором через переднюю брюшную стенку в амниотическую полость рассчитанную дозу сыворотки УНБЛАФ. Введение производить со стороны, противоположной спинке плода.

5. Через 15 минут после рождения произвести сцинтиграфию тимуса новорожденного. При индексе тимуса меньше 3,8 ввести дополнительно в пупочную вену 2,6 гамма-молей сыворотки УНБЛАФ-11.

6. При повышении температуры НЕМЕДЛЕННО поместить новорожденного в стерильный бокс. Первое естественное кормление разрешается не ранее чем через 12 часов нормальной температуры.

7. Через 72 часа после рождения производится микроволновое растормаживание гипоталамических зон адаптогенеза. Топографическое определение зон рассчитывается по программе БИНАР-1. Объемы гипоталамических зон должны соответствовать:

I зона: 36–42 нейрона;

II зона: 178–194 нейрона;

III зона: 125–139 нейронов;

IV зона: 460–510 нейронов;

V зона: 460–510 нейронов.

Примечание. При проведении обмеров убедиться в ПОЛНОМ рассасывании родовой гематомы. Полученные данные вводятся в БИОФАК-ИМПУЛЬС. РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ИМПУЛЬСА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

8. Поместить новорожденного в операционную камеру БИОФАК-ИМПУЛЬС. При ориентации головки ОСОБО СЛЕДИТЬ, чтобы отклонение по шкале «стереотаксис» составляло не более 0,014.

9. Микроволновое растормаживание гипоталамических зон адаптогенеза производится при достижении второго уровня глубины сна, что соответствует 1,8–2,1 мВ альфа-ритма энцефалограммы.

10. Все расчеты вносятся в индивидуальную карту новорожденного ОБЯЗАТЕЛЬНО.

По существу событий, которые привели в феврале 85 года к принятию Поправки к «Закону о биоблокаде», мною установлено следующее.

1. За полтораста лет глобальной практики фукамизации не известно ни единого случая, чтобы эта процедура причинила фукамизированному хоть какой-нибудь вред. Неудивительно поэтому, что случаи отказа матерей от фукамизации были до весны 81 года чрезвычайно редки. Подавляющее большинство врачей, с которыми я консультировался, до указанного времени о таких случаях не слышали никогда. Выступления же против фукамизации, носящие теоретический и пропагандистский характер, имели место неоднократно. Вот наиболее характерные публикации нашего века:

Дебуке Ш. «Построить человека?». Лион, 32.

Посмертное издание последней книги крупного (ныне забытого) антиевгениста. Вторая часть книги целиком посвящена критике фукамизации как «беззастенчиво-вкрадчивого вторжения в естественное состояние человеческого организма». Подчеркивается необратимый характер изменений, вызываемых фукамизацией («...никогда и никому еще не удавалось вновь затормозить расторможенный гипоталамус...»), но главный упор делается на то обстоятельство, что эта типично евгеническая процедура, освященная авторитетом мирового закона, вот уже на протяжении многих лет служит дурным и соблазнительным прецедентом для новых евгенических экспериментов.

Пумивур К. «Ридер: права и обязанности». Бангкок, 15.

Автор, вице-президент Всемирной ассоциации ридеров, — сторонник и пропагандист максимально активного участия ридеров в деятельности человечества. Выступает против фукамизации, основываясь на данных личной статистики. Утверждает, что фукамизация якобы неблагоприятна для возникновения у человека ридер-потенции, и хотя относительная численность ридеров за эпоху фукамизации не уменьшилась, однако за это время не появилось ни одного ридера, по мощи сравнимого с теми, что действовали в конце XXI и в начале XXII века. Призывает к отмене обязательности фукамизации — вначале хотя бы для детей и внуков ридеров. (Все материалы книги безнадежно устарели: в тридцатых годах появилась блистательная плеяда ридеров невероятной мощи — Александр Солемба, Петер Дзомны и др.)

Август Ксесис. «Камень преткновения». Афины, 37.

Известный теоретик и проповедник ноофилизма посвятил свою брошюру резкой критике фукамизации — впрочем, критике скорее поэтической, нежели рациональной. В рамках представлений ноофилизма

как своеобразной вульгаризации теории Яковица Вселенная есть вместилище Ноокосмоса, в который вливается после смерти ментально-эмоциональный код человеческой личности. Судя по всему, Ксесис абсолютно ничего не понимает в фукамизации, представляет ее себе чем-то вроде аппендэктомии и страстно призывает отказаться от столь грубой процедуры, калечащей и искажающей ментально-эмоциональный код. (По данным БВИ, после принятия Поправки ни один из членов конгрегации ноофилистов не согласился на фукамизацию своих детей.)

Тосивилл Дж. «Человек Дерзкий». Бирмингем, 51.

Эта монография представляет собой достаточно типичный образец целой библиотеки книг и брошюр, посвященных пропаганде свертывания технологического прогресса. Для всех книг такого рода характерна апологетика застывших цивилизаций типа тагорской или биоцивилизации Леониды. Технологический прогресс Земли объявляется сыгравшим свою роль. Экспансия человечества в Космос изображается как своего рода социальное мотовство, обещающее в перспективе жесточайшее разочарование. Человек Разумный превращается в Человека Дерзкого, который в погоне за количеством рациональной и эмоциональной информации теряет в ее качестве. (Подразумевается, что информация о психокосме обладает неизмеримо более высоким качеством, нежели информация о Внешнем Космосе в самом широком смысле слова.) Фукамизация оказывает человечеству дурную услугу именно потому, что способствует перерождению Человека Разумного в Человека Дерзкого, расширяя и фактически стимулируя его экспансионистские потенции. Предлагается на первом этапе отказаться хотя бы от растормаживания гипоталамуса.

Оксовью К. «Движение по вертикали». Калькутта, 61.

К. Оксовью — псевдоним ученого или группы ученых, сформулировавших и пустивших в обращение небезызвестную идею так называемого вертикального прогресса человечества. Раскрыть псевдоним мне не удалось. Имею основания полагать, что К. Оксовью — это либо председатель КОМКОНа-1 Г. Комов, либо кто-нибудь из его единомышленников в Академии социального прогнозирования. Данное издание является первой монографией «вертикалистов». Шестая глава посвящена подробному рассмотрению всех аспектов фукамизации — биологических, социальных и этических — с точки зрения установок вертикального прогресса. Основная опасность фукамизации усматривается в возможности неконтролируемого влияния ее на генотип. В подтверждение этой идеи впервые, насколько мне удалось выяснить,

приводятся данные о многочисленных случаях передачи по наследству свойств фукамизированного организма. Объявляются более ста случаев, когда иммунный механизм плода еще в утробе матери начинал вырабатывать антитела, характерные для воздействия сыворотки УНБЛАФ, и более двухсот случаев, когда новорожденные обладали врожденно расторможенным гипоталамусом. Более того, зарегистрировано более тридцати случаев передачи такого рода свойств уже в третье поколение.

Подчеркивается, что, хотя такого рода явления и не представляют непосредственной опасности для подавляющего большинства людей, они являются красноречивой иллюстрацией того факта, что фукамизация далеко не так хорошо исследована, как утверждают ее адепты. Нельзя не отметить, что материал подобран с необычайной тщательностью и подан весьма эффектно. Например: несколько впечатляющих абзацев посвящены так называемым Г-аллергикам, которым расторможение гипоталамуса противопоказано. Г-аллергия есть чрезвычайно редкое состояние организма, легко обнаруживаемое у плода еще в материнской утробе и потому никакой опасности не представляющее: такого младенца просто не подвергают второму этапу фукамизации. Если же расторможенный гипоталамус будет передан Г-аллергику по наследству, медицина окажется бессильной — на свет появится неизлечимо больной человек. К. Оксовью удалось обнаружить один такой случай, и он не жалеет красок для его описания. Еще более апокалиптическую картину рисует автор, изображая мир будущего, в котором человечество под воздействием фукамизации раскалывается на два генотипа. Эта монография издавалась неоднократно и сыграла, по-видимому, не последнюю роль в обсуждении Поправки. Любопытно, однако же, отметить, что последнее издание этой книги (Лос-Анджелес, 99) не содержит ни слова о фукамизации: надо понимать, автор полностью удовлетворен Поправкой и судьба 99,9... процента человечества, продолжающих подвергать своих детей фукамизации, его не интересует.

Примечание. Заключая этот раздел, считаю необходимым подчеркнуть, что подбор и аннотирование материалов для него я осуществлял по принципу их нетривиальности с моей личной точки зрения. Заранее приношу свои извинения на случай, если невысокий уровень моей эрудиции вызовет неудовольствие.

2. По-видимому, первый отказ от фукамизации, открывший целую эпидемию отказов, зарегистрирован в родильном покое поселка К'сава (Экваториальная Африка). 17.04.81 года все три роженицы, поступившие в покой на протяжении суток, независимо друг от друга, в различной форме, но совершенно категорически запретили персоналу производить им

процедуру фукамизации. Роженица А. (первые роды) мотивировала отказ желанием мужа, недавно погибшего в результате несчастного случая. Роженица Б. (первые роды) мотивировать отказ даже не пыталась, малейшие попытки разубедить ее вызывали у нее истерическое состояние. «Не хочу, и все!» — повторяла она. Роженица В. (третьи роды, протестовала впервые) была очень рассудительна, спокойна и мотивировала отказ нежеланием решать судьбу ребенка без его ведома и согласия. «Вырастет, пусть сам решает», — объявила она.

(Я привожу здесь эти мотивации потому, что они совершенно типичны. С легкими вариациями «отказчицы» прибегали к ним в 95 процентах случаев. В литературе принята следующая классификация. Отказ типа А: вполне рациональная, но в принципе непроверяемая мотивировка, 20 процентов. Отказ типа Б: фобия в чистом виде, истерическое, иррациональное поведение, 65 процентов. Отказ типа В: этические соображения, 10 процентов. Тип Р — редкий: чрезвычайно разнообразные по форме и содержанию ссылки на религиозные обстоятельства, приверженность к экзотическим философским системам и т. д., около 5 процентов.)

18 апреля в той же больнице произошло еще два отказа, и первые отказы были зарегистрированы в других родильных покоях региона. В конце месяца случаи отказов насчитывались уже сотнями и были зарегистрированы во всех регионах Земного шара, а 5 мая пришло первое сообщение о случае отказа вне Земли (Марс, Большой Сырт). Эпидемия отказов, то вспыхивая, то угасая, продолжалась вплоть до 85 года, так что на момент принятия Поправки общее число «отказчиц» составило около 50 тысяч (примерно 0,1 процента всех рожениц).

Закономерности эпидемии феноменологически исследованы очень хорошо и с высокой степенью достоверности, однако сколько-нибудь убедительного объяснения они так и не получили.

Например, было отмечено, что эпидемия имела как бы два географических центра распространения: один в Экваториальной Африке, второй в Северо-Восточной Сибири. Немедленно напрашивается аналогия с вероятными центрами распространения человечества, но аналогия эта, разумеется, ничего не объясняет.

Второй пример. Отказы были всегда индивидуальны, однако в пределах каждого родильного покоя каждый отказ как бы порождал следующий. Отсюда термин: «цепь отказов из N звеньев». Число N могло быть весьма велико: в родильном покое Говекайской гинеклиники «цепь отказов» началась 11.09.83 года и тянулась до 21.09, вовлекая всех

рожениц, последовательно поступавших в покой, так что общая длина «цепи» составила 19 рожениц.

В некоторых больницах эпидемии отказов возникали и затухали неоднократно. Скажем, в Бернском дворце младенца эпидемия повторилась двенадцать раз.

При всем при том в подавляющем большинстве родильных покоев Земли об эпидемиях отказов и не слыхивали. Точно так же ничего не слыхивали об отказах и в большинстве внеземных поселений. Однако в тех местах, где эпидемии возникали (Большой Сырт, база Саула, Курорт), они развивались по законам, типичным для Земли.

3. Причинам возникновения фукамифобии посвящена большая литература. Я ознакомился с наиболее солидными работами, которые порекомендовал мне профессор Деруйод из Лхасского психологического центра. Я недостаточно подготовлен для того, чтобы сделать компетентный обзор этих работ, но у меня сложилось впечатление, что сколько-нибудь общепринятой теории фукамифобии не существует. Поэтому я ограничусь здесь тем, что дословно приведу фрагмент моей беседы с профессором Деруйодом.

ВОПРОС. Считаете ли вы возможным возникновение фобии у здорового и благополучного человека?

ОТВЕТ. Строго говоря, это невозможно. Фобия у здорового человека возникает всегда как следствие чрезмерного физического или психического перенапряжения. Вряд ли такого человека можно назвать благополучным. Другое дело, что человек, особенно в наше бурное время, не всегда отдает себе отчет в том, что он надорвался... Субъективно он может считать себя вполне благополучным и даже довольным, и возникновение фобии у него, с точки зрения дилетанта, может выглядеть явлением необъяснимым...

ВОПРОС. И применительно к фукамифобии?..

ОТВЕТ. Вы знаете, с определенной точки зрения беременность и сегодня еще остается таинством... Достаточно сказать, что мы только совсем недавно поняли, что психика беременной женщины есть психика бинарная, результат дьявольски сложного взаимодействия вполне сформировавшейся психики взрослого человека и пренатальной психики плода, о законах которой мы сегодня практически ничего не знаем. А если добавить сюда неизбежные физические стрессы, неизбежные невротические явления... Все это, вообще говоря, образует благоприятную почву для фобий. Однако делать из этого вывод, будто с помощью такого рода рассуждений мы хоть что-то объяснили в этой поразительной

истории... Это было бы опрометчиво. Это было бы крайне опрометчиво и несерьезно.

ВОПРОС. Существуют ли какие-либо отличия у «отказчиц» по сравнению с обычными роженицами? Физиологические, психические... Такого рода исследования проводились?

ОТВЕТ. Во множестве. Но ничего конкретного установить не удалось. Лично я всегда считал и сейчас считаю, что фукамифобия — это фобия универсальная, как, например, фобия к нуль-транспортировке. Только нуль-Т-фобия есть очень распространенное явление; страх перед первым нуль-Т-переходом испытывает практически каждый человек, независимо от пола и профессии, потом этот страх проходит бесследно... А фукамифобия — явление, к счастью, чрезвычайно редкое. Я говорю «к счастью» потому, что излечивать фукамифобию мы так и не научились.

ВОПРОС. Правильно ли я вас понял, профессор, что не известна ни одна конкретная причина, вызывающая фукамифобию?

ОТВЕТ. Достоверно — нет. Разнообразных же гипотез предлагалось множество, десятки.

ВОПРОС. Например?

ОТВЕТ. Например — пропаганда противников фукамизации. На впечатлительную натуру, да еще в состоянии беременности, такая пропаганда могла оказать определенное влияние. Или, скажем, гипертрофия материнского инстинкта, инстинктивная потребность оградить свое дитя от любых внешних воздействий, хотя бы и полезных... Вы собираетесь возразить? Не надо. Я с вами совершенно согласен. Все эти гипотезы в лучшем случае объясняют только очень узкий круг фактов. Никто не смог объяснить ни явление «цепи отказов», ни географических особенностей явления... И уж совсем никто не понимает, почему все это началось именно весной 81 года, причем не только на Земле, но и очень далеко от Земли...

ВОПРОС. А почему это кончилось в 85 году — это объяснить можно?

ОТВЕТ. Представьте себе, да. Представьте себе, сам факт принятия Поправки вполне мог сыграть решающую роль в прекращении эпидемии. Разумеется, и здесь остается много неясного, но это уже скорее частности.

ВОПРОС. Как вы считаете, не могла ли эпидемия возникнуть в результате каких-то неосторожных экспериментов?

ОТВЕТ. Теоретически это возможно. Но мы в свое время проверили эту гипотезу. Никаких экспериментов, способных вызвать массовые фобии, на Земле не производится. Кроме того, не забывайте, что одновременно фукамифобия возникла и вне Земли...

ВОПРОС. А какого рода эксперименты могли бы вызвать фобии?

ОТВЕТ. Вероятно, я выразился не совсем точно. Я могу назвать вам целый ряд, так сказать, технических приемов, с помощью которых у вас, здорового человека, можно было бы вызвать какую-нибудь фобию. Обратите внимание: именно КАКУЮ-НИБУДЬ. Например, я стану облучать вас в определенном режиме нейтринным концентратом, и у вас возникнет фобия. Но что это будет за фобия? Страх пустоты? Страх высоты? Страх страха? Я не могу сказать этого заранее. А о том, чтобы вызвать у человека такую специфическую фобию, как фукамифобия, страх фукамизации... Нет, об этом не может быть и речи. Разве что в сочетании с гипнозом? Но как реализовать такое сочетание практически?.. Нет-нет, это несерьезно.

4. При всей своей географической (и космографической) распространенности случаи фукамифобии оставались все-таки явлением чрезвычайно редким в медицинской практике, и сами по себе они вряд ли привели бы к каким-либо изменениям в законодательстве. Однако эпидемия фукамифобии очень быстро из проблемы медицинской превратилась в событие, носящее социальный характер.

Август 81. Первые зарегистрированные протесты отцов, пока еще носящие частный характер (жалобы в местные и региональные медицинские управления, отдельные обращения в местные Советы).

Октябрь 81. Первая коллективная петиция 124-х отцов и двух врачей-акушеров в Комиссию по охране материнства и младенчества при Всемирном совете.

Декабрь 81. На XVII Всемирном конгрессе Ассоциации акушеров впервые выступает против обязательной фукамизации большая группа врачей и психологов.

Январь 82. Создается инициативная группа ВЭПИ (названная по инициалам учредителей), объединяющая врачей, психологов, социологов, философов и юристов. Именно группа ВЭПИ начала и довела до конца борьбу за принятие Поправки.

Февраль 82. Первый митинг противников фукамизации перед зданием Всемирного совета.

Июнь 82. Формальное образование оппозиции к «Закону» в составе Комиссии по охране материнства и младенчества.

Дальнейшая хронология событий, на мой взгляд, особенного интереса не представляет. Время (три с половиной года), потребовавшееся Всемирному совету для всестороннего изучения и принятия Поправки,

является достаточно типичным. Зато нетипичным представляется мне соотношение между численностью массовых сторонников Поправки и численностью профессионального корпуса. Обычно массовые сторонники нового закона — это как минимум десяток миллионов человек, профессиональный же корпус, квалифицированно представляющий их интересы (юристы, социологи, специалисты по данному вопросу), — это всего несколько десятков человек. В нашем же случае массовый сторонник Поправки («отказчицы», их мужья и родственники, друзья, сочувствующие, лица, примкнувшие к движению по религиозным или философским соображениям) никогда не был по-настоящему массовым. Общая численность участников движения не превышала полумиллиона. Что же касается профессионального корпуса, то одна только группа ВЭПИ к моменту принятия Поправки включала в себя 536 специалистов.

5. После принятия Поправки отказы не прекратились, хотя число их заметно уменьшилось. Самое же главное — на протяжении 85 года изменился сам характер эпидемии. Собственно, это явление уже нельзя называть эпидемией. Какие бы то ни было закономерности («цепочки отказов», географические концентрации) исчезли. Теперь отказы носят совершенно случайный, единичный характер, причем мотивировки типов А и Б вообще не встречаются, а превалируют ссылки на Поправку. Видимо, поэтому нынешние врачи вообще не рассматривают отказы от фукамизации как проявление фукамифобии. Замечательно, что многие женщины, в свое время категорически отказывавшиеся от фукамизации и принимавшие активное участие в движении за Поправку, ныне совершенно потеряли интерес к этому вопросу и при родах даже не пользуются правом ссылаться на Поправку. Из женщин, отказавшихся от фукамизации в период 81–85 годов, при следующих родах отказались едва 12 процентов. Третий отказ от фукамизации — это и вообще большая редкость: за 15 лет зарегистрировано всего несколько случаев.

6. Считаю необходимым особенно подчеркнуть два обстоятельства.

А) Почти полное исчезновение фукамифобии после принятия Поправки обычно объясняется хорошо известными психосоциальными факторами. Современный человек приемлет только те ограничения и обязательства, которые вытекают из морально-этических установок общества. Любое ограничение или обязательство иного рода воспринимается им с ощущением (неосознанной) неприязни и (инстинктивного) внутреннего протеста. И естественно, что, добившись добровольности в вопросе о фукамизации, человек утрачивает основание для неприязни и начинает относиться к фукамизации нейтрально, как к

любой обычной медицинской процедуре.

Полностью принимая и понимая эти соображения, я тем не менее подчеркиваю и возможность иной интерпретации — представляющей интерес в рамках темы 009. А именно: вся изложенная выше история возникновения и исчезновения фукамифобии прекрасно истолковывается как результат целенаправленного, хорошо рассчитанного воздействия некоей разумной воли.

Б) Эпидемия фукамифобии хорошо совпадает по времени с появлением «синдрома пингвина». (См. мой рапорт-доклад № 011/99.)

Сапиенти сат.

Т. Глумов

Конец документа 4

....

Сейчас я могу с полной определенностью утверждать, что именно этот рапорт-доклад Тойво Глумова произвел в моем сознании ту подвижку, которая и привела меня в конце концов к Большому Откровению. Причем, как это ни забавно звучит сейчас, сдвиг этот начался с того непроизвольного раздражения, которое вызвали у меня грубые и недвусмысленные намеки Тойво на якобы зловещую роль «вертикалистов» в истории Поправки. В оригинале рапорта этот абзац украшен мною жирными отчеркиваниями; я прекрасно помню, что собирался тогда устроить Тойво взбучку за неумеренное фантазирование. Но тут до меня дошли сведения о визите Колдуна в Институт Чудаков, меня наконец осенило, и мне стало не до взбучек.

Я оказался в жесточайшем кризисе, потому что мне не с кем было поговорить. Во-первых, у меня не было никаких предложений. А во-вторых, я не знал, с кем мне теперь можно поговорить, а с кем уже нельзя. Много позже я спрашивал своих ребят: не показалось ли им что-нибудь странным в моем поведении в те жуткие (для меня) апрельские дни 99 года. Сандро тогда был погружен в тему «Рип ван Винкль» и сам пребывал в состоянии ошеломления, а потому ничего не заметил. Гриша Серосовин утверждал, будто я тогда был особенно склонен отмалчиваться и на все инициативы с его стороны отвечал загадочной улыбкой. А Кикин есть Кикин: ему уже тогда было «все ясно». Тойво же Глумова мое тогдашнее поведение, безусловно, должно было бесить. И бесило. Однако я и в самом деле не знал, что мне делать! Одного за другим я гнал своих сотрудников в

Институт Чудаков и каждый раз ждал, что из этого получится, и ничего не получалось, и я гнал следующего и снова ждал.

В это время Горбовский умирал у себя в Краславе.

В это время Атос-Сидоров готовился снова лечь в больницу, и не было уверенности, что он из больницы вернется.

В это время Даня Логовенко впервые после многолетнего перерыва напросился вдруг ко мне на чашку чая и целый вечер занимался воспоминаниями, болтая сущие пустяки.

В это время я ничего еще не решил.

И тут разразились события в Малой Пеше.

В ночь с 5 на 6 мая меня подняла с постели аварийная служба. В Малой Пеше (на реке Пеше, впадающей в Чешскую губу Баренцева моря) появились какие-то чудовища, вызвавшие взрыв паники среди населения поселка. Аварийная группа направлена, расследование проводится.

Согласно существующему порядку я обязан был отправить на место происшествия кого-нибудь из своих инспекторов. Я послал Тойво.

К сожалению, рапорт-доклад инспектора Глумова о событиях и о его действиях в Малой Пеше утрачен. Во всяком случае, мне не удалось его обнаружить. Между тем мне очень хотелось бы показать по возможности подробно, как Тойво проводил это расследование, и потому придется мне прибегнуть к реконструкции событий, основываясь на собственной памяти и на беседах с участниками этого происшествия. Нетрудно видеть, что предлагаемая реконструкция (а также и все последующие) содержит, кроме совершенно достоверных фактов, еще и кое-какие описания, метафоры, эпитеты, диалоги и прочие элементы художественной литературы. Все-таки мне надо, чтобы читатель увидел перед собою живого Тойво, каким я его помню. Тут одних документов недостаточно. Если угодно, впрочем, можно рассматривать мои реконструкции как свидетельские показания особого рода.

Малая Пеша. 6 мая 99 года. Раннее утро

Сверху поселок Малая Пеша выглядел так, как и должно было выглядеть этому поселку в четвертом часу утра. Сонно. Мирно. Пусто. Десяток разноцветных крыш полукругом, заросшая травой площадь, несколько стоящих вразброс глайдеров, желтый павильон клуба у обрыва над рекой. Река казалась неподвижной, очень холодной и неприветливой, клочья белесого тумана висели над камышами на той стороне.

На крыльце клуба, задравши голову, стоял человек и следил за глайдером. Лицо его показалось Тойво знакомым, и ничего удивительного в этом не было: Тойво знал многих аварийщиков — наверное, каждого второго.

Он посадил машину рядом с крыльцом и выпрыгнул на сырую траву. Утро здесь было холодное. На аварийщике была огромная уютная куртка с множеством специальных карманов, с гнездами для всяких их баллонов, регуляторов, гасителей, воспламенителей и прочих предметов, необходимых для исправного несения аварийной службы.

— Здравствуйте, — сказал Тойво. — Базиль, кажется?

— Здравствуйте, Глумов, — отозвался тот, протягивая руку. — Правильно. Базиль. Что это вы так долго?

Тойво объяснил ему, что нуль-Т здесь, в Малой Пеше, почему-то не принимает, его выбросило в Нижней Пеше, и пришлось ему взять там глайдер и лететь лишних сорок минут по-над рекой.

— Понятно, — сказал Базиль и оглянулся на павильон. — Я так и думал. Понимаете, они в панике эту нуль-кабину свою до такой степени изуродовали...

— Значит, никто до сих пор так и не вернулся?

— Никто.

— И больше ничего не происходило?

— Ничего. Наши закончили осмотр полтора часа назад, ничего существенного не нашли и отбыли домой делать анализы. Меня оставили, чтобы я никого не пускал, и я все это время чинил нуль-кабину.

— Починили?

— Скорее да, чем нет.

Коттеджи Малой Пеши были старинные, постройки прошлого века, утилитарная архитектура, натурированная органика, ядовито-яркие краски — от старости. Вокруг каждого коттеджа — непроглядные кусты смородины, сирени, заполярной клубники, а сразу же за полукольцом домов — лес, желтые стволы гигантских сосен, серо-зеленые от тумана хвойные кроны, а над ними, уже довольно высоко, — багровый диск солнца на юго-востоке...

— Что за анализы? — спросил Тойво.

— Ну, здесь осталось довольно много следов... Эта пакость вылезла, видимо, вон из того коттеджа и поползла во все стороны... — Базиль стал показывать руками. — На кустах, на траве, кое-где на верандах остались подсохшая слизь, какая-то чешуя, комья чего-то такого...

— Что вы видели сами?

— Ничего. Когда мы прибыли, здесь все было вот как сейчас, только туман над рекой стоял.

— Значит, свидетелей не осталось?

— Сначала мы думали, что удрали все поголовно. А потом оказалось: нет, вон в том домике, крайнем, на берегу, благополучно процветает в высшей степени пожилая особа, которая и не подумала удирать...

— Почему? — спросил Тойво.

— Понятия не имею! — ответил Базиль, задрав брови и разведя руки. — Представляете? Кругом паника, все мечутся в ужасе, дверцу нуль-кабины выворотили с корнем, а ей хоть бы хны... Прилетаем мы, разворачиваем свои боевые порядки, шашки наголо, багинеты примкнуты, и вдруг она выходит на крыльцо и этак строго просит нас вести себя потише, потому что, видите ли, своим галдежом мы мешаем ей спать!..

— А была ли паника? — спросил Тойво.

— Ну-ну-ну! — сказал Базиль, предупреждающе подняв ладонь. — Здесь было восемнадцать человек, когда все началось. Девять человек драпанули на глайдерах. Пятеро бежали через кабину. А трое без памяти кинулись в лес, заблудились там, и мы их еле нашли. Так что не сомневайтесь, была паника, была... Паника была, чудовища какие-то были, и следы остались. А вот почему старушка не напугалась, этого мы не знаем. Она вообще какая-то странная, эта старушка. Я своими ушами слышал, как она объявила командиру: «Слишком поздно вы сюда прибыли, голубчики. Ничем вы им теперь не поможете. Все они уже погибли...»

Тойво спросил:

— Что она имела в виду?

— Не знаю, — произнес Базиль недовольно. — Я же вам говорю: странная старушка.

Тойво посмотрел на ядовито-розовый коттедж, содержащий в себе странную старушку. Садик у этого коттеджа выглядел заметно более ухоженным. Рядом с коттеджем стоял глайдер.

— Я вам не советую ее беспокоить, — сказал Базиль. — Пусть лучше сама проснется, и уж тогда...

В этот момент Тойво почудилось за спиной движение, и он резко повернулся. Из дверей клуба выглядывало бледное лицо с широко раскрытыми испуганными глазами. Несколько секунд незнакомец молчал, затем бескровные его губы шевельнулись, и он проговорил сипловатым голосом:

— Глупейшая история, правда?

— Стоп-стоп-стоп! — добродушно заговорил Базиль, двинувшись на

него выставленными вперед ладонями. — Прошу прощения, но сюда нельзя. Аварийная служба.

Незнакомец тем не менее переступил через порог и сразу же остановился.

— Я, собственно, и не претендую, — сказал он и откашлялся. — Но обстоятельства... Скажите, Григорий с Элей уже вернулись?

Выглядел он достаточно необычно. На нем была меховая доха, под полами которой виднелись богато расшитые меховые сапоги. Доха была расстегнута на груди и открывала пеструю летнюю рубашку из микросетки, какие тогда предпочитали жители степной полосы. На вид ему было лет сорок — сорок пять, лицо простоватое и славное, только слишком уж бледное — то ли от испуга, то ли от смущения.

— Нет-нет, — ответствовал Базиль, надвинувшись на него вплотную. — Никто сюда не возвращался, здесь идет расследование, и мы никого сюда не пускаем...

— Подождите, Базиль, — сказал Тойво. — Кто это — Григорий с Элей? — спросил он у незнакомца.

— Кажется, я опять не туда попал... — проговорил незнакомец с каким-то даже отчаянием и оглянулся через плечо, где в глубине павильона отсвечивала полированными поверхностями кабина нуль-Т. — Простите, это... М-м-м... Ах ты господи, я опять забыл... Малая Пеша? Или нет?

— Это Малая Пеша, — сказал Тойво.

— Ну тогда вы же должны знать... Григорий Александрович Ярыгин... Как я понял, он живет здесь каждое лето... — Он вдруг обрадованно закричал, тыча рукой: — Вон же, вон тот коттедж! Вон на веранде мой плащ висит!..

Все тут же разъяснилось. Незнакомец оказался свидетелем. Звали его Анатолий Сергеевич Крыленко, и был он зоотехником, и работал он действительно в степной полосе — в Азгирском агрокомплексе. Вчера на ежегодной выставке новинок в Архангельске он совершенно случайно нос к носу столкнулся со своим школьным другом Григорием Ярыгиным, с которым не виделся вот уже лет десять. Естественно, Ярыгин потащил его к себе, сюда, в эту... эх, опять вылетело... ну да, в Малую Пешу. Они провели прекрасный вечер втроем — он, Ярыгин и жена Ярыгина Эля, катались на лодке, гуляли по лесу, часам к десяти вернулись домой, вон в тот коттедж, поужинали и расположились пить чай на веранде. Было совсем светло, с речки доносились детские голоса, и тепло было, и удивительно пахла заполярная клубника. А потом Анатолий Сергеевич Крыленко вдруг увидел глаза...

В этой, самой важной для дела, части своего рассказа Анатолий Сергеевич стал, мягко выражаясь, невнятен. Он словно бы тщился пересказать некий жуткий, запутанный сон.

Глаза глядели из сада... они надвигались, но все время оставались в саду... Два огромных, тошнотворных на вид глаза... По ним все время что-то текло... А слева, сбоку, был еще третий... Или три?.. И что-то валилось, валилось, валилось через перила веранды и уже подтекало к ступням... Причем двинуться было совершенно невозможно... Григорий пропал куда-то, Григория не видно. Эля где-то здесь, но ее тоже не видно, только слышно, как она истерически визжит... или хохочет... Тут дверь в комнату распахнулась. Комната по пояс примерно была заполнена шевелящимися студенистыми тушами, а глаза этих туш были там, снаружи, за кустами...

Тут Анатолий Сергеевич понял, что начинается самое страшное. Он выдернул ноги из приклеившихся к полу сандалий, перескочил через стол, вывалился в лес и, обежав дом... Нет, дом он не обегал... вот странно: выскочил он в лес, но оказался почему-то на площади... Он бежал куда глаза глядят и вдруг увидел павильон клуба, и из раскрытых дверей мелькнула в глаза ему сиреневая вспышка нуль-Т, и он понял, что спасен. Бомбой ворвался он в кабину и стал наугад тыкать пальцем в клавиши, пока не сработал автомат...

На этом трагедия кончилась, и началась скорее уж комедия. Нуль-транспортер выбросил Анатолия Сергеевича в поселок Рузвельт на острове Петра Первого. Это в море Беллинсгаузена, на градуснике минус сорок девять, скорость ветра восемнадцать метров в секунду, поселок по тамошнему зимнему времени пуст.

Впрочем, в клубе полярников автоматика задействована, тепло, уютно, а в баре прекрасной радугой светятся сосуды с жидкостями, предназначенными для озарения тьмы полярных ночей. Анатолий Сергеевич в своей пестренькой рубашечке и шортах, еще мокрый после чая и пережитого ужаса, получает необходимую передышку и помаленьку приходит в себя. И когда он приходит в себя, его прежде всего, как и следовало ожидать, охватывает непереносимый стыд. Он понимает, что бежал в панике, как последний трус, — о таких трусах ему приходилось разве что читать в исторических романах. Он вспоминает, что бросил Элю и по крайней мере еще одну женщину, которую заметил мельком в соседнем коттедже. Он вспоминает детские голоса на реке и понимает, что детей этих он тоже бросил. Отчаянный позыв к действию овладевает им, но вот что замечательно: позыв этот возникает далеко не сразу, а во-вторых, возникнув уже, он довольно долго сосуществует с непереносимым ужасом

при мысли о том, что надо вернуться туда, на веранду, в поле зрения кошмарных текучих глаз, к отвратительным студенистым тушам...

Ввалившаяся с мороза в клуб шумная компания гляциологов застала Анатолия Сергеевича тоскливо ломающим руки: он все еще не мог ни на что решиться. Гляциологи выслушали его рассказ вполне сочувственно и с энтузиазмом приняли решение вернуться на страшную веранду вместе с ним. Однако тут же выяснилось, что Анатолий Сергеевич не знает не только нуль-индекса поселка, но забыл и само название его. Он мог сказать только, что это недалеко от Баренцева моря, на берегу небольшой реки, в полосе заполярных сосняков. Тогда гляциологи спешно обрядили Анатолия Сергеевича в соответствии с местным климатом и сквозь свистящую пургу поволокли в штаб поселка напролом через чудовищные сугробы в компании гигантских звероподобных псов... И вот в штабе, перед терминалом БВИ, кому-то из полярников пришла в голову весьма здравая мысль о том, что дело-то тут не шуточное. Чудовища эти, безусловно, либо вырвались из какого-нибудь зверинца, либо — страшно подумать! — из какой-нибудь лаборатории, конструирующей биомеханизмы. В любом случае самодеятельность, ребята, тут просто неуместна, надо сообщить в аварийную службу.

И они сообщили в Центральную аварийную. В Центральной аварийной их поблагодарили и сказали, что принимают сообщение к сведению. Через полчаса дежурный Аварийной сам позвонил в штаб, сказал, что сообщение подтверждается, и попросил на связь Анатолия Сергеевича. Анатолий Сергеевич в самых общих чертах описал, что с ним произошло и как он оказался у берегов Антарктиды. Дежурный успокоил его в том смысле, что пострадавших нет, супруги Ярыгины живы и здоровы и что утром, вероятно, в Малую Пешу можно будет вернуться, а сейчас ему, Анатолию Сергеевичу, лучше всего принять что-нибудь успокоительное и лечь отдохнуть.

И Анатолий Сергеевич принял успокоительное и тут же в штабе прикорнул на диване, но не проспал и часу, как снова увидел текучие глаза над перилами веранды, услышал истерический хохот Эли и проснулся от невыносимого стыда.

— Нет, — сказал Анатолий Сергеевич, — они не удерживали меня. Видно, поняли мое состояние... Никогда не думал, что со мной может такое случиться. Я, конечно, не Следопыт и не Прогрессор... Но и у меня в жизни бывали острые ситуации, и я всегда вел себя вполне прилично... Я не понимаю, что со мной произошло. Пытаюсь объяснить это самому себе, и у меня ничего не получается... Словно наваждение какое-то... — Он вдруг

заметался глазами. — Вот сейчас говорю с вами, а внутри все ледяное... Может, мы все здесь чем-нибудь отравились?

— Вы не допускаете, что это была галлюцинация? — спросил Тойво.

Анатолий Сергеевич зябко передернул плечами и посмотрел в сторону ярыгинского коттеджа.

— Н-не знаю... — проговорил он. — Нет, ничего не могу сказать.

— Ладно, пойдемте посмотрим, — предложил Тойво.

— Мне с вами? — спросил Базиль.

— Не обязательно, — сказал Тойво. — Я тут буду долго ходить туда-сюда. А вы держите крепость.

— Пленных брать? — спросил Базиль деловито.

— Обязательно, — сказал Тойво. — Пленные мне нужны. Все, кто хоть что-нибудь видел своими глазами.

И они с Анатолием Сергеевичем двинулись через площадь. Анатолий Сергеевич вид имел решительный и деловой, но чем ближе он подходил к дому, тем напряженнее становилось его лицо, явственнее выступали желваки на скулах, а нижнюю губу он закусил, словно бы преодолевая сильную боль. И Тойво счел за благо дать ему передышку. Шагах в пятидесяти от живой изгороди он остановился — будто бы для того, чтобы еще раз осмотреть окрестности, — и принялся задавать вопросы. А был ли кто-нибудь вон в том коттедже, справа? Ах, там было темно... А слева? Женщина... Да-да, помню, вы говорили... Одна только женщина и больше никого? А глайдера тут поблизости не было?

Тойво задавал вопросы, Анатолий Сергеевич отвечал, а Тойво кивал с важным видом и всячески показывал, как существенно для расследования все то, что он слышит. И постепенно Анатолий Сергеевич приободрился, расслабился внутренне, и они вступили на веранду уже почти как коллеги.

На веранде был беспорядок. Стол стоял косо, один из стульев опрокинут, сахарница закатилась в угол, оставив за собой дорожку сахарного песка. Тойво потрогал чаеварку — она была еще горячая. Он искоса глянул на Анатолия Сергеевича. Тот опять был бледен и играл желваками. Он смотрел на пару сандалий, сиротливо прижавшихся друг к другу под дальним стулом. По-видимому, это были его сандалии. Они были застегнуты, и непонятным казалось, как это Анатолию Сергеевичу удалось выдрать из них ноги. Впрочем, никаких потеков ни на них, ни под ними, ни где-нибудь рядом Тойво не видел.

— Домашних киберов здесь, видимо, не признают, — произнес Тойво деловито, чтобы вернуть Анатолия Сергеевича из мира пережитого ужаса в мир будничного быта.

— Да... — пробормотал тот. — То есть... Да кто их сейчас признает?.. Видите — мои сандалии...

— Вижу, — отозвался Тойво равнодушно. — Рамы здесь так и были все подняты?

— Не помню. Вон та была поднята, я там выпрыгивал.

— Понятно, — сказал Тойво и выглянул в садик.

Да, следы здесь были, следов было много: помятые и поломанные кусты, изуродованная клумба, а трава под перилами выглядела так, словно на ней кони валялись. Если здесь побывали животные, то животные неуклюжие, громоздкие, и к дому они отнюдь не подкрадывались, а перли напролом. С площади, через кустарник наискосок и через раскрытые окна прямо в комнаты...

Тойво пересек веранду и толкнул дверь в дом. Никакого беспорядка там не обнаруживалось. Точнее, того беспорядка, какой должны были бы вызвать тяжелые, неповоротливые туши.

Диван. Три кресла. Столика не видно — надо полагать, встроенный. Пульт только один — в подлокотнике хозяйского кресла. Сервисы — системы «поликристалл» — в остальных креслах и в диване. На передней стене — левитановский пейзаж, старинная хромофотоновая копия с трогательным треугольничком в левом нижнем углу, чтобы, упаси бог, какой-нибудь знаток не принял за оригинал. А на стене слева — рисунок пером в самодельной деревянной рамке, сердитое женское лицо. Красивое, впрочем...

При более внимательном осмотре Тойво обнаружил отпечатки подошв на полу: видимо, кто-то из аварийщиков осторожненько прошел через гостиную в спальню. Обратных следов не было видно, аварийщик вылез наружу через окно в спальне. Так вот, пол в гостиной был покрыт довольно толстым слоем тончайшей коричневатой пыли. И не только пол. Сиденья кресел. Подоконники. Диван. А на стенах этой пыли не было.

Тойво вернулся на веранду. Анатолий Сергеевич сидел на ступеньках крыльца. Полярную доху он сбросил, а меховые сапоги сбросить, видимо, забыл и потому являл собою вид довольно нелепый. К сандалиям своим он даже не прикоснулся, они так и остались под стулом. Потеков никаких вблизи них не было, но и сами они, и пол рядом — все было основательно припудрено все той же коричневатой пылью.

— Ну, как вы тут? — спросил Тойво еще с порога.

Все равно Анатолий Сергеевич вздрогнул и резко обернулся.

— Да вот... понемножку прихожу в себя...

— Вот и прекрасно. Забирайте свой плащ и отправляйтесь-ка вы

домой. Или хотите дождаться Ярыгиных?

— Не знаю даже, — сказал Анатолий Сергеевич нерешительно.

— Как угодно, — сказал Тойво. — Во всяком случае, никаких опасностей здесь нет и не будет.

— Вы поняли что-нибудь? — спросил Анатолий Сергеевич, поднимаясь.

— Кое-что. Чудовища здесь действительно были, но на самом деле они не опасны. Напугать могут, и не более того.

— То есть вы хотите сказать, это искусственное?

— Похоже на то.

— Но зачем? Кто?

— Будем выяснять, — сказал Тойво.

— Вы будете выяснять, а они тем временем еще кого-нибудь... напугают.

Анатолий Сергеевич взял с перил плащ и постоял, разглядывая свои меховые сапоги. Казалось, сейчас он снова сядет и примется их с себя яростно сдирать. Но он, наверное, и не видел их даже.

— Вы говорите, напугать могут... — процедил он, не поднимая глаз. — Если бы — напугать! Они, знаете ли, сломать могут!

Он быстро глянул на Тойво и, отведя глаза, не оборачиваясь более, пошел спускаться по ступенькам и дальше, по измятой траве, через изуродованную изгородь, наискосок через площадь, сгорбленный, нелепый в длинных меховых сапогах полярника и веселенькой, пестрой рубашечке скотовода, пошел, все убыстряя шаги, к желтому павильону клуба, но на полдороге круто свернул влево, вскочил в глайдер, стоявший перед соседним коттеджем, и свечой взлетел в бледно-синее небо.

Шел пятый час утра.

Это первый мой опыт реконструкции. Я очень старался. Работа моя осложнялась тем, что я никогда не бывал в Малой Пеше в те давние времена, однако же в моем распоряжении осталось достаточное количество видеозаписей, сделанных Тойво Глумовым, аварийщиками и командой Флеминга. Так что за топографическую точность я, во всяком случае, ручаюсь. Считаю возможным для себя поручиться и за точность диалогов.

Помимо прочего, мне хотелось здесь продемонстрировать, как выглядело тогда типичное начало типичного расследования. Происшествие. Аварийщики. Выезд инспектора из отдела ЧП. Первое впечатление (чаще всего оно правильное): чье-то разгильдяйство либо неумная шутка. И нарастающее разочарование: опять не то, опять

пустышка, хорошо бы махнуть на все это рукой и отправиться домой досыпать... Впрочем, этого в моей реконструкции нет. Это предлагается домыслить.

Теперь несколько слов о Флеминге.

Это имя несколько раз появится в моем мемуаре, но я спешу предупредить, что никакого отношения к Большому Откровению этот человек не имел. В то время имя Александра Джонатана Флеминга было притчей во языцех в КОМКОНе-2. Он был крупнейшим специалистом по конструированию искусственных организмов. В своем базовом институте в Сиднее, а также в многочисленных филиалах этого института он с неописуемым трудолюбием и дерзостью выпекал великое множество диковиннейших существ, на создание которых не хватило фантазии у Матушки-Природы. Его сотрудники в рвении своем постоянно нарушали существующие законы и ограничения Всемирного совета в области пограничного эксперимента. При всем нашем невольном чисто человеческом восхищении гением Флеминга мы его терпеть не могли за беспардонность, бессовестность и напористость, удивительно сочетающуюся с увертливостью. Ныне каждый школьник знает, что такое биокомплексы Флеминга или, скажем, живые колодцы Флеминга. А в те времена его известность у широкой публики носила характер скорее скандальный.

Для моего изложения важно, что один из внучатых филиалов Сиднейского института Флеминга располагался как раз в устье Пеши, в научном поселке Нижняя Пеша, всего в сорока километрах от Пеши Малой. И, узнав об этом, мой Тойво, насколько я его понимал, не мог не насторожиться и не сказать себе мысленно: «Ага, вот чья это работа!..»

Да, кстати. Упоминающиеся ниже крабораки — это одно из полезнейших созданий Флеминга, которые впервые появились у него на свет, когда он был еще молодым работником на рыбоферме на Онежском озере. Крабораки эти оказались существами поразительными по своим вкусовым качествам, но на всем Севере прижились почему-то только в маленьких ручьях-притоках Пеши.

Малая Пеша. 6 мая 99 года. 6 часов утра

5 мая около одиннадцати вечера в дачном поселке Малая Пеша (тринадцать коттеджей, восемнадцать жителей) возникла паника. Причиной паники послужило появление в поселке некоторого (неизвестного) числа

квазибиологических существ чрезвычайно отталкивающего и даже страшного вида. Существа эти двинулись на поселок из коттеджа № 7 по девяти четко обнаруживаемым направлениям. Прослеживаются эти направления по смятой траве, поврежденным кустарникам, по пятнам высохшей слизи на листве, на плитах облицовки, на наружных стенах домов и на подоконниках. Все девять маршрутов заканчиваются внутри жилых помещений, а именно: в коттеджах № 1, 4, 10 (на верандах), 2, 3, 9, 12 (в гостиных), 6 и 13 (в спальнях). Коттеджи № 4 и 9, судя по всему, необитаемы...

Что же касается коттеджа № 7, откуда началось нашествие, то там явно кто-то жил, и оставалось установить только, что этот кто-то такое — дурацкий шутник или безответственный растяпа? Нарочно он запустил эмбриофоры или прозевал самозапуск? Если прозевал, то по преступной небрежности или по невежеству?

Две вещи, однако же, смущали. Тойво не нашел никаких следов оболочек эмбриофор. Это раз. А во-вторых, ему поначалу никак не удавалось обнаружить данные о личности обитателя коттеджа № 7. Или обитателей.

К счастью, Ойкумена наша устроена в общем вполне справедливо. На площади вдруг послышались громкие негодующие голоса, и через минуту выяснилось, что искомый обитатель появился в центре событий сам, собственной персоной, и вдобавок не один, а с гостем.

Это оказался коренастый, весь какой-то чугунный на вид мужчина в походном комбинезоне и с брезентовым мешком, из которого доносились странные шуршащие и скрипящие звуки. Гость же его очень живо напомнил Тойво старого доброго Дуремара только что из пруда тетки Тортилы — длинный, длинноволосый, длинноносый, тощий, в неопределенной хламиде, облепленной подсыхающей тиной. Немедленно выяснилось, что чугунного обитателя зовут Эрнст Юрген, работает он оператором-ортомастером на Титане, на Земле в отпуске... каждый год два месяца он на Земле в отпуске, один месяц зимой, один — летом, и летом всегда здесь, на Пеше, вот в этом самом коттедже... Какие еще чудовища? Кого вы, собственно, имеете в виду, молодой человек? Какие могут быть чудовища в Малой Пеше, сами подумайте, а еще аварийщик называется, делать вам нечего, что ли?..

Дуремар же, напротив, оказался существом вполне земным. Мало того, существом почти местным. Фамилия его была Толстов, а звали его Лев Николаевич. Но замечательным было в нем другое. Он, оказывается, постоянно живет и работает всего в сорока километрах отсюда, в Нижней

Пеше, где, оказывается, вот уже несколько лет функционирует филиальчик фирмы небезызвестного Флеминга!..

Еще оказалось, что этот Эрнст Юрген и старинный его друг Лева Толстов — страстные гурманы. Ежегодно они встречаются здесь, в Малой Пеше, потому что в пяти километрах выше по течению в Пешу впадает маленький приток, где водятся какие-то крабораки. Именно поэтому он, Эрнст Юрген, проводит свой отпуск в Малой Пеше, именно поэтому он с другом своим, Левой Толстовым, отбыли вчера ранним вечером на лодке ловить крабораков, и именно поэтому они с Левой были бы очень признательны аварийной службе, если бы сейчас их оставили в покое, ибо крабораки (Эрнст Юрген потряс тяжелым мешком, издающим странные звуки) бывают только одной свежести, а именно самой первой...

Этот забавный шумный человек никак не мог представить себе, что на Земле — не у них там на Титане, не на Пандоре где-нибудь, не на Яйле, — нет, на Земле! в Малой Пеше! — случаются события, способные вызвать страх и панику. Любопытнейший тип космопроходца-профессионала! Видит же, что поселок пуст, видит перед собой аварийщика, представителя КОМКОНа-2 видит и авторитета их не отрицает, но объяснения всему этому готов искать в чем угодно, лишь бы не признавать, что на родной его, теплой Земле не все может оказаться в порядке... Затем, когда его все-таки удалось убедить, что ЧП и в самом деле имело место, он обиделся — расстроился как ребенок, надул губы, ушел от всех, волоча по земле мешок с драгоценными крабораками, и уселся боком к ним на своем крыльце, отвернувшись от всех, не желая больше никого видеть, не желая больше ничего слышать, время от времени пожимая плечами и взрыкивая: «Отдохнул, называется... Раз в год приедешь, и то... Это же придумать такое надо!..»

Тойво, впрочем, интересовала больше реакция друга его, Льва Николаевича Толстова, работника Флеминга, специалиста по конструированию и запуску в существование искусственных организмов. А реакция у специалиста была такая. Сначала — полное непонимание, беспорядочное лупанье глазами и неуверенная улыбка человека, подозревающего, что его разыгрывают, да еще и не слишком умно. Далее: озадаченно сдвинутые брови, взор, пустой и обращенный будто бы внутрь себя, и задумчивые движения нижней челюстью. И наконец — вспышка профессионального негодования. Да вы понимаете, о чем говорите? Вы имеете хоть какое-то представление о предмете? Вы вообще видели когда-нибудь искусственное существо? Ах, только в хронике? Так вот, нет и не может быть искусственных существ, которые способны забираться через

окна в спальни людей. Прежде всего, они медлительны и неуклюжи и если уж двигаются, то не к людям, а от людей, ибо естественное биополе им противопоказано, даже кошачье биополе... Далее, что значит «размером примерно с корову»? Вы бы хоть попытались прикинуть, какая энергия нужна эмбриофору, чтобы развиться в такую массу хотя бы и за час. Да здесь бы ничего не осталось, никаких коров бы не осталось, это выглядело бы просто как взрыв!..

Допускает ли он, что здесь были задействованы эмбриофоры неизвестного ему типа?

Ни в коем случае. Таких эмбриофоров в природе не существует.

Что же здесь произошло, по его мнению?

Лев Толстов не понимал, что здесь произошло. Ему надо было осмотреться, чтобы прийти к каким-нибудь выводам.

Тойво оставил его осматриваться, а сам вместе с Базилем отправился в клуб, чтобы перекусить. Они съели по бутерброду с холодным мясом, и Тойво принялся варить кофе. И тут:

— В-в-в! — произнес вдруг Базиль с набитым ртом.

Он сделал мощный глоток и, глядя мимо Тойво, рявкнул свежим голосом:

— Стоп машина! Ты куда это нацелился, сынок?

Тойво обернулся.

Это был мальчишка лет двенадцати, лопоухий и загорелый, в шортиках и курточке-распашонке. Зычный оклик Базиля остановил его у самого выхода из павильона.

— Домой, — сказал он с вызовом.

— А подойди-ка сюда, пожалуйста! — сказал Базиль.

Мальчик приблизился и остановился, заложив руки за спину.

— Ты здесь живешь? — спросил Базиль вкрадчиво.

— Мы здесь жили, — ответил мальчик. — В шестерке. Теперь больше жить не будем.

— Кто это — мы? — спросил Тойво.

— Я, мама и отец. Вернее, мы здесь были на даче, а живем мы в Петрозаводске.

— А где же мама и отец?

— Спят. Дома.

— Спят... — повторил Тойво. — Как тебя зовут?

— Кир.

— Твои родители знают, что ты здесь?

Кир помялся, переступил с ноги на ногу и сказал:

— Я сюда только на минутку вернулся. Мне надо забрать галеру, я ее целый месяц мастерил.

— Галеру... — повторил Тойво, рассматривая его.

Лицо мальчика ничего не выражало, кроме терпеливой скуки. По всему было видно, что озабочен он только одним: поскорее забрать свою галеру и вернуться домой, пока родители не проснулись.

— Когда вы уехали отсюда?

— Нынче ночью. Все отсюда уезжали, и мы тоже. А галеру забыли.

— Почему же вы уехали?

— Была паника. Вы что, не знаете? Тут такое было! И мама напугалась, а отец сказал: «Ну, знаете ли, поехали отсюда домой». Сели в глайдер и улетели... Так я пойду? Или нельзя?

— Погоди минутку. Почему была паника, как ты считаешь?

— Потому что появились эти животные. Вышли из леса... или из реки. Все почему-то их испугались, забегали... Я спал, меня мама разбудила.

— А ты не испугался?

Он дернул плечом:

— Ну и я испугался сначала... со сна... Все вопят, все орут, все бегают, ничего не понять...

— А потом?

— Я же говорю: мы сели в глайдер и улетели.

— Животных этих ты видел?

Он вдруг засмеялся.

— Видел, конечно... Одно прямо в окошко влезло, рогатое такое, только рога не твердые, а как у улитки... очень потешное...

— То есть ты сам не испугался?

— Нет, я же вам говорю: испугался, конечно, что я вам врать буду? Мама вбежала вся белая, я думал — несчастье какое-нибудь... Думал, с папой что-нибудь...

— Понятно, понятно. Но животных-то этих ты не испугался?

Кир сказал с досадой:

— Да почему их надо бояться? Они же добрые, смешные... Они же мягкие, шелковистые такие, как мангусты, только без шерстки... А то, что они большие, — так что же? Тигр тоже большой, так что же, я его бояться должен, что ли? Слон большой, кит большой... Дельфины большие бывают... А эти животные ну никак не больше дельфина, и ласковые они такие же...

Тойво посмотрел на Базиля. Базиль, отвесив челюсть, слушал странного мальчика, держа на весу надкушенный бутерброд.

— И пахнут они хорошо! — продолжал Кир горячо. — Они ягодами пахнут! Я думаю, они ягодами и питаются... Их бы надо приручить, а бегать от них... чего ради? — Он вздохнул. — Теперь они ушли, наверное. Ищи их теперь в тайге... Еще бы! Так на них все орали, топали, махали руками! Конечно, они испугались! А теперь попробуй их примани...

Он опустил голову и предался горестным размышлениям. Тойво сказал:

— Понятно. Однако родители с тобой не согласны? Так?

Кир махнул рукой:

— Да уж... Отец еще ничего, а мама категорически: ни ногой, никогда, ни за что! И мы теперь улетаем на Курорт. А они ведь там не водятся... Или водятся? Как они называются, вы не знаете?

— Не знаю, Кир, — сказал Тойво.

— Но здесь ни одного не осталось?

— Ни одного.

— Так я и думал, — сказал Кир. Он снова вздохнул и спросил: — Можно мне взять свою галеру?

Базиль наконец пришел в себя. Он шумно поднялся и произнес:

— Пойдем, я тебя провожу. Так? — спросил он Тойво.

— Конечно, — ответил тот.

— Зачем это меня провожать? — возмущенно осведомился Кир, но Базиль уже возложил длань свою на его плечо.

— Пойдем, пойдем, — сказал он. — Всю жизнь я мечтал посмотреть настоящую галеру.

— Она не настоящая же, она модель...

— Тем более. Всю жизнь мечтал посмотреть модель настоящей галеры...

Они ушли. Тойво выпил чашечку кофе и тоже вышел из павильона.

Солнце уже заметно припекало, на небе не было ни облачка. Над пышной травой площади мерцали синие стрекозы. И сквозь это металлическое мерцанье, подобно диковинному дневному привидению, плыла к павильону величественная старуха с выражением абсолютной неприступности на коричневом узком лице.

Поддерживая (дьявольски элегантно) коричневой птичьей лапой подол глухого снежно-белого платья, она, словно бы и не касаясь травы, подплыла к Тойво и остановилась, возвышаясь над ним по крайней мере на голову. Тойво почтительно поклонился, и она кивнула в ответ — вполне, впрочем, благосклонно.

— Вы можете звать меня Альбиной, — милостиво произнесла она

приятным баритоном.

Тойво поспешил представиться. Она наморщила коричневый лоб под пышной шапкой белых волос:

— КОМКОН? Ну что ж, пусть КОМКОН. Будьте любезны, Тойво, скажите мне, пожалуйста, как вы у себя в этом самом КОМКОНе все это объясняете?

— Что именно вы имеете в виду? — спросил Тойво.

Этот вопрос несколько раздражил ее.

— Я имею в виду, мой дорогой, вот что, — сказала она. — Как могло случиться, что в наше время, в конце нашего века, у нас на Земле живые существа, воззвавшие к человеку о помощи и милосердии, не только не обрели ни милосердия, ни помощи, но сделались объектом травли, запугивания и даже активного физического воздействия самого варварского толка? Я не хочу называть имен, но они били их граблями, они дико кричали на них, они даже пытались давить их глайдерами. Я никогда не поверила бы этому, если бы не видела своими глазами. Вам знакомо такое понятие — дикость? Так вот это была дикость! Мне стыдно.

Она замолчала, не сводя с Тойво пронзительного взгляда свирепых, угольно-черных, очень молодых глаз. Она ждала ответа, и Тойво пробормотал:

— Вы позволите мне вынести для вас кресло?

— Не позволю, — сказала она. — Я не собираюсь здесь с вами рассиживаться. Я желала бы услышать ваше мнение о том, что произошло с людьми в этом поселке. Ваше профессиональное мнение. Вы кто? Социолог? Педагог? Психолог? Так вот, извольте объяснить! Поймите, речь идет не о каких-то там санкциях. Но мы должны понять, как это могло случиться, что люди, еще вчера цивилизованные, воспитанные... я бы даже сказала, прекрасные люди!.. сегодня вдруг теряют человеческий облик! Вы знаете, чем отличается человек от всех других существ в мире?

— Э... разумностью? — предположил Тойво наобум.

— Нет, мой дорогой! Милосердием! Ми-ло-сер-ди-ем!

— Ну безусловно, — сказал Тойво. — Но откуда же следует, что давешние эти существа нуждались именно в милосердии?

Она посмотрела на него с отвращением.

— Вы сами-то видели их? — спросила она.

— Нет.

— Так как же вы беретесь об этом судить?

— Я не берусь судить, — сказал Тойво. — Я как раз хочу установить, чего они хотели...

— По-моему, я вам довольно ясно сказала, что эти живые существа, эти бедняги искали у нас помощи! Они находились на краю гибели! Они должны были вот-вот погибнуть! Они же ведь погибли, вы что же, не знаете этого? Все до единого! На моих глазах они умирали и превращались в ничто, в прах, и я ничего не могла поделать — я балерина, а не биолог, не врач. Я звала, но разве кто-нибудь мог меня услышать в этом шабаше, в этом разгуле дикости и жестокости?.. А потом, когда помощь наконец прибыла, было уже поздно, никого уже не осталось в живых. Никого! А эти дикари... Я не знаю, как объяснить их поведение... Может быть, это был массовый психоз... отравление... Я всегда была против употребления в пищу грибов... Наверное, придя в себя, они устыдились и разбежались кто куда! Вы нашли их?

— Да, — сказал Тойво.

— Вы говорили с ними?

— Да. С некоторыми. Не со всеми.

— Так скажите же мне, что с ними произошло? Каковы ваши выводы, хотя бы предварительные?..

— Видите ли... сударыня...

— Вы можете называть меня Альбиной.

— Благодарю вас. Видите ли, в чем дело... Дело в том, что, насколько мы можем судить, большинство ваших соседей восприняли это нашест... это событие несколько иначе, чем вы.

— Естественно! — высокомерно произнесла Альбина. — Я это видела своими глазами!

— Нет-нет. Я хочу сказать: они испугались. Они до смерти испугались. Они себя не помнили от ужаса. Они даже боятся сюда вернуться. Некоторые вообще хотят бежать с Земли после пережитого. И насколько я понимаю, вы — единственный человек, услышавший мольбы о помощи...

Она слушала величественно, но внимательно.

— Что же, — проговорила она. — По-видимому, им так стыдно, что приходится ссылаться на страх... Не верьте им, мой дорогой, не верьте! Это самая примитивная, самая постыдная ксенофобия... Наподобие расовых предрассудков. Я помню, в детстве я истерически боялась пауков и змей... Здесь — то же самое.

— Очень может быть. Но вот что мне хотелось бы все-таки уточнить. Они просили о помощи, эти существа. Они нуждались в милосердии. Но в чем это выражалось? Ведь, насколько я понимаю, они не говорили, не стонали даже...

— Дорогой мой! Они были больны, они умирали! Ну и что же, что они

умирали молча? Выброшенный на сушу дельфинчик тоже ведь не издает ни звука... Во всяком случае, мы его не слышим... Но ведь нам понятно, что он нуждается в помощи, и мы спешим на помощь... Вот идет мальчик, вы отсюда не слышите, что он говорит, но вам понятно, что он бодр, весел, счастлив...

От коттеджа номер шесть к ним приближался Кир, и он действительно был явно бодр, весел и счастлив. Базиль, шагавший рядом с ним, почтительно нес в руках большую черную модель античной галеры и, кажется, задавал соответствующие вопросы, а Кир отвечал ему, показывая руками какие-то размеры, какие-то формы, какие-то сложные взаимодействия. Похоже, Базиль и сам был большим любителем-моделистом античных галер.

— Позвольте, — произнесла Альбина, приглядевшись. — Но это же Кир!

— Да, — сказал Тойво. — Он вернулся за своей моделью.

— Кир добрый мальчик, — заявила Альбина. — Но отец его вел себя омерзительно... Здравствуй, Кир!

Увлеченный Кир только теперь заметил ее, остановился и робко сказал: «Доброе утро...» Оживление исчезло с его лица. Как, впрочем, и с лица Базиля.

— Как себя чувствует твоя мама? — осведомилась Альбина.

— Спасибо. Она спит.

— А папа? Где твой отец, Кир? Он где-нибудь здесь?

Кир молча покрутил головой и насупился.

— А ты все время оставался здесь? — с восхищением воскликнула Альбина и победоносно посмотрела на Тойво.

— Он вернулся за своей моделью, — напомнил тот.

— Это все равно. Ты ведь не побоялся сюда вернуться, Кир?

— Да чего их бояться-то, бабушка Альбина? — сердито проворчал Кир, бочком-бочком целясь обойти ее стороной.

— Не знаю, не знаю, — сказала Альбина сварливо. — Вот папа твой, например...

— Папа не испугался ничуть. Вернее, он испугался, но только за маму и за меня. Просто в этой суматохе он не понял, какие они добрые...

— Не добрые, а несчастные! — поправила его Альбина.

— Да какие несчастные, бабушка Альбина? — возмутился Кир, смешно разводя руки жестом неумелого трагика. — Они же веселые, они же играть хотели! Они же так и ластились!

Бабушка Альбина снисходительно улыбалась.

Не могу удержаться от того, чтобы не подчеркнуть сейчас же обстоятельство, очень точно характеризующее Тойво Глумова как работника. Будь на его месте зеленый стажер, он после беседы с Дуремаром решил бы, что тот темнит и путает и что картина в общем и целом совершенно ясна: Флеминг создал эмбриофор нового типа, чудовища его вырвались на волю, можно благополучно отправляться досыпать, а поутру доложить начальству.

Опытный работник, например Сандро Мтбевари, тоже не стал бы распивать с Базилем кофе: эмбриофор нового типа — это не шутка, он бы немедленно разослал двадцать пять запросов во все мыслимые инстанции, а сам бы кинулся в Нижнюю Пешу брать за хрип флеминговских хулиганов и разгильдяев, пока они не приготовились там строить из себя оскорбленную невинность. Тойво Глумов не двинулся с места. Почему? Он почуял запах серы. Не запах даже — так, легкий запашок. Небывалый эмбриофор? Да, конечно, это серьезно. Но это не есть запах серы. Истерическая паника? Ближе. Существенно теплее. Но самое главное — странная старушка из коттеджа номер один. Вот! Паника, истерика, бегство, аварийщики, а она просит не галдеть и не мешать ей спать. Вот это уже не поддавалось традиционным объяснениям. Тойво и не пытался это объяснять. Он просто остался дожидаться, пока она встанет, чтобы задать ей несколько вопросов. Он остался и был вознагражден. «Если бы не вздумалось мне позавтракать с Базилем, — рассказывал он потом, — если бы я отправился к вам на доклад сразу же после интервью с этим Толстовым, я бы так и остался под впечатлением, будто в Малой Пеше не произошло ничего загадочного, кроме дикой паники, вызванной нашествием искусственных животных. И тут появились мальчик Кир и бабушка Альбина и внесли существенный диссонанс в эту стройную, но примитивную схему...»

«Вздумалось позавтракать» — так он выразился. Скорее всего, для того, чтобы не тратить времени на попытки выразить словами те смутные и тревожные ощущения, которые и заставили его задержаться.

Малая Пеша. Тот же день. 8 часов утра

Кир с галерой на руках кое-как втиснулся в кабину нуль-Т и исчез в свой Петрозаводск. Базиль снял свою чудовищную куртку, повалился на траву в тенечке и, кажется, задремал. Бабушка Альбина уплыла в коттедж номер один.

Тойво не стал заходить в павильон, он просто сел на траву, скрестивши ноги, и стал ждать.

В Малой Пеше ничего особенного не происходило. Чугунный Юрген время от времени взревывал из недр своего коттеджа номер семь — что-то насчет погоды, что-то насчет реки и что-то насчет отпуска. Альбина, по-прежнему вся в белом, появилась у себя на веранде и уселась под тентом. Донесся ее голос, мелодичный и негромкий, — видимо, она разговаривала по видеофону. Несколько раз в поле зрения появлялся Дуремар Толстов. Он сновал между коттеджами, то и дело приседая на корточки, разглядывая землю, зарывался в кусты, иногда даже перемещался на четвереньках.

В половине восьмого Тойво поднялся, вошел в клуб и связался по видео с мамой. Обычный контрольный звонок. Он опасался, что день будет очень занятой и другого времени позвонить не найдется. Они поговорили о том о сем... Тойво рассказал, что встретил здесь престарелую балерину по имени Альбина. Не та ли это Альбина Великая, о которой ему все уши прожужжали в детстве? Они обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это вполне возможно, а вообще-то была еще одна великая балерина Альбина, лет на пятьдесят старше Альбины Великой... Потом они распрощались до завтра.

Снаружи донесся зычный рев: «А раки? Лева, раки же!..»

Лева Толстов быстрым шагом приближался к клубу, раздраженно отмахиваясь левой рукой; правой он прижимал к груди какой-то объемистый пакет. У входа в павильон он приостановился и визгливым фальцетом провопил в сторону коттеджа номер семь: «Да вернусь я! Скоро!» Тут он заметил, что Тойво смотрит на него, и объяснил, словно бы извиняясь:

— На редкость странная история. Надо все-таки разобраться.

Он скрылся в кабине нуль-Т, и еще некоторое время не происходило совсем ничего. Тойво решил ждать до восьми часов.

Без пяти восемь из-за леса вынырнул глайдер, сделал несколько кругов над Малой Пешей, постепенно снижаясь, и мягко сел перед коттеджем номер десять, тем самым, где, судя по обстановке, обитала семья живописца. Из глайдера выпрыгнул рослый молодой мужчина, легко взбежал по ступенькам на веранду и крикнул, обернувшись: «Все в порядке! Никого и ничего!» Пока Тойво шел к ним через площадь, из глайдера вышла молоденькая женщина с коротко остриженными волосами, в фиолетовой хламидке выше колен. Она не стала подниматься на крыльцо, она осталась стоять возле глайдера, держась рукой за дверцу.

Как выяснилось, живописцем в этой семье была как раз женщина, ее

звали Зося Лядова, и это ее автопортрет, оказывается, Тойво видел в коттедже у Ярыгиных. Было ей лет двадцать пять — двадцать шесть, она училась в Академии, в студии Комовского-Корсакова и ничего значительного пока еще не создала. Она была красива, гораздо красивее своего автопортрета. Чем-то она напомнила Тойво его Асю — правда, никогда в жизни не видел он свою Асю такой напуганной.

А мужчину звали Олег Олегович Панкратов, и был он лектором Сыктывкарского учебного округа, а до того, на протяжении почти тридцати лет, был астроархеологом, работал в группе Фокина, участвовал в экспедиции на Кала-и-Муг (она же «парадоксальная планета Морохаси») и вообще повидал белый свет, а равно и черный, серый и всяких иных оттенков. Очень спокойный, даже несколько флегматичный мужчина, руки как лопаты, надежный, прочный, основательный, бульдозером не сдвинешь, и лицом при этом бел и румян, синие глаза, нос картофелиной и русая бородища, как у Ильи Муромца...

И ничего удивительного не было в том, что во время ночных событий супруги вели себя совершенно по-разному. Олег Олегович при виде живых мешков, лезущих в окно спальни, удивился, конечно, но никакого испуга не испытал. Может быть, потому что сразу вспомнил о филиальчике в Нижней Пеше, куда он в свое время несколько раз наведывался, да и сам вид чудовищ не вызвал в нем ощущения опасности. Гадливость — вот что он испытал главным образом. Гадливость и отвращение, но никак не страх. Упершись ладонями, он не впустил эти мешки в спальню, выпихнул их обратно в сад, и это было противно, скользко, липко, они были неприятно податливо-упруги под ладонями, эти мешки, больше всего они напоминали внутренности какого-то огромного животного. Он тогда заметался по спальне, пытаясь сообразить, чем вытереть руки, но тут на веранде закричала Зося, и ему стало не до брезгливости...

Да, все мы вели себя не лучшим образом, но все-таки распускаться так, как некоторые, нельзя. Ведь до сих пор кое-кто не может в себя прийти. Фролова нам пришлось уложить в больницу прямо в Суле, его отдирали от глайдера по частям, совершенно потерял себя... А Григоряны с детьми в Суле и задерживаться не стали, бросились в нуль-кабину все вчетвером и отправились прямо в Мирза-Чарле. Григорян крикнул на прощанье: «Куда угодно, только бы подальше и навсегда!..»

А Зося вот Григорянов понимала очень хорошо. Ей лично такого ужаса никогда испытывать не приходилось. И совсем не в том было дело, опасны эти животные или нет. «Если нас всех гнал ужас... Не вмешивайся, Олег, я говорю о нас, простых, неподготовленных людях, а не о таких громобоях,

как ты... Если нас всех гнал ужас, то вовсе не потому, что мы боялись быть съеденными, задушенными, заживо переваренными и все такое прочее... Нет, это было совсем другое ощущение!» Зося затруднялась охарактеризовать это ощущение сколько-нибудь точно. Наиболее удобопонятной оказалась такая ее формулировка: это был не ужас, это было ощущение полной несовместимости, невозможности пребывания в одном объеме пространства с этими тварями. Но самым интересным в ее рассказе было совсем другое.

Оказывается, они были еще и прекрасны, эти чудовища! Они были настолько страшны и отвратны, что представлялись своего рода совершенством. Совершенством безобразия. Эстетический стык идеально безобразного и идеально прекрасного. Где-то когда-то было сказано, что идеальное безобразие якобы должно вызывать в нас те же эстетические ощущения, что и идеальная красота. До вчерашней ночи это всегда казалось ей парадоксом. А это не парадокс! Либо она такой уж испорченный человек?..

Она показала Тойво свои зарисовки, сделанные по памяти спустя два часа после паники. Они с Олегом заняли какой-то пустующий домик в Суле, и сначала Олег отпаивал ее тоником и пытался привести в чувство психомассажем, но это все не помогало, и тогда она схватила лист бумаги, какое-то отвратительное стило, жесткое и корявое, и стала торопливо, линия за линией, тень за тенью, переносить на бумагу то, что кошмаром маячило перед глазами, заслоняя реальный мир...

Ничего особенного на рисунках не обнаруживалось. Паутина линий, угадываются знакомые предметы: перила веранды, стол, кусты, а поверх всего — размытые тени неопределенных очертаний. Впрочем, рисунки эти вызывали какое-то ощущение тревоги, неустроенности, неудобства... Олег Олегович находил, что в них что-то есть, хотя, на его взгляд, все было гораздо проще и противнее. Впрочем, он далек от искусства. Так, неквалифицированный потребитель, и не более того...

Он спросил Тойво, что удалось обнаружить. Тойво изложил ему свои предположения: Флеминг, Нижняя Пеша, эмбриофор нового типа и так далее. Панкратов покивал, соглашаясь, а потом сообщил с некоторой грустью, что во всей этой истории его более всего огорчает... Как бы это выразиться? Ну, скажем, чрезмерная нервность нынешнего землежителя. Ведь все же удрали, ну как один! Хоть кто-нибудь бы заинтересовался, полюбопытствовал бы... Тойво вступился за честь нынешнего землежителя и рассказал про бабушку Альбину и про мальчика Кира.

Олег Олегович оживился необычайно. Он хлопал лопатообразными

ладонями по подлокотникам кресла и по столу, он победоносно взглядывал то на Тойво, то на свою Зосю и, похохатывая, восклицал: «Ай да Кирюха! Ай да молодец! Я всегда говорил, что из него будет толк... Но какова Альбина-то наша! Вот вам и цирлих-манирлих...» На это Зося запальчиво объявила, что ничего удивительного здесь нет, старые и малые всегда были одного поля ягоды... «И космопроходцы, заметь! — восклицал Олег Олегович. — Не забывай про космопроходцев, любимка моя!..» Они препирались полусерьезно-полушутливо, как вдруг произошел маленький инцидент.

Олег Олегович, слушавший свою «любимку» с улыбкой от уха до уха, улыбаться вдруг перестал, и выражение веселья на лице его сменилось выражением озадаченности, словно что-то потрясло его до глубины души. Тойво проследил направление его взгляда и увидел: в дверях своего коттеджа номер семь стоит, прислонившись плечом к косяку, безутешный и разочарованный Эрнст Юрген, уже не в краборaколовном скафандре своем, а в просторном бежевом костюме, и в одной руке у него плоская банка с пивом, а в другой — колоссальный бутерброд с чем-то красно-белым, и он подносит ко рту то одну руку, то другую, и жует, и глотает, и неотрывно глядит при этом через площадь на вход в клуб.

— А вот и Эрнст! — воскликнула Зося. — А ты говоришь!

— С ума сойти! — медленно произнес Олег Олегович все с тем же крайне озадаченным видом.

— Эрнст, как видишь, тоже не испугался, — сказала ему Зося не без яда.

— Вижу, — согласился Олег Олегович.

Что-то он знал про этого Эрнста Юргена, никак он не ожидал его увидеть здесь после вчерашнего. Нечего было Эрнсту Юргену здесь делать сейчас, нечего было ему стоять у себя на веранде в Малой Пеше, пить пиво и закусывать вареными краборaками, а надлежало сейчас Эрнсту Юргену, наверное, драпать без оглядки куда-нибудь к себе на Титан или даже дальше.

И Тойво поспешил рассеять это недоразумение и рассказал, что Эрнста Юргена вчера ночью в поселке не было, а был Эрнст Юрген вчера ночью на ловле краборaков в нескольких километрах выше по течению. Зося очень огорчилась, а Олег Олегович, как показалось Тойво Глумову, даже дух с облегчением перевел. «Так это же другое дело! — сказал он. — Так бы сразу и сказали...» И хотя никаких вопросов по поводу его озадаченности никто, разумеется, не задавал, он вдруг пустился в объяснения: его-де смутило то, что ночью во время паники он своими глазами видел, как

Эрнст Юрген, всех распихивая локтями, самым постыдным образом рвался в павильон к нуль-кабине. Теперь-то он понимает, что ошибся, не было этого и быть, оказывается, не могло, но в первый момент, когда он увидел Эрнста Юргена с банкой пива...

Неизвестно, поверила ли ему Зося, а Тойво не поверил ни единому его слову. Не было этого ничего, никакой Эрнст Юрген вчера Олегу Олеговичу во время паники не мерещился, а знал он, Олег Олегович, про этого Юргена что-то совсем другое, что-то гораздо более занимательное, но, видимо, нехорошее что-то, раз постеснялся об этом рассказать...

И тут тень пала на Малую Пешу, и пространство вокруг наполнилось бархатистым курлыканьем, и бомбой вылетел из-за угла павильона растревоженный Базиль, на ходу напяливая свою куртку, а солнце вновь уже воссияло над Малой Пешей, и на площадь величественно, не пригнув собою ни единой травинки, опустился, весь золотистый и лоснящийся, словно гигантский каравай, псевдограв класса «пума», из самых новых, суперсовременных, и тотчас же лопнули по обводу его многочисленные овальные люки, и высыпали из них на площадь длинноногие, загорелые, деловитые, громкоголосые, — высыпали и потащили какие-то ящики с раструбами, потянули шланги с причудливыми наконечниками, засверкали блицконтакторами, засуетились, забегали, замахали руками, и больше всех среди них суетился, бегал, размахивал руками, тащил ящики и тянул шланги Лев-Дуремар Толстов, все еще в одеждах, облепленных засохшей зеленой тиной.

Кабинет начальника отдела ЧП. 6 мая 99 года. Около часа дня

— И чего же они добились со всей своей техникой? — спросил я.

Тойво скучно смотрел в окно, следя взглядом за Облачным Селением, неторопливо плывшим где-то над южными окраинами Свердловска.

— Ничего существенно нового, — ответил он. — Восстановили наиболее вероятный вид животных. Анализы получились такие же, как у аварийщиков. Удивлялись, что не сохранились оболочки эмбриофоров. Поражались энергетике, твердили, что это невозможно.

— Ты запросы послал? — спросил я через силу.

Хочу здесь еще раз подчеркнуть, что к тому времени я уже все видел, все знал, все понимал, но представления не имел, что мне делать с этим моим видением, знанием и пониманием. Я ничего не мог придумать, а

сотрудники мои и коллеги только мешали мне. В особенности Тойво Глумов.

Больше всего на свете мне хотелось вот тут же, не сходя с места, отправить его в отпуск. Всех их отправить в отпуск, до последнего стажера, а самому отключить все линии связи, заэкранироваться, закрыть глаза и на сутки хотя бы остаться в полном одиночестве. Чтобы не надо было следить за своим лицом. Чтобы не надо было думать, какие мои слова прозвучат естественно, а какие — странно. Чтобы вообще ни о чем не надо было думать, чтобы в голове образовалась зияющая пустота, и тогда в этой пустоте искомое решение возникнет само собой. Это было что-то вроде галлюцинации — из тех, что появляются, когда приходится терпеть долгую нудную боль. Я терпел уже более пяти недель, душевные силы мои были на исходе, но пока еще мне удавалось владеть своим лицом, управлять своим поведением и задавать вполне уместные вопросы.

— Ты послал запросы? — спросил я Тойво Глумова.

— Запросы я послал, — ответил он монотонно. — Бюргермайеру в ПО «Эмбриомеханика». Горбацкому. Лично. И Флемингу. На всякий случай. Все — от вашего имени.

— Хорошо, — сказал я. — Подождем.

Теперь надо было дать ему выговориться. Я же видел: ему надо выговориться. Он должен был увериться, что самое главное не прошло мимо внимания руководителя. В идеале руководитель сам должен был вычленить и подчеркнуть это главное, но на это у меня уже недоставало сил.

— Ты хочешь что-то добавить? — спросил я.

— Да. Хочу. — Он щелчком сбил невидимую пылинку с поверхности стола. — Необычная технология — это не главное. Главное — это дисперсия реакций.

— То есть? — спросил я. (Я еще должен был его подгонять!)

— Вы могли бы обратить внимание на то, что события эти разделили свидетелей на две неравные группы. Строго говоря, даже на три. Б`ольшая часть свидетелей поддалась безудержной панике. Дьявол в средневековой деревне. Полная потеря самоконтроля. Люди бежали не просто из Малой Пеши. Люди бежали с Земли. Теперь вторая группа: зоотехник Анатолий Сергеевич и художница Зося Лядова хотя и перепугались вначале, но затем нашли в себе силы вернуться, причем художница увидела в этих животных даже какое-то очарование. И наконец — престарелая балерина и мальчик Кир. И еще, пожалуй, Панкратов, муж Лядовой. Эти вообще не испугались. Даже напротив... Дисперсия реакций, — повторил он.

Я понимал, чего он от меня ждет. Все выводы лежали на поверхности. Кто-то произвел в Малой Пеше эксперимент по искусственному отбору, разделил людей по их реакциям на тех, кто годен и кто не годен к чему-то. Совершенно так же, как этот кто-то пятнадцать лет назад производил отбор в подпространственном секторе входа 41/02. И нет вопроса, кто этот кто-то, владеющий неведомой нам технологией. Тот же самый, кому по какой-то причине стала поперек дороги фукамизация... Тойво Глумов мог бы и сам все это мне сформулировать, но, с его точки зрения, это было бы нарушением служебной этики и принципа «сяо». Делать такие выводы — прерогатива руководителя и старшего в клане.

Но я не воспользовался своей прерогативой. На это мне тоже уже недоставало сил.

— Дисперсия... — повторил я. — Убедительно.

Кажется, я все-таки сфальшивил, потому что Тойво вдруг поднял свои белые ресницы и глянул на меня в упор.

— У тебя все? — спросил я сейчас же.

— Да, — ответил он. — Все.

— Хорошо. Подождем экспертизы. Что ты намерен сейчас делать? Пойдешь спать?

Он вздохнул. Еле заметно. «Руководство не сочло...» Менее сдержанный человек на его месте сказал бы какую-нибудь дерзость. Тойво сказал:

— Не знаю. Наверное, пойду еще поработаю. У меня сегодня счет должен закончиться.

— По китам?

— Да.

— Хорошо, — сказал я. — Как хочешь. А завтра изволь выехать в Харьков.

Тойво приподнял белесые брови, но ничего не сказал.

— Что такое Институт Чудаков, знаешь? — спросил я.

— Да. Кикин мне рассказывал.

Теперь приподнял брови я. Мысленно. Черт бы их всех подрал. Совершенно распустились. Неужели я каждый раз должен предупреждать каждого, чтобы не распускал язык? Не КОМКОН-2, а клубные посиделки...

— И что же тебе рассказывал Кикин? — спросил я.

— Это филиал Института метапсихических исследований. Изучают предельные и запредельные свойства человеческой психики. Полным-полно странных людей.

— Правильно, — сказал я. — Ты отправишься туда завтра. Слушай

задание.

Задание я ему сформулировал так. 25 марта Институт Чудаков в Харькове почтил своим посещением знаменитый Колдун с планеты Саракш. Кто такой Колдун? Это, безусловно, мутант. Более того, он владыка и повелитель всех мутантов в радиоактивных джунглях за Голубой Змеей. Он обладает многими удивительными способностями, в частности он психократ. Что такое психократ? Психократ — это общее название для существ, способных подчинять себе чужую психику. Кроме того, Колдун — это существо необычайной интеллектуальной мощи, из тех сапиенсов, которым капли воды достаточно, чтобы сделать вывод о существовании океанов. Колдун прибыл на Землю с частным визитом. Почему-то в первую очередь его интересовал именно Институт Чудаков. Может быть, он жаждал найти себе подобных, мы не знаем. Визит его был рассчитан на четыре дня, а уехал он через час. Вернулся к себе на Саракш и там растворился в своих радиоактивных джунглях.

До этого места моя вводная Тойво Глумову содержала правду и одну только правду. Дальше начиналась псевдоквазия.

На протяжении последнего месяца наши Прогрессоры на Саракше по моей просьбе пытаются выйти с Колдуном на связь. У них ничего не получается. То ли Колдуна мы здесь, на Земле, как-то обидели, сами того не ведая. То ли одного часа достало ему, чтобы получить всю необходимую для него о нас информацию. То ли вообще произошло что-то специфически Колдуново и потому для нас непредставимое. Короче говоря, надлежит отправиться в Институт, поднять там все материалы по обследованию Колдуна (если таковое производилось), переговорить со всеми сотрудниками, кто имел с ним дело, выяснить, не произошло ли с Колдуном в Институте что-либо странное, не запомнились ли какие-нибудь его высказывания о Земле и о нас, людях, не совершил ли он каких-либо поступков, в то время оставшихся без внимания, а ныне представляющихся в новом свете.

— Все понятно? — спросил я.

Он снова быстро взглянул на меня:

— Вы не сказали, по какой теме проходит эта моя командировка.

Нет, это не было вспышкой интуиции. И вряд ли он поймал меня на псевдоквазии. Просто он искренне не мог понять, как его начальник, располагая такой серьезной информацией относительно проникновения ненавистных Странников, может отвлекаться на что-то постороннее. И я сказал:

— Тема та же. «Визит старой дамы».

(Собственно, так оно и было. В широком смысле слова. В самом широком.)

Некоторое время он молчал, беззвучно постукивая пальцами по поверхности стола. Потом проговорил, как бы извиняясь:

— Я не вижу связи...

— Увидишь, — пообещал я.

Он молчал.

— А если связи нет, то тем лучше, — сказал я. — Это колдун, понимаешь? Настоящий колдун, я с ним знаком. Настоящий колдун из сказок, с говорящей птицей на плече и прочими причиндалами. Да еще колдун с другой планеты. Он нужен мне позарез!

— Возможный союзник, — сказал Тойво со слабой вопросительной интонацией в голосе.

Ну вот, он сам себе все и объяснил. Теперь будет работать как проклятый. Может быть, даже найдет Колдуна. Что, впрочем, сомнительно.

— Имей в виду, — сказал я. — В Харькове ты будешь выступать как сотрудник Большого КОМКОНа. Это не прикрытие, Большой КОМКОН действительно занимается поисками Колдуна.

— Хорошо, — сказал он.

— Все? Тогда иди. Иди, иди. Привет Асе.

Он ушел, и я, наконец, остался один. На несколько блаженных минут. До следующего видеофонного вызова. И вот в эти-то блаженные минуты я и решил окончательно: надо идти к Атосу. Идти немедленно, потому что, когда он ляжет на операцию, у меня вообще поблизости не останется ни одного человека, к которому я мог бы пойти.

....

ДОКУМЕНТ 5

КОМКОН-2. Свердловск. Каммереру
Директор биоцентра ТПО Горбацкой

В ответ на Ваш запрос от 6 мая сего года.
Вас водят за нос. Такого быть не может. Не обращайте внимания.

Горбацкой

Конец документа 5
....

ДОКУМЕНТ 6

КОМКОН-2. Каммереру
Флеминг

Максим!

О происшествии в Малой Пеше мне известно все. Дело, на мой взгляд, невероятное и вызывающее зависть. Твои ребята очень точно поставили вопросы, на которые нам всем следует ответить. Этим и занимаюсь, бросивши все прочие дела. Когда что-нибудь прояснится, обязательно дам знать.

Флеминг
Ниж. Пеша. 15.30.

P. S. А может быть, ты уже выяснил что-нибудь по своим каналам? Если да, то сообщи немедленно. В течение ближайших трех дней я все время в Ниж. Пеше.

P. P. S. Неужели все-таки Странники? Ах, черт, как это было бы здорово!

Конец документа 6

....

ДОКУМЕНТ 7

Производственное объединение «ЭМБРИОМЕХАНИКА»
Директорат
Земля, Антарктический регион, Эребус
А 18/03 62
Индекс О/Т: КЦ 946239
Связь: СКЦ-76
БЮРГЕРМАЙЕР АДОЛЬФ-АННА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
С-283, от 7 мая 99 года
КОМКОН-2, «Урал — Север», ЧП
Связь: СРЗ-23
Начальнику отдела ЧП
М. КАММЕРЕРУ

Содержание: ответ на Ваш запрос от 6 мая 99 года.

Дорогой Каммерер!

Относительно интересующих Вас свойств современных эмбриофоров имею сообщить следующее.

1. Общая масса выделяющихся биомеханизмов — до 200 кг. Максимальное их число — 8 шт. Максимальный размер единичного экземпляра Вы можете определить по программе 102 АСТА (M, p, p0, k), где M — масса исходного материала, p — плотность исходного материала, p0 — плотность окружающей среды, k — число выделяющихся механизмов. Соотношение с высокой точностью выполняется в диапазоне температур от 200 до 400 К и диапазоне давлений от 0 до 200 СЕ.

2. Время развития эмбриофора — величина нехарактерная, она зависит от множества параметров, которые полностью находятся под контролем инициатора. Впрочем, для самых быстродействующих эмбриофоров существует нижний предел времени развития, составляющий ок. 1 мин.

3. Время существования известных ныне биомеханизмов зависит от их индивидуальной массы. Критическая масса биомеханизма составляет M_0 = 12 кг. Биомеханизмы, масса M которых не превосходит M_0, обладают теоретически бесконечным временем жизни. Время же существования

биомеханизмов с большей массой уменьшается с ростом избытка массы по экспоненте, так что время существования образцов наиболее массивных (порядка 100 кг) не может превосходить нескольких секунд.

4. Задача создания полностью рассасывающегося эмбриофора стоит уже давно, но, к сожалению, еще очень далека от разрешения. Даже самая совершенная технология бессильна пока создать оболочки, которые бы полностью включались в цикл развития.

5. Микроскопические биомеханизмы обладают, вообще говоря, высокой подвижностью (до 1000 собственных размеров в минуту). Что же касается полевых образцов, то рекордной пока считается модель КС-3 «Попрыгунчик», способная развивать направленные и стимулированные скорости до 5 м/с.

6. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что любой из ныне осуществимых биомеханизмов остро и однозначно (отрицательно) реагирует на естественное биополе. Это заложено в генетическую систему любого биомеханизма — и не из этических, как многие полагают, соображений, а потому, что любое естественное биополе с интенсивностью более 0,63 ГД (биополе котенка) создает некомпенсируемые помехи в сигнальной сети биомеханизма.

7. Относительно энергетического баланса. Выделение эмбриофором биомеханизмов с параметрами, описанными в Вашем запросе, несомненно, должно было бы привести к бурному освобождению энергии (взрыву), если бы описанная Вами картина была вообще возможна. Однако картина эта, как следует из всего вышеизложенного, представляется на нынешнем уровне научных и технологических возможностей совершенно фантастической.

С уважением,

Генеральный директор Бюргермайер

Конец документа 7

....

ДОКУМЕНТ 8

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 016/99

Дата: 8 мая 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: о пребывании Колдуна (Саракш) в Харьковском филиале Института метапсихических исследований (Институт Чудаков).

В соответствии с приказанием вчера утром я прибыл в Харьковский филиал Института Чудаков. Заместитель директора филиала Логовенко назначил мне аудиенцию на 10.00, однако в кабинет к нему меня сразу не пустили, а подвергли сначала обследованию в камере скользящей частоты КСЧ-8, называемой также «Как Словить Чудака». Оказывается, этой процедуре подвергается каждый новый посетитель филиала. Цель процедуры: выявить у взятого наудачу человека «латентные метапсихические способности», иначе говоря — так называемую «скрытую чудаковатость».

В 10.25 я представился заместителю директора по связям с общественными организациями.

(Логовенко Даниил Александрович, доктор психологии, член-корреспондент АМН Европы. Родился 17.09.30 в Борисполе. Образование: Институт психологии, Киев; факультет управления, Киевский университет; специальные курсы высшей и аномальной этологии, Сплит. Основные работы — в области метапсихологии, открыл так называемый «импульс Логовенко», он же «зубец Т-ментограммы». Один из основателей Харьковского филиала Института метапсихических исследований.)

Д. Логовенко рассказал мне, что он сам встретил Колдуна утром 25 марта сего года на космодроме Мирза-Чарле и сопроводил его прямо в здание филиала. При сем присутствовали: завотделом филиала Богдан Гайдай и сопровождающий Колдуна от КОМКОНа-1 известный нам Боря Лаптев.

По прибытии в филиал Колдун уклонился от традиционной предварительной беседы с угощением и выразил желание немедленно начать ознакомление с деятельностью сотрудников и с их клиентурой. Тогда Д. Логовенко препоручил его, Колдуна, заботам Б. Гайдая и более с ним, Колдуном, ни разу не общался.

Я. Какова, по вашему мнению, была цель Колдуна в Институте?

ЛОГОВЕНКО. Сам Колдун ничего мне об этом не сказал. КОМКОН нас информировал, что Колдун якобы выразил желание ознакомиться с нашей работой, и мы с удовольствием эту возможность ему предоставили. Не без корысти, впрочем: мы рассчитывали обследовать его самого. В поле нашего зрения еще ни разу не попадал психократ подобной силы, да еще инопланетянин вдобавок.

Я. Что показало обследование?

ЛОГОВЕНКО. Обследование не состоялось. Колдун прервал свой визит совершенно неожиданно для всех.

Я. Как вы полагаете, почему?

ЛОГОВЕНКО. Мы все теряемся в догадках. Лично я склонен полагать вот что. Ему представили Мишеля Десмонда, это полиментал. И Колдун, возможно, уловил в Мишеле нечто такое, что от нас ускользнуло, а его то ли напугало, то ли оскорбило, одним словом, шокировало настолько, что он расхотел с нами общаться. Не забывайте, он психократ, он интеллектуал, но по происхождению своему, по воспитанию, по мировоззрению, если угодно, он типичный дикарь.

Я. Не совсем понимаю. Что такое полиментал?

ЛОГОВЕНКО. Полиментализм — это очень редкое метапсихическое явление, сосуществование в одном человеческом организме двух и более независимых сознаний. Не путайте с шизофренией, это не патология. Вот, например, наш Мишель Десмонд. Это абсолютно здоровый, очень приятный молодой человек, не обнаруживающий никаких отклонений от нормы. Но вот десяток лет назад совершенно случайно было обнаружено, что у него двойная ментограмма. Одна — обычная, человеческая, однозначно связанная с прошлой и настоящей жизнью Мишеля. И другая, обнаруживаемая при определенной, строго заданной глубине ментоскопирования. Это ментограмма существа, не имеющего ничего общего с Мишелем, обитающего в мире, который так и не удалось идентифицировать. По-видимому, это мир необычайно больших давлений, высоких температур... Впрочем, это не существенно. Важно то, что Мишель понятия не имеет ни об этом мире, ни об этом соседствующем сознании, а то существо понятия не имеет ни о Мишеле, ни о нашем мире.

Вот я и думаю: нам удалось обнаружить у Мишеля одно соседствующее сознание, а может быть, в нем сосуществуют и другие, оказавшиеся за пределами наших средств обнаружения, и они-то Колдуна и шокировали.

Я. Вас второй мир этого Десмонда не шокирует?

ЛОГОВЕНКО. Понимаю вас. Нет. Решительно нет. Но должен вам сказать, что тот ментоскопист, который впервые заглянул в этот мир и разглядел его, испытал сильнейшее потрясение. Главным образом, конечно, потому, что решил, будто Мишель — замаскированный агент каких-нибудь Странников, Прогрессор из чужого мира.

Я. Каким образом установили, что это не так?

ЛОГОВЕНКО. На этот счет можно быть спокойным. Между поведением Мишеля и функционированием второго сознания нет никакой корреляции. Соседствующие сознания полиментала никак не взаимодействуют. Они в принципе не могут взаимодействовать, потому что функционируют в разных пространствах. Вот грубая аналогия. Представьте себе театр теней. Тени, проецируемые на экран, не могут взаимодействовать между собой. Конечно, остаются разнообразные фантастические соображения, но именно и только фантастические.

На этом моя беседа с Д. Логовенко закончилась, и меня познакомили с Б. А. Гайдаем.

(Гайдай Богдан Архипович, магистр психологии. Родился 10.06.55 в Середине-Буде. Образование: Институт психологии, Киев; специальные курсы высшей и аномальной этологии, Сплит. Основные работы — в области метапсихологии. С 89 года — сотрудник отдела психопрогностики, с 93-го — заведующий лабораторией приборного обеспечения, с 94-го — заведующий отделом интрапсихической техники.)

Отрывок из беседы:

Я. Как, по-вашему, что более всего интересовало Колдуна в Институте?

ГАЙДАЙ. Вы знаете, у меня такое впечатление, что этот Колдун был просто неверно информирован. Это и неудивительно. Даже здесь, на Земле, многие неправильно представляют себе нашу работу, а уж что говорить о Прогрессорах, с которыми Колдун имел дело у себя на Саракше? Меня, помнится, сразу удивило, почему это Колдун, инопланетянин, на всей Земле пожелал увидеть только наш Институт... Мне кажется, дело вот в чем. У себя на Саракше он, так сказать, король мутантов, и в связи с этим у него наверняка масса проблем: они вырождаются, болеют, их надо лечить, как-то поддерживать их. А наши «чудаки» — это ведь тоже своего рода мутанты, вот он и вообразил, будто сможет почерпнуть в Институте

полезную информацию, решил, наверное, что у нас здесь что-то вроде клиники.

Я. И, поняв свою ошибку, повернулся и ушел?

ГАЙДАЙ. Вот именно. Немножко слишком резко повернулся, пожалуй, и немножко слишком поспешно ушел, но, в конце концов, возможно, у них там у всех такие манеры.

Я. О чем он с вами говорил?

ГАЙДАЙ. Ни о чем он со мной не говорил. Я вообще только один раз услышал его голос. Я спросил его, что он хотел бы у нас осмотреть, и он ответил: «Все, что покажете». Голос у него, надо сказать, довольно противный, как у сварливой ведьмы.

Я. Кстати, на каком языке вы с ним говорили?

ГАЙДАЙ. Представьте себе, на украинском!

По свидетельству Гайдая, Колдун встретился в Институте всего с тремя клиентами. Мне пока удалось поговорить с двумя из них.

Равич Марина Сергеевна, 27 лет, по образованию ветеринарный врач, ныне — консультант Ленинградского завода эмбриосистем, Лозаннской мастерской по реализации П-абстракций, Белградского института ламинарной позитроники и главного архитектора Якутского региона. Скромная, очень застенчивая и грустная женщина. Обладает уникальной и пока не объясненной способностью (этой способности еще даже не успели дать научное название). Если перед нею ставят четко сформулированную и понятную ей проблему, она принимается решать ее с азартом и с удовольствием, но в результате, совершенно помимо своей воли, получает решение иной проблемы, ничего общего с поставленной не имеющей, выходящей, как правило, за пределы ее профессиональных интересов. Поставленная проблема действует на ее сознание как катализатор для разрешения какой-либо иной проблемы, с которой она когда-то либо бегло ознакомилась по публикации в научно-популярном журнале, либо случайно услыхав разговор специалистов. Определить заранее, какую именно проблему она решит, видимо, невозможно в принципе: здесь действует нечто вроде классического принципа неопределенности в физике. Колдун появился у нее в кабинете в тот момент, когда она работала. Она смутно помнит уродливую большеголовую фигуру, затянутую в зеленое, и больше никаких впечатлений от Колдуна у нее не сохранилось. Нет, он ничего не говорил. Какие-то обычные благоглупости о ее «даре» произносил Богдан, и больше она не помнит никаких голосов. По словам Гайдая, Колдун пробыл у нее всего две минуты, она заинтересовала его, видимо, не более, чем он ее.

Мишель Десмонд, 41 год, по образованию инженер-гранулист, профессиональный спортсмен, чемпион Европы 88 года по туннельному хоккею. Веселый мужчина, очень довольный собой и Вселенной. К своему полиментализму относится с юмором и вполне безразлично. Он как раз собирался на стадион, когда к нему привели Колдуна. Колдун, по его словам, имел болезненный вид и все время молчал, шутки до него не доходили; похоже, он плохо понимал, где находится и о чем с ним говорят. Было, правда, мгновение — его Мишель запомнит на всю жизнь, — когда Колдун вдруг поднял огромные свои бледные веки и заглянул Мишелю прямо в душу, а может быть и глубже, в самые недра того мира, где обитает тварь, с которой Мишель вынужден делить общий объем ментального пространства. Момент был неприятный, но и замечательный. Вскоре после этого Колдун удалился, так и не раскрыв рта. И не попрощавшись.

Сусуму Хирота, он же «Сэнриган», что означает «Видящий на тысячу миль», 83 года, историк религий, профессор кафедры истории религий Бангкокского университета. Поговорить с ним не удалось. В Институт он вернется только завтра или послезавтра. По мнению Гайдая, Колдуну этот ясновидец крайне не понравился. Во всяком случае, достоверно, что исход Колдуна исполнился именно во время их встречи.

По словам всех свидетелей, исход этот выглядел так. Только что стоял Колдун посередине ментоскопического кабинета, слушая, как Гайдай читает ему лекцию о необычайных способностях «Сэнригана», а «Сэнриган» время от времени перебивает лектора очередным разоблачением его, лектора, личных обстоятельств, и вдруг, не говоря ни слова, не предупредив действий своих ни жестом, ни взглядом, этот зеленый гномик резко повернулся, зацепив локтем Борю Лаптева, и быстрым шагом, не задерживаясь нигде ни на секунду, устремился по коридорам к выходу из филиала. Всё.

В филиале Колдуна видели еще несколько человек: научные сотрудники, лаборанты, кое-кто из административного персонала. Никто из них не знал, кого они видят. И только двое, новички в Институте, обратили на Колдуна специальное внимание, пораженные его внешностью. Ничего существенного я от них не узнал.

Далее я встретился с Борисом Лаптевым. Наиболее важная часть нашего разговора.

Я. Ты единственный человек, который был с Колдуном все время от Саракша до Саракша. Тебе не бросились в глаза какие-нибудь его странности?

БОРИС. Ну и вопрос! Это, знаешь, как у верблюда спросили: «Почему

у тебя шея кривая?» Так он ответил: «А что у меня прямое?»

Я. И все-таки? Попробуй вспомнить его поведение за все это время. Ведь что-то же должно было случиться, раз он так взбрыкнул!

БОРИС. Слушай, я с Колдуном знаком два наших года. Это неисчерпаемое существо. Я давным-давно махнул рукой и даже не пытаюсь больше в нем разобраться. Ну что я тебе скажу? Был у него в этот день приступ депрессии, как я это называю. Время от времени находит на него без всяких видимых причин. Он становится молчалив, а если и открывает рот, так только чтобы сказать какую-нибудь пакость, ядовитое что-нибудь. Вот и в тот день. Пока мы с ним летели с Саракша, все было прекрасно, он изрекал афоризмы, шутил надо мною, даже напевал... Но уже в Мирза-Чарле вдруг помрачнел, с Логовенкой почти совсем не разговаривал, а когда мы вместе с Гайдаем двинулись по Институту, он и вовсе стал чернее тучи. Я даже стал бояться, что он вот-вот кого-нибудь обидит, но тут он, видно, и сам почувствовал, что дальше так нельзя, и унес свои когти от греха подальше. А потом до самого Саракша молчал... Только вот в Мирза-Чарле огляделся, словно на прощание, и противным таким, тоненьким голоском пропищал: «Видит горы и леса, облака и небеса, а не видит ничего, что под носом у него».

Я. Что это значит?

БОРИС. Какие-то детские стишки. Старинные.

Я. А как ты его понял?

БОРИС. Да никак я его не понял. Понял, что он зол на весь мир, того и гляди кусаться начнет. Понял, что надо помалкивать. Так мы с ним оба и промолчали до самого Саракша.

Я. И все?

БОРИС. И все. Перед самой посадкой он еще буркнул — тоже ни к селу ни к городу. Подождем-де, пока слепые не увидят зрячего. А как вышли за Голубую Змею, сделал мне ручкой и, как говорится, растворился в джунглях. Не поблагодарил, заметь, и к себе не пригласил.

Я. Больше ты ничего не можешь сказать?

БОРИС. Что ты от меня хочешь? Да, ему на Земле что-то здорово не понравилось. Что именно — поделиться он не соизволил. Я же тебе говорю: он существо необъяснимое и непредсказуемое. Может быть, и Земля тут ни при чем. Может быть, у него просто живот вдруг в тот день заболел — в широком смысле слова, конечно, в очень широком, космическом...

Я. Ты считаешь, это случайность — в детском стишке кто-то там не видит ничего, а потом про слепых и зрячего?..

БОРИС. Понимаешь, про слепых и зрячих — это у них там на Саракше в Пандее есть такая поговорка: «Когда слепой зрячего увидит». В смысле «после дождичка в четверг» или «когда рак на горе свистнет». Видимо, он хотел про что-то сказать, что оно никогда не произойдет. А стишок — это просто так, от общей ядовитости. Он его с явной издевкой прочитал, непонятно только, над кем издевался. Очень может быть, что над этим утомительно-хвастливым японцем.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Никаких данных, которые могли бы помочь в поисках Колдуна на Саракше, получить не удалось.

2. Никаких рекомендаций по дальнейшему продолжению поиска дать не могу.

Т. Глумов

Конец документа 8

....

6 мая вечером меня принял наш Президент, Атос-Сидоров. Я захватил с собой наиболее интересные материалы, а суть дела, равно как и предложения свои, изложил ему устно. Он уже был страшно болен, лицо у него было землистое, его мучила одышка. Я слишком долго тянул с этим визитом: у него недостало сил даже удивиться по-настоящему. Он сказал, что ознакомится с материалами, подумает и свяжется со мной завтра.

7 мая я весь день просидел у себя в кабинете, ожидая его вызова. Он меня не вызвал. Вечером мне сообщили, что у него случился сильнейший приступ, его едва откачали, сейчас он в больнице. И снова все свалилось на меня одного, да так, что затрещали бедные косточки моей души.

8 мая я получил, помимо всего прочего, отчет Тойво о его посещении Института Чудаков. Я поставил в моем списке птичку против его фамилии, ввел его рапорт-доклад в регистратор и стал выдумывать задание для Петеньки Силецкого. К этому дню в Институте не побывали у меня только Петенька Силецкий и Зоя Морозова.

Примерно в это время у себя в рабочей комнате Тойво Глумов разговаривал с Гришей Серосовиным. Я привожу ниже реконструкцию их беседы для того, главным образом, чтобы продемонстрировать умонастроения, владевшие в ту пору моими сотрудниками. Только

качественно. Количественно соотношение было прежним: на одной стороне — один только Тойво Глумов, на другой — все остальные.

Отдел ЧП, рабочая комната «Д». 8 мая 99 года. Вечер

Гриша Серосовин вошел по обыкновению без стука, остановился на пороге и спросил:

— Можно к тебе?

Тойво отложил в сторону «Вертикальный прогресс» (сочинение анонимного К. Оксовью) и, склонив голову, оглядел Гришу.

— Можно. Только скоро я ухожу домой.

— Сандро опять нет?

Тойво поглядел на стол Сандро. Стол был пуст и безукоризненно чист.

— Да. Третий день.

Гриша сел за стол Сандро и задрал ногу на ногу.

— А ты где вчера пропадал? — спросил он.

— В Харькове.

— А, и ты побывал в Харькове?

— Кто еще?

— Да почти все. За последний месяц почти весь отдел побывал в Харькове. Слушай, Тойво, я вот к тебе за чем. Ты ведь занимался «внезапными гениями»?

— Да. Только давно. В позапрошлом году.

— Помнишь Содди?

— Помню. Барталомью Содди. Математик, ставший исповедником.

— Вот-вот, он самый, — сказал Гриша. — В сводке есть одна фраза. Цитирую: «По имеющимся данным, Б. Содди незадолго до метаморфоза пережил личную трагедию». Если сводку составлял ты, то два вопроса. Что это была за трагедия, и откуда ты добыл эти данные?

Тойво протянул руку и вызвал свою программу на терминал. Отбор информации закончился, программа уже считала. Неторопливыми движениями Тойво принялся прибирать стол. Гриша терпеливо ждал. Он привык.

— Раз там написано «по имеющимся данным», — сказал Тойво, — значит, эти данные я получил от Биг-Бага.

Он замолчал. Гриша подождал еще немного, поменял местами скрещенные ноги и произнес:

— Неохота мне с этой мелочью идти к Биг-Багу. Ладно, попробую

обойтись... Слушай, Тойво, тебе не кажется, что наш Биг-Баг в последнее время какой-то нервный?

Тойво пожал плечами.

— Может быть, — сказал он. — Президент совсем плох. Горбовский, говорят, при смерти. А ведь он их всех знает. И очень хорошо знает.

Гриша произнес задумчиво:

— Между прочим, я с Горбовским тоже знаком, представь себе. Ты помнишь... Хотя тогда тебя у нас еще не было... Покончил с собой Камилл. Последний из Чертовой Дюжины. Впрочем, казус Чертовой Дюжины для тебя тоже, конечно, так... сотрясение воздуха. Я, например, в те поры ничего о нем и не слыхивал... Ну, сам факт самоубийства, а точнее будет сказать — саморазрушения этого несчастного Камилла, никаких сомнений не вызывал. Но непонятно было: почему? То есть понятно было, что жилось ему несладко, последние сто лет своей жизни он был совершенно один... Мы с тобой такого одиночества и представить себе не способны... Но я не об этом. Биг-Баг направил меня тогда к Горбовскому, потому что, оказывается, Горбовский в свое время был с этим Камиллом близок и даже как-то пытался его приветить... Ты меня слушаешь?

Тойво несколько раз кивнул.

— Да, — сказал он.

— Знаешь, какой у тебя вид?

— Знаю, — сказал Тойво. — У меня вид человека, который напряженно думает о чем-то своем. Ты мне это уже говорил. Несколько раз. Штамп. Согласен?

Вместо ответа Гриша вдруг выхватил из нагрудного кармана стило и метнул его прямо в голову Тойво — как дротик, через всю комнату. Тойво двумя пальцами взял стило из воздуха в нескольких сантиметрах от своего лица и сказал:

— Вяло.

«Вяло», — написал он стилом на листке перед собой.

— Вы меня щадите, сударь, — произнес он. — А щадить меня не надо. Это мне вредно.

— Ты понимаешь, Тойво, — проникновенно сказал Гриша, — я знаю, что у тебя хорошая реакция. Не блестящая, нет, но хорошая, добротная реакция профессионала. Однако вид твой... Пойми, как твой тренер по субаксу я просто считаю себя обязанным время от времени проверять, способен ли ты реагировать на окружающее или на самом деле пребываешь в каталепсии...

— Все-таки я сегодня устал, — сказал Тойво. — Сейчас досчитает

программа, и пойду я домой.

— А что у тебя там, в программе? — спросил Гриша.

«У меня там», — написал Тойво на листке бумаги и сказал:

— У меня там киты. У меня там птицы. У меня там лемминги, крысы, полевки. У меня там много малых сих.

— И что они у тебя делают?

— Они у меня гибнут. Или бегут. Они умирают, выбрасываясь на берег, топятся, улетают с мест, где жили веками.

— Почему?

— Этого никто не знает. Два-три века назад это было обычным явлением, хотя и тогда не понимали, почему это происходит. Потом долгое время этого не было. Совсем. А сейчас началось опять.

— Позволь, — сказал Гриша. — Все это, конечно, страшно интересно, однако при чем здесь мы?

Тойво молчал, и, не дождавшись ответа, Гриша спросил:

— Ты считаешь, что это может иметь отношение к Странникам?

Тойво старательно, со всех сторон, оглядел стило, вертя его в пальцах, взял за кончик и почему-то поглядел на свет.

— Все, что мы не умеем объяснить, может иметь отношение к Странникам.

— Чеканная формулировка, — восхищенно сказал Гриша.

— А может и не иметь, — добавил Тойво. — Где ты достаешь такие красивые вещицы? Казалось бы — стило. Что может быть банальней? А на твое стило приятно смотреть... Знаешь, — сказал он, — подари ты его мне. А я подарю его Асе. Я хочу ее порадовать. Хоть чем-то.

— А я хоть чем-то порадую тебя, — сказал Гриша.

— А ты хоть чем-то порадуешь меня.

— Бери, — сказал Гриша. — Владей. Дари, преподноси, соври что-нибудь. Дескать, сам спроектировал для любимой, ночами мастерил.

— Спасибо, — произнес Тойво, засовывая стило в карман.

— Но имей в виду! — Гриша поднял палец. — Здесь за углом, на улице Красных Кленов, стоит автомат от мастерской некоего Ф. Морана и печет такие вот стилья со скоростью спроса.

Тойво снова вынул стило и принялся его рассматривать.

— Все равно, — грустно сказал он. — Вот ты этот автомат на улице Красных Кленов заметил, а мне бы и в голову не пришло его замечать...

— Зато ты заметил непорядок в мире китов! — сказал Гриша.

«Китов», — написал Тойво на листке бумаги.

— А вот кстати, — проговорил он. — Вот ты человек свежий,

непредубежденный, — как ты думаешь? Что должно такое произойти, чтобы стадо китов, прирученных, ухоженных, обласканных, вдруг, как века назад, в древние злобные времена, выбросилось на отмель умирать? Молча, даже на помощь не позвав, вместе с детенышами... Можешь ты себе представить хоть какую-нибудь причину для этого самоубийства?

— А раньше почему они выбрасывались?

— Почему они выбрасывались раньше — тоже неизвестно. Но тогда можно было хоть что-то предположить. Китов мучили паразиты, на китов нападали косатки и кальмары, на китов нападали люди... Было предположение даже, будто они кончали с собой в знак протеста... Но сегодня!

— А что говорят специалисты?

— Специалисты прислали запрос в КОМКОН-2: установите причину возобновившихся случаев самоубийства китообразных.

— Гм... Понятно. А пастухи что говорят?

— С пастухов все и началось. Пастухи утверждают, что китов гонит на гибель слепой ужас. И пастухи не понимают, представить себе не могут, чего именно могут бояться нынешние киты.

— Н-да, — сказал Гриша. — Похоже, здесь и в самом деле без Странников не обходится.

«Не обходится», — написал Тойво, обвел слова рамочкой, потом еще одной рамочкой и принялся закрашивать промежуток между линиями.

— Хотя, с другой стороны, — продолжал Гриша, — все это уже бывало, бывало и бывало. Теряемся в догадках, грешим на Странников, мозги себе вывихиваем, а потом глянем — ба! а кто это там такой знакомый маячит на горизонте событий? Кто это там такой изящный, с горделивой улыбкой господа бога вечером шестого дня творения? Чья это там такая знакомая белоснежная эспаньолка? Мистер Флеминг, сэр! Откуда вы здесь взялись, сэр? А не соизволите ли проследовать на ковер, сэр? Во Всемирный совет, в Чрезвычайный трибунал!

— Согласись, это был бы далеко не самый скверный вариант, — заметил Тойво.

— Еще бы! Хотя иногда мне кажется, что я предпочел бы иметь дело с десятком Странников, нежели с одним Флемингом. Впрочем, это, наверное, потому, что Странники — существа почти гипотетические, а Флеминг со своей эспаньолкой — бестия вполне реальная. Удручающе реальная со своей белоснежной эспаньолкой, со своей Нижней Пешей, со своими научными бандитами, со своей распроклятой мировой славой!..

— Я вижу, тебе его эспаньолка в особенности жить мешает...

— Эспаньолка его мне как раз не мешает, — возразил Гриша с ядом. — За эту эспаньолку мы его как раз можем взять. А вот за что мы возьмем Странников, если окажется, что это все-таки они?

Тойво аккуратно засунул стило в карман, поднялся и встал у окна. Краем глаза он видел, что Гриша внимательно на него смотрит, расплетя ноги и даже подавшись вперед. Было тихо, только слабо попискивало в терминале в такт сменам промежуточных таблиц на экране дисплея.

— Или ты надеешься, что это все-таки НЕ они? — спросил Гриша.

Некоторое время Тойво не отвечал, а потом вдруг проговорил не оборачиваясь:

— Теперь уже не надеюсь.

— То есть?

— Это они.

Гриша прищурился.

— То есть?

Тойво повернулся к нему.

— Я уверен, что Странники на Земле, и действуют.

(Гриша потом рассказывал, что в этот момент он испытал очень неприятный шок. У него возникло ощущение ирреальности происходящего. Все дело здесь было в личности Тойво Глумова: эти слова Тойво Глумова было очень трудно состыковать с личностью Тойво Глумова. Слова эти не могли быть шуткой, потому что Тойво никогда не шутил по поводу Странников. Слова Тойво не могли быть суждением скоропалительным, потому что Тойво не высказывал скоропалительных суждений. И правдой эти слова никак быть не могли, потому что они никак не могли быть правдой. Впрочем, Тойво мог ошибаться...)

Гриша спросил напряженным голосом:

— Биг-Баг в курсе?

— Все факты я ему доложил.

— И что?

— Пока, как видишь, ничего, — сказал Тойво.

Гриша расслабился и снова откинулся на спинку кресла.

— Ты просто ошибся, — сказал он с облегчением.

Тойво молчал.

— Черт бы тебя побрал! — воскликнул вдруг Гриша. — До чего ты меня довел своими мрачными фантазиями! Меня же сейчас как ледяной водой окатило!

Тойво молчал. Он снова отвернулся к окну. Гриша закряхтел, схватил себя за кончик носа и, весь сморщившись, проделал им несколько круговых

движений.

— Нет, — сказал он. — Я не могу, как ты, вот в чем дело. Не могу. Это слишком серьезно. Я от этого весь отталкиваюсь. Это же не личное дело: я-де верю, а вы все — как вам угодно. Если я в это поверил, я обязан бросить все, пожертвовать всем, что у меня есть, от всего прочего отказаться... Постриг принять, черт подери! Но жизнь-то наша многовариантна! Каково это — вколотить ее целиком во что-нибудь одно... Хотя, конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особенным восхищением... А иногда — как сейчас, например, — зло берет на тебя глядеть... На самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую... И тогда хочется острить, издеваться хочется над тобою, отшучиваться от всего, что ты перед нами громоздишь...

— Слушай, — сказал Тойво, — чего ты от меня хочешь?

Гриша замолчал.

— Действительно, — проговорил он. — Чего это я от тебя хочу? Не знаю.

— А я знаю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо и с каждым днем все лучше.

— О! — Гриша поднял палец.

Он хотел сказать еще что-то, что-то легкое, что смазало бы ощущение неловкой интимности, возникшей между ними за последние минуты, но тут пропел сигнал окончания программы, и на стол короткими толчками поползла лента с результатами. Тойво просмотрел ее всю, строчку за строчкой, аккуратно сложил по сгибам и сунул в щель накопителя.

— Ничего интересного? — осведомился Гриша с некоторым сочувствием.

— Как тебе сказать... — промямлил Тойво. Теперь он действительно напряженно думал о другом. — Снова весна восемьдесят первого.

— Что именно — снова?

Тойво прошелся кончиками пальцев по сенсорам терминала, запуская очередной цикл программы.

— В марте восемьдесят первого года, — сказал он, — впервые после двухвекового перерыва зафиксирован случай массового самоубийства серых китов.

— Так, — нетерпеливо сказал Гриша. — А в каком смысле — снова?

Тойво поднялся.

— Долго рассказывать, — проговорил он. — Потом сводку прочитаешь. Пошли по домам.

Тойво Глумов дома. 8 мая 99 года. Поздний вечер

Они поужинали в комнате, багровой от заката.

Ася была в расстроенных чувствах. Закваска Пашковского, доставлявшаяся на деликатесный комбинат прямиком с Пандоры (в живых мешках биоконтейнеров, покрытых терракотовой изморозью, ощетиненных роговыми крючьями испарителей, по шесть килограммов драгоценной закваски в каждом мешке), закваска эта опять взбунтовалась. Вкусовой запах ее самопроизвольно перешел в класс «сигма», а горькость достигла последнего допустимого градуса. Совет экспертов раскололся. Магистр потребовал впредь до выяснения прекратить производство прославленных на всю планету «алапайчиков», а Бруно — дерзкий болтун, мальчишка, нахал — заявил: с какой это стати? Никогда в жизни он не осмеливался пикнуть против Магистра, а сегодня вдруг принялся ораторствовать. Рядовые любители-де такого тонкого изменения во вкусе попросту не заметят, а что касается знатоков-де, то он голову дает на отсечение — по крайней мере каждого пятого такая вкусовая вариация приведет-де в восторг... Кому это нужна его отсеченная голова? Но ведь его поддержали! И теперь непонятно, что будет...

Ася распахнула окно, села на подоконник и стала глядеть вниз, в двухкилометровую сине-зеленую пропасть.

— Боюсь, мне придется лететь на Пандору, — сказала она.

— Надолго? — спросил Тойво.

— Не знаю. Может быть, и надолго.

— А зачем, собственно? — спросил Тойво осторожно.

— Ты понимаешь, в чем дело... Магистр считает, что здесь, на Земле, мы проверили все, что возможно. Значит, не в порядке что-то на плантациях. Может быть, там пошел новый штамм... А может быть, что-то происходит при транспортировке... Мы не знаем.

— Один раз ты у меня уже летала на Пандору, — проговорил Тойво, мрачнея. — Полетела на недельку и просидела там три месяца.

— Ну а что делать?

Тойво поскреб ногтем щеку, покряхтел.

— Не знаю я, что делать... Я знаю, что три месяца без тебя — это ужасно.

— А два года без меня? Когда ты сидел на этой самой... как ее...

— Ну, вспомнила! Когда это было! Я был тогда молодой, я был тогда дурак... Я был тогда Прогрессор! Железный человек — мышцы, маска,

челюсть! Слушай, пусть лучше твоя Соня летит. Она молодая, красоточка, замуж там выйдет, а?

— Конечно, Соня тоже полетит. А других идей у тебя нет?

— Есть. Пусть летит Магистр. Он эту кашу заварил, вот пусть теперь и летит.

Ася только посмотрела на него.

— Беру свои слова назад, — быстро сказал Тойво. — Ошибка. Просчет.

— Ему даже Свердловска нельзя покидать! У него же вкусовые пупырышки! Он четверть века своего квартала не покидал!

— Учту, — пошел отчеканивать Тойво. — Навсегда. Больше не повторится. Сморозил. Отмочил. Пусть летит Бруно.

Ася еще несколько секунд жгла его негодующим взглядом, а потом отвернулась и снова стала смотреть в окно.

— Бруно не полетит, — сказала она сердито. — Бруно теперь будет заниматься этим своим новым букетом. Он его хочет зафиксировать и стандартизовать... Но это мы еще посмотрим... — Она искоса глянула на Тойво и засмеялась. — Ага! Поскучнел! «Три месяца... Без тебя...»

Тойво немедленно поднялся, пересек комнату и сел у ног Аси на пол, прислонив голову к ее коленям.

— Тебе же все равно в отпуск надо, — сказала Ася. — Ты бы там поохотился... Это же ведь Пандора! Съездил бы в Дюны... Плантации бы наши посмотрел... Ты ведь даже представить себе не можешь, что это такое — плантации Пашковского!..

Тойво молчал и только все крепче прижимался щекой к ее коленям. Тогда она тоже замолчала, и некоторое время они не разговаривали, а потом Ася спросила:

— У тебя что-то происходит?

— Почему ты так решила?

— Не знаю. Вижу.

Тойво глубоко вздохнул, поднялся с пола и тоже сел на подоконник.

— Правильно видишь, — угрюмо произнес он. — Происходит. У меня.

— Что же?

Тойво, прищурясь, разглядывал черные полосы облаков, перерезающие медно-багровое зарево заката. Сизо-черные нагромождения лесов у горизонта. Тонкие черные вертикали тысячеэтажников, встопорщенные гроздьями кварталов. Медно отсвечивающий, исполинский купол Форума слева и неправдоподобно гладкая поверхность круглого Моря справа. И черные попискивающие стрижи, дротиками срывающиеся

из висячего сада кварталом выше и исчезающие в листве висячего сада кварталом ниже.

— Что происходит? — спросила Ася.

— Ты удивительно красивая, — сказал Тойво. — У тебя соболиные брови. Я не знаю точно, что эти слова означают, но это сказано про что-то очень красивое. Про тебя. Ты даже не красивая, ты прекрасная. Миловзора. И заботы твои милые. И твой мир милый. И даже Бруно твой милый, если подумать... И вообще мир прекрасен, если хочешь знать... «Мир прекрасен, как цветочек. Счастьем обеспечены пять сердец, и девять почек, и четыре печени...» Я не знаю, что это за стихи. Они у меня вдруг всплыли в памяти, и я захотел их прочитать... И вот что я тебе скажу, запомни! Очень даже может быть, что вскорости я прилечу к тебе на Пандору. Потому что вот-вот у него лопнет терпение и он действительно выгонит меня в отпуск. А может быть, и вообще выгонит. Вот что я читаю в его ореховых глазах. Явственно, как на дисплее. А теперь давай-ка чайку.

Ася проницательно посмотрела на него.

— Ничего не выходит? — спросила она.

Тойво уклонился от ее взгляда и неопределенно повел плечом.

— Потому что с самого начала у тебя все было неправильно задумано, — сказала Ася горячо. — Потому что с самого начала задача была поставлена неправильно! Нельзя ставить задачу так, чтобы никакой результат тебя не устраивал. Твоя гипотеза изначально была порочна — помнишь, что я тебе говорила? Если бы Странники на самом деле обнаружились, разве ты бы обрадовался? А теперь ты начинаешь понимать, что их нет, и опять же тебе плохо — ты ошибся, ты высказал неверную гипотезу, ты как бы в проигрыше, хотя на самом деле ты ничего не проиграл...

— Я с тобой и не спорил никогда, — смиренно сказал Тойво. — Кругом я виноват, такая уж у меня судьба...

— Видишь, теперь и он тоже в этой вашей идее разочаровался... Я, конечно, не верю, что он тебя выгонит, что за чепуху ты порешь, он же тебя и любит, и ценит, это же все знают... Но ведь в самом деле, нельзя же столько лет гробить — и на что, собственно? Ведь у вас, по сути, ничего нет, кроме голой идеи. Никто не спорит: идея довольно любопытная, способна нервы пощекотать кому угодно, но ведь не более того! По сути своей это просто инверсия давным-давно известной человеческой практики... Просто Прогрессорство навыворот, больше ничего... Раз мы спрямляем чью-то историю, значит, и нашу историю могут попытаться спрямить... Подожди, послушай! Во-первых, вы забываете, что не всякая

инверсия имеет выражение в реальности. Грамматика — одно, а реальность — это другое. Поэтому сначала это выглядело у вас интересно, а теперь выглядит попросту... ну, неприлично, что ли... Знаешь, что мне вчера сказал один наш деятель? Он сказал: «Мы, знаете ли, не комконовцы, это комконовцам можно только позавидовать. Когда они сталкиваются с какой-нибудь действительно серьезной загадкой, они быстренько атрибутируют ее как результат деятельности Странников, и все дела!»

— Это кто же, интересно, сказал? — мрачно спросил Тойво.

— Да какая тебе разница? Вот у нас закваска взбунтовалась. Зачем нам искать причины? Все ясно: Странники! Кровавая рука сверхцивилизации! И не злись, пожалуйста. Не злись! Тебе такие шутки не нравятся, но ты же их почти никогда и не слышишь. А я их слышу постоянно. Один только «синдром Сикорски» чего мне стоит... И ведь это уже не шутка. Это уже приговор, милые вы мои! Это диагноз!

Тойво уже справился с собой.

— А что, — сказал он, — насчет закваски — это мысль. Это ведь ЧП! Почему не сообщили? — осведомился он строго. — Порядка не знаете? А вот мы сейчас Магистра — на ковер!

— Шуточки все тебе, — сердито сказала Ася. — Все кругом шутят!

— И прекрасно! — подхватил Тойво. — Радоваться надо! Когда начнутся настоящие дела, вот увидишь — станет не до шуток...

Ася с досадой стукнула кулачком по колену.

— Ах ты, господи! Ну что ты передо мной-то притворяешься? Не хочется же тебе шутить, не до шуток тебе, и вот это особенно в вас раздражает! Вы построили вокруг себя угрюмый, мрачный мир, мир угроз, мир страха и подозрительности... Почему? Откуда? Откуда у вас эта космическая мизантропия?

Тойво промолчал.

— Может быть, потому, что все ваши необъясненные ЧП — это трагедии? Но ведь ЧП — всегда трагедия! Загадочное оно или всем понятное, ведь на то оно и ЧП! Верно?

— Неверно, — сказал Тойво.

— Что — есть ЧП другие, счастливые?

— Бывают.

— Например? — осведомилась Ася, исполняясь яду.

— Давай лучше чайку попьем, — предложил Тойво.

— Нет уж, ты мне, пожалуйста, приведи пример счастливого, радостного, жизнеутверждающего чрезвычайного происшествия.

— Хорошо, — сказал Тойво. — Но потом мы попьем чайку.

Договорились?

— Да ну тебя, — сказала Ася.

Они замолчали. Внизу сквозь густую листву садов, сквозь сизоватые сумерки засветились разноцветные огоньки. И искрами огней обсыпались черные столбы тысячеэтажников.

— Тебе имя Гужон знакомо? — спросил Тойво.

— Разумеется.

— А Содди?

— Еще бы!

— Чем, по-твоему, замечательны эти люди?

— «По-моему»! Не по-моему, а всем известно, что Гужон — замечательный композитор, а Содди — великий исповедник... А по-твоему?

— А по-моему, замечательны они совсем другим, — сказал Тойво. — Альберт Гужон до пятидесяти лет был неплохим, но не более того, агрофизиком без всяких способностей к музыке. А Барталомью Содди сорок лет занимался теневыми функциями и был сухим, педантичным, нелюдимым человеком. Вот чем эти люди более всего замечательны, ПО-МОЕМУ.

— Что ты хочешь этим сказать? Что ты в этом нашел такого уж замечательного? Люди скрытого таланта, долго и упорно работали... а потом количество перешло в качество...

— Не было количества, Ася, вот ведь в чем дело. Одно лишь качество переменилось вдруг. Радикально. В одночасье. Как взрыв.

Ася помолчала, шевеля губами, а потом спросила с неуверенным ехидством:

— Так что же это, по-твоему, Странники их вдохновили, так?

— Я этого не говорил. Ты предложила мне привести примеры счастливых, жизнеутверждающих ЧП. Пожалуйста. Могу назвать еще десяток имен, правда менее известных.

— Хорошо. А почему, собственно, вы этим занимаетесь? Какое, собственно, вам до этого дело?

— Мы занимаемся любыми чрезвычайными происшествиями.

— Вот я и спрашиваю: что в этих происшествиях чрезвычайного?

— В рамках существующих представлений они необъяснимы.

— Ну мало ли что на свете необъяснимо! — вскричала Ася. — Ридерство тоже необъяснимо, только мы к нему привыкли...

— То, к чему мы привыкли, мы и не считаем чрезвычайным. Мы не занимаемся явлениями, Ася. Мы занимаемся происшествиями, событиями. Чего-то не было, не было тысячу лет, а потом вдруг случилось. Почему

случилось? Непонятно. Как объясняется? Специалисты разводят руками. Тогда мы берем это на заметку. Понимаешь, Аська, ты неверно классифицируешь ЧП. Мы их не делим на счастливые и трагические, мы их делим на объясненные и необъясненные.

— Ты что, считаешь, что любое необъясненное ЧП несет в себе угрозу?

— Да. В том числе и счастливое.

— Какую же угрозу может нести в себе необъяснимое превращение рядового агрофизика в гениального музыканта?

— Я не совсем точно выразился. Угрозу несет в себе не ЧП. Самые таинственные ЧП, как правило, совершенно безобидны. Иногда даже комичны. Угрозу может нести в себе причина ЧП. Механизм, который породил это ЧП. Ведь можно поставить вопрос так: зачем кому-то понадобилось превращать агрофизика в музыканта?

— А может быть, это просто статистическая флюктуация!

— Может быть. В том-то и дело, что мы этого не знаем... Между прочим, обрати внимание, куда ты приехала. Скажи на милость, чем твое объяснение лучше нашего? Статистическая флюктуация, по определению непредсказуемая и неуправляемая, или Странники, которые, конечно, тоже не сахар, но которых все-таки, хотя бы в принципе, можно надеяться поймать за руку. Да, конечно, «статистическая флюктуация» — это звучит куда как более солидно, научно, беспристрастно, не то что эти пошлые, у всех уже на зубах навязшие, дурно-романтические и банально-легендарные...

— Подожди, не ехидствуй, пожалуйста, — сказала Ася. — Никто ведь твоих Странников не отрицает. Я тебе не об этом совсем толкую... Ты меня совсем сбил... И всегда сбиваешь! И меня, и Максима своего, а потом ходишь, повесивши нос на квинту, изволь тебя утешать... Да, я вот что хотела сказать. Ладно, пусть Странники на самом деле вмешиваются в нашу жизнь. Не об этом спор. Почему это плохо? — вот о чем я тебя спрашиваю! Почему вы из них жупел делаете? — вот чего я понять не могу! И никто этого не понимает... Почему, когда ТЫ спрямлял историю других миров — это было хорошо, а когда некто берется спрямлять ТВОЮ историю... Ведь сегодня любой ребенок знает, что сверхразум — это обязательно добро!

— Сверхразум — это сверхдобро, — сказал Тойво.

— Ну? Тем более!

— Нет, — сказал Тойво. — Никаких «тем более». Что такое добро, мы знаем, да и то не очень твердо. А вот что такое сверхдобро...

Ася снова ударила себя кулачками по коленкам.

— Не понимаю! Уму непостижимо! Откуда у вас эта презумпция угрозы? Объясни, втолкуй!

— Вы все совершенно неправильно понимаете нашу установку, — сказал Тойво, уже злясь. — Никто не считает, будто Странники стремятся причинить землянам зло. Это действительно чрезвычайно маловероятно. Другого мы боимся, другого! Мы боимся, что они начнут творить здесь добро, как ОНИ его понимают!

— Добро всегда добро! — сказала Ася с напором.

— Ты прекрасно знаешь, что это не так. Или, может быть, на самом деле не знаешь? Но ведь я объяснял тебе. Я был Прогрессором всего три года, я нес добро, только добро, ничего, кроме добра, и, господи, как же они ненавидели меня, эти люди! И они были в своем праве. Потому что боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их не звал, а они вперлись и принялись творить добро. То самое добро, которое всегда добро. И делали они это тайно, потому что заведомо знали, что смертные их целей не поймут, а если поймут, то не примут... Вот какова морально-этическая структура этой чертовой ситуации! Феодальный раб в Арканаре не поймет, что такое коммунизм, а умный буржуа триста лет спустя поймет и с ужасом от него отшатнется... Это азы, которые мы, однако, не умеем применить к себе. Почему? Да потому, что мы не представляем себе, что могут предложить нам Странники. Аналогия не вытанцовывается! Но я знаю две вещи. Они пришли без спроса — это раз. Они пришли тайно — это два. А раз так, то, значит, подразумевается, что они лучше нас знают, что нам надо, — это раз, и они заведомо уверены, что мы либо не поймем, либо не примем их целей, — это два. И я не знаю, как ты, а я не хочу этого. Не хочу! И все! — сказал он решительно. — И хватит. Я усталый, недобрый, озабоченный человек, взваливший на себя груз неописуемой ответственности. У меня синдром Сикорски, я психопат и всех подозреваю. Я никого не люблю, я урод, я страдалец, я мономан, меня надо беречь, проникнуться ко мне сочувствием... Ходить вокруг меня на цыпочках, целовать в плечико, услаждать анекдотами... И чаю. Боже мой, неужели мне так и не дадут сегодня чаю?

Не сказав ни слова, Ася соскочила с подоконника и ушла творить чай. Тойво прилег на диван. Из окна на грани слышимости доносилось зудение какого-то экзотического музыкального инструмента. Огромная бабочка вдруг влетела, сделала круг над столом и уселась на экран визора, распластав мохнатые черные с узором крылья. Тойво не поднимаясь потянулся было к пульту сервиса, но не дотянулся и уронил руку.

Ася вошла с подносом, разлила чай в стаканы и села рядом.

— Смотри, — шепотом сказал Тойво, указывая ей глазами на бабочку.

— Прелесть какая, — отозвалась Ася тоже шепотом.

— Может быть, она захочет с нами тут пожить?

— Нет, не захочет, — сказала Ася.

— Почему! Помнишь, у Казарянов была стрекоза...

— Она у них не жила. Так, погащивала...

— Вот пусть и эта погащивает. Мы будем звать ее Марфа.

— Почему — Марфа?

— А как?

— Сцинтия, — сказала Ася.

— Нет, — сказал Тойво решительно. — Какая еще Сцинтия... Марфа. Марфа Посадница. А экран у нас будет — Посадник.

Я не собираюсь, разумеется, утверждать, будто именно такой дословно разговор произошел у них поздним вечером восьмого мая. Но что они вообще много говорили на эти темы, спорили, не соглашались друг с другом — это я знаю точно. И что никто из них не смог ничего доказать другому — это я тоже знаю точно.

Ася, разумеется, не способна оказалась передать мужу свой вселенский оптимизм. Оптимизм ее питался от самой атмосферы, ее окружавшей, от людей, с которыми она работала, от самой сути ее работы, вкусной и доброй. Тойво же пребывал за пределами этого оптимистического мира, в мире постоянной тревоги и настороженности, где оптимизм передается от человека к человеку лишь с трудом, при благоприятном стечении обстоятельств и ненадолго.

Но Тойво не сумел обратить жену в своего единомышленника, заразить ее своим ощущением надвигающейся угрозы. Его рассуждениям не хватало конкретности. Они были слишком умозрительны, выдуманны. Они были мировоззрением, ничем для Аси не подтверждаемым, своего рода профессиональным заболеванием. Он так и не сумел «ужаснуть» Асю, заразить ее своим отвращением, негодованием, неприязнью...

Поэтому, когда гром грянул, они оказались в буре такими разобщенными и неготовыми, словно никогда и не было у них ни этих споров, ни ссор, ни яростных попыток убедить друг друга.

Утром девятого мая Тойво вторично отправился в Харьков, чтобы встретиться все-таки с ясновидящим Хиротой и закрыть дело о визите Колдуна окончательно.

....

ДОКУМЕНТ 9

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 017/99

Дата: 9 мая 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: дополнение к р/д № 016/99.

Сусуму Хирота, он же «Сэнриган», принял меня в своем рабочем кабинете в 10.45. Это небольшого роста ладный старик (он выглядит заметно старше своего возраста). Весьма увлечен своим «даром», пользуется любым удобным моментом, чтобы этот «дар» продемонстрировать: у вашей жены неприятности на работе... на Пандору она полетит обязательно, не надейтесь, что все обойдется... вот это стило вам подарил приятель, а вы забыли передать его жене... И так далее в том же духе. Довольно неприятно, надо сказать. «Исход Колдуна», по его словам, выглядел так: «Ему, видимо, стало страшно, что я сейчас узнаю о нем нечто сокровенное, и тогда он обратился в бегство. Ему невдомек было, что он виделся мне как пустой белесый экран без единой контрастной детали, ведь он — существо из иного мира...»

Т. Глумов

Конец документа 9
....

ДОКУМЕНТ 10

Важно!
КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 018/99

Дата: 9 мая 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: Институт Чудаков интересуется свидетелями событий в Малой Пеше.

Во время моей беседы с дежурным диспетчером Института Чудаков 9 мая в 11.50 имело место следующее происшествие.

Беседуя со мной, дежурный диспетчер Темирканов одновременно очень быстро и профессионально снимал данные с регистратора и заносил их в терминал машины. Данные эти по мере поступления появлялись на контрольном дисплее и имели формат: фамилия, имя, отчество; (по-видимому) возраст; название населенного пункта (место рождения? место жительства? место постоянной работы?); профессия; некий шестизначный индекс.

Я не обращал внимания на дисплей, пока на нем вдруг не появилось:

КУБОТИЕВА АЛЬБИНА МИЛАНОВНА
96 БАЛЕРИНА АРХАНГЕЛЬСК 001507

Затем появились две фамилии, которые мне ничего не говорили, после чего:

КОСТЕНЕЦКИЙ КИР
12 ШКОЛЬНИК ПЕТРОЗАВОДСК 001507

Напоминаю: эти двое проходят как свидетели событий в Малой Пеше, см. мой р/д № 015/99 от 07.05 с. г.

По-видимому, на несколько секунд я потерял контроль над собой, потому что Темирканов осведомился, что это меня так удивило. Я нашелся, что меня удивила фамилия Альбины Куботиевой, балерины, о которой мне много рассказывали мои родители, заядлые балетоманы; мне кажется

странным видеть здесь ее имя; неужели Альбина Великая обладает еще и метапсихическими талантами? Темирканов засмеялся и ответил, что это не исключено. По его словам, на регистраторы всех филиалов Института непрерывно поступает информация относительно лиц, которые теоретически могут представлять интерес для метапсихологов. Подавляющая масса информации идет с терминалов клиник, больниц, здравпунктов и прочих медицинских учреждений, оборудованных стандартными психоанализаторами. Только в Харьковском филиале за сутки набираются сотни фамилий кандидатов, но практически все это пустышки: «чудаки» составляют едва ли не одну стотысячную всей массы кандидатов.

В создавшейся ситуации я счел правильным сменить тему беседы.

Т. Глумов

Конец документа 10

....

ДОКУМЕНТ 11

РАБОЧАЯ ФОНОГРАММА

Дата: 9 мая 99 года.
Собеседники: М. Каммерер, начальник отдела ЧП; Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: Институт Чудаков — возможный объект темы 009.

КАММЕРЕР. Любопытно. А ты приметлив, паренек. Глазок-смотрок! Ну что ж, у тебя, конечно, и версия наготове. Излагай.

ГЛУМОВ. Окончательный вывод или логику?

КАММЕРЕР. Логику, пожалуйста.

ГЛУМОВ. Проще всего было бы предположить, что имена Альбины и Кира сообщил в Харьков какой-нибудь энтузиаст метапсихологии. Если он был свидетелем событий в Малой Пеше, его могла поразить аномальность реакции этих двоих, и он сообщил о своем наблюдении компетентным лицам. Я прикинул: по крайней мере три человека могли это сделать. Базиль Неверов, аварийщик. Олег Панкратов, лектор, бывший астроархеолог. И его жена, Зося Лядова, художница. Конечно, в точном смысле слова свидетелями они не были, но в данном случае это не имеет значения... Без вашего разрешения разговаривать с ними я не рискнул, хотя считаю, что это вполне возможно — выяснить прямо у них, давали они информацию в Институт или не давали...

КАММЕРЕР. Есть более простой способ...

ГЛУМОВ. Да, по индексу. Обратиться с запросом в Институт. Но как раз этот способ не годится никуда, и вот почему. Если это доброхот-энтузиаст, тогда все разъяснится, и говорить больше будет не о чем. Но я предлагаю рассмотреть другой вариант. А именно: никаких доброхотов-информаторов не было, а был там специальный наблюдатель от Института Чудаков.

(*Пауза*.)

Предположим, что в Малой Пеше находился специальный наблюдатель от Института Чудаков. Это означало бы, что там производился некий психологический эксперимент, имеющий целью отсортировать,

скажем, нормальных людей от людей необычных. Например, чтобы в дальнейшем искать у этих необычных так называемую «чудаковатость». В таком случае, одно из двух. Либо Институт Чудаков — это обычный исследовательский центр, работают в нем обычные научники, и ставят они обычные эксперименты — пусть весьма сомнительные в этическом отношении, но в конечном счете радеющие о пользе науки. Но тогда непонятно, откуда в их распоряжении технология, далеко превосходящая даже перспективные возможности нашей эмбриомеханики и нашего биоконструирования.

(*Пауза.*)

Либо эксперимент в Малой Пеше организован не людьми, как мы и предположили вначале. Тогда в каком свете предстает Институт Чудаков?

(*Пауза.*)

Тогда Институт этот — никакой на самом деле не институт, «чудаки» тамошние — никакие не «чудаки», а персонал там на самом деле занимается вовсе не метапсихологией.

КАММЕРЕР. А чем же? Чем же они там занимаются, и кто они такие?

ГЛУМОВ. То есть вы опять считаете мои рассуждения неубедительными?

КАММЕРЕР. Напротив, мой мальчик. Напротив! Они даже слишком убедительны, эти твои рассуждения. Но я хотел бы, чтобы ты сформулировал свою идею прямо, сухо и недвусмысленно. Как в рапорте.

ГЛУМОВ. Пожалуйста. Так называемый Институт Чудаков является на самом деле орудием Странников для сортировки людей по не известному мне пока признаку. Все.

КАММЕРЕР. И следовательно, Даня Логовенко, заместитель тамошнего директора, мой давний приятель...

ГЛУМОВ (*прерывает*). Нет! Это было бы слишком фантастично. Но, может быть, ваш Даня Логовенко уже давным-давно отсортирован? Давнее его знакомство с вами от этого не гарантирует. Отсортирован и работает на Странников. Как и весь персонал Института, не говоря уже о «чудаках»...

(*Пауза.*)

Они по крайней мере двадцать лет занимаются сортировкой. Когда

отсортированных сделалось достаточно, они организовали Институт, поставили там эти свои камеры скользящей частоты и под предлогом поиска «чудаков» прогоняют через них по десять тысяч человек в год... И мы ведь еще не знаем, сколько на планете таких заведений под самыми разными вывесками...

(*Пауза.*)

И Колдун убежал из Института к себе на Саракш вовсе не потому, что его обидели или у него заболел живот. Он почуял здесь Странников! Как наши киты, как лемминги... «Когда слепые увидят зрячего», — это про нас с вами. «...И не видит ничего, что под носом у него», — это тоже про нас с вами, Биг-Баг!

(*Пауза.*)

Короче говоря, мы, кажется, впервые в истории можем поймать Странников за руку.

КАММЕРЕР. Да. И все это началось с двух имен, которые ты случайно заметил на дисплее... Кстати, ты уверен, что это действительно была случайность? (*Поспешно.*) Хорошо, хорошо, не будем об этом говорить. Что ты предлагаешь?

ГЛУМОВ. Я?

КАММЕРЕР. Да. Ты.

ГЛУМОВ. Н-ну, если вы хотите знать мое мнение... Первые шаги, по-моему, очевидны. Прежде всего необходимо установить там Странников и уличить отсортированных. Организовать скрытое ментоскопическое наблюдение, а если потребуется — провести там поголовное принудительное, самое глубокое ментоскопирование... Полагаю, они к этому готовы и память свою заблокируют... Это не страшно, это как раз и было бы уликой... Хуже, если они умеют рисовать ложную память...

КАММЕРЕР. Ладно. Достаточно. Ты молодец, хвалю, хорошо поработал. А теперь слушай приказ. Подготовь для меня списки следующих лиц. Во-первых, лиц с инверсией «синдрома пингвина» — всех, кто у медиков зарегистрирован на сегодняшний день. Во-вторых, лиц, не прошедших фукамизацию...

ГЛУМОВ (*прерывает*). Это больше миллиона человек!

КАММЕРЕР. Нет, я имею в виду лиц, отказавшихся от «прививки зрелости», это двадцать тысяч человек. Придется поработать, но мы

должны быть во всеоружии. Третье: собери все наши данные о пропавших без вести и сведи их в один список.

ГЛУМОВ. В том числе и тех, кто потом опять объявился?

КАММЕРЕР. В особенности их. Этим занимается Сандро, я его подключу к тебе. Все.

ГЛУМОВ. Список инверсантов, список отказчиков, список объявившихся. Ясно. И все-таки, Биг-Баг...

КАММЕРЕР. Говори.

ГЛУМОВ. Все-таки разрешите мне побеседовать с Неверовым и этой парой из Малой Пеши.

КАММЕРЕР. Для очистки совести?

ГЛУМОВ. Да. Вдруг это все-таки обыкновенный доброхот-энтузиаст...

КАММЕРЕР. Разрешаю. (*После маленькой паузы.*) Интересно, что ты будешь делать, если окажется, что это обыкновенный доброхот-энтузиаст...

Конец документа 11

....

Сейчас я еще раз прослушал эту фонограмму. Голос у меня был тогда молодой, важный, уверенный, голос человека, определяющего судьбы, для которого нет тайн ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, человека, знающего, что он делает и что он кругом прав. Сейчас я просто поражаюсь, каким я был тогда великолепным лицедеем и лицемером. На самом-то деле я держался тогда уже на последних нервах. План действий у меня был готов, я ждал и никак не мог дождаться санкции Президента, набирался и никак не мог набраться духу идти к Комову без этой санкции.

И при всем при том я отчетливо помню, какое огромное удовольствие испытывал в то утро, слушая Тойво Глумова и наблюдая его. Ведь это был поистине его звездный час. Пять лет он искал их, нелюдей, тайно вторгшихся на его Землю, искал, несмотря на постоянные неудачи, почти в одиночку, никем и ничем не поощряемый, терзаемый снисходительностью любимой жены, искал и все-таки нашел. Оказался прав. Оказался проницательнее всех, терпеливее всех, серьезнее всех — всех этих остроумцев, легковесных философов, интеллектуальных страусов.

Впрочем, это ощущение торжества я ему, конечно, приписываю. Полагаю, в тот момент он не испытывал ничего, кроме болезненного нетерпения — поскорее взять противника за горло. Ведь, неопровержимо доказав, что его противник находится на Земле и действует, он тогда еще понятия не имел, что же он доказал на самом деле.

А я имел. И все-таки, глядя на него в то утро, я восхищался им, я гордился им, я им любовался, он мог бы быть моим сыном, и я бы хотел иметь такого сына.

Я завалил его работой прежде всего потому, что хотел замкнуть его в кабинете, за столом. Ответа из Института все не было, а работу по спискам все равно необходимо было проделать.

....

ДОКУМЕНТ 12

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 019/99

Дата: 10 мая 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: информацию о событиях в Малой Пеше направил в Институт Чудаков О. О. Панкратов.

В соответствии с Вашим распоряжением я провел беседы с Б. Неверовым, с О. Панкратовым и с З. Лядовой на предмет выяснения, не направлял ли кто-нибудь из них в адрес Института Чудаков информацию об аномальном поведении некоторых лиц во время происшествия в Малой Пеше в ночь на 6 мая с. г.

1. Беседа с работником аварийной службы Базилем Неверовым состоялась по видеоканалу вчера около полудня. Оперативного интереса беседа не представила. Б. Неверов, безусловно, услыхал об Институте Чудаков от меня впервые.

2. Олега Олеговича Панкратова и жену его Зосю Лядову я встретил в кулуарах региональной конференции астроархеологов-любителей в Сыктывкаре. В ходе непринужденной беседы за чашкой кофе Олег Олегович активно и с удовольствием подхватил начатый мною разговор о чудесах Института Чудаков и по собственной инициативе, без всякого форсирования с моей стороны, сообщил следующие факты:

— он уже много лет является постоянным активистом Института Чудаков и даже имеет свой собственный индекс в качестве отдельного и постоянного источника информации;

— именно благодаря его усилиям в сферу внимания метапсихологов попали такие замечательные феномены, как Рита Глузская («Черный глаз»), Лебей Маланг (психопараморф) и Константин Мовзон («Повелитель мух 5-й»);

— он очень благодарен мне за сведения об удивительной Альбине и

потрясающем Кире, которые я ему так любезно и вовремя предоставил в тот день в Малой Пеше, каковые сведения он тогда же и отправил в Институт;

— в Институте ему довелось побывать трижды — на ежегодных конференциях активистов. С Даниилом Александровичем Логовенко лично не знаком, но весьма почитает его как выдающегося ученого.

3. В связи с вышеизложенным считаю, что мой рапорт-доклад № 018/99 интереса для темы 009 не представляет.

Т. Глумов

Конец документа 12

....

ДОКУМЕНТ 13

Начальнику отдела ЧП
М. Каммереру
инспектора Т. Глумова

РАПОРТ

Прошу предоставить мне отпуск на шесть месяцев в связи с необходимостью сопровождать жену в длительную служебную командировку на Пандору.

Т. Глумов
10.05.99

РЕЗОЛЮЦИЯ. Не разрешаю. Продолжайте выполнять задание.

М. Каммерер
10 мая 99 г.

Конец документа 13
....

Отдел ЧП, рабочая комната «Д». 11 мая 99 года

Утром 11 мая мрачный Тойво, придя на работу, ознакомился с моей резолюцией. Видимо, за ночь он поуспокоился. Ни протестовать, ни настаивать он не стал, а засел у себя в комнате «Д» и занялся составлением списка инверсантов, которых у него набралось вскоре семеро, но только двое из них были названы по именам, а остальные числились как «больной З., сервомеханик», «Теодор П., этнолингвист» и тому подобное.

Около полудня в комнате «Д» объявился Сандро Мтбевари, осунувшийся, желтый и встрепанный. Усевшись за свой стол, он без всяких предисловий и своеобычных в таких случаях (после возвращения из длительных походов) шуточек доложил Тойво, что по приказанию Биг-Бага поступает в его распоряжение, но сначала хотел бы закончить отчет о командировке. «За чем же дело стало?» — настороженно осведомился Тойво, несколько пораженный его видом. А за тем дело стало, отвечал

Сандро с раздражением, что произошла с ним одна история, про которую непонятно, надо ли ее вставлять в отчет, и если надо, то под каким соусом.

И он тотчас же принялся рассказывать, с трудом подбирая слова, путаясь в подробностях и все время как-то судорожно посмеиваясь над собой.

Сегодня утром он вышел из нуль-кабины курортного местечка Розалинда (недалеко от Биаррица), отмахал пяток километров по пустынной каменистой тропе между виноградниками и около десяти часов оказался у цели: под ним была Долина Роз. Тропа вела вниз, к усадьбе «Добрый ветер», остроконечная крыша которой торчала из нагромождений пышной зелени. Сандро автоматически отметил время — было без минуты десять, как он и рассчитывал. Прежде чем начать спуск к усадьбе, он присел на округлый черный валун и принялся вытряхивать камешки из сандалий. Было уже очень жарко, раскаленный валун обжигал сквозь шорты, и ужасно хотелось пить.

Видимо, именно в этот момент ему стало дурно. В ушах зазвенело, и солнечный день как бы померк. Ему показалось, будто он спускается по тропе, шагает, не чуя под собой ног, мимо веселенькой беседки, которую он не заметил сверху, мимо глайдера с откинутым капотом и развороченным (словно из него вынимали целые блоки) двигателем, мимо огромной мохнатой собаки, которая лежала в тени и равнодушно следила за ним, вывалив красный язык. Потом он поднялся по ступенькам на веранду, сплошь заплетенную розами. При этом он отчетливо слышал скрип ступеней, но ног под собой по-прежнему как бы не чувствовал. В глубине веранды стоял стол, заваленный какими-то непонятными предметами, а над столом, упершись в края столешницы широко расставленными руками, нависал тот человек, который был ему нужен.

Человек этот поднял на него маленькие, упрятанные под седыми бровями глазки, и на лице его изобразилась легкая досада. Сандро представился и, почти не слыша собственного голоса, принялся излагать свою легенду, но не успел он произнести и десятка фраз, как человек ужасно сморщился и произнес что-то вроде: «Ну надо же, как ты некстати», после чего Сандро пришел в себя, вынырнув из полного беспамятства, весь облитый потом и с правой сандалией в руке. Он сидел на валуне, горячий гранит жег его сквозь шорты, и время на часах было по-прежнему без минуты десять. Ну может быть, секунд пятнадцать прошло, не больше.

Он обулся, вытер потное лицо, и тут, видимо, его опять схватило. Он опять спускался по тропе, не чуя под собой ног, мир смотрелся словно сквозь нейтральный светофильтр, а в голове вертелась только одна мысль:

это надо же, как меня некстати... И снова слева прошла веселенькая беседка (на полу валялась кукла без рук и одной ноги), и глайдер прошел (на борту красовалось изображение бедового чертенка), и второй глайдер оказался там, немного в глубине, и тоже с поднятым капотом, а собака язык убрала и теперь дремала, положив тяжелую голову на лапы. (Странная какая-то собака, да и собака ли?) Скрипучие ступеньки. Прохлада веранды. И снова человек взглянул из-под седых бровей, весь сморщился и проговорил притворно-грозным тоном, как говорят с расшалившимся ребенком: «Я тебе что сказал? Некстати! Брысь отсюда!» И Сандро вновь очнулся, но теперь он уже сидел не на валуне, а рядом, на сухой, колючей траве, и его подташнивало.

Да что это со мной сегодня? — подумал он со страхом и досадой и попытался взять себя в руки. Мир был по-прежнему пригашен, и в ушах звенело, но в то же время Сандро полностью себя теперь контролировал. Было почти точно десять часов, очень хотелось пить, но слабости он больше не ощущал, и надо было доводить до конца то, зачем он сюда прибыл. Он поднялся на ноги и тут увидел, что из нагромождений зелени внизу вышел на тропинку тот самый человек и остановился, глядя в сторону Сандро, и тут же следом вышел из зарослей и встал у ног человека тот самый мохнатый пес и тоже стал смотреть на Сандро, и Сандро мельком отметил про себя, что никакая это не собака, а молодой голован. И Сандро поднял руку, сам не зная зачем — то ли в знак приветствия, то ли чтобы привлечь к себе внимание, но тот человек повернулся к нему спиной, а мир перед глазами Сандро почернел и ушел косо вниз и налево.

Когда он снова пришел в себя, то оказалось, что он сидит на скамейке, вокруг него курортный городок Розалинда, а рядом та самая нуль-кабина, через которую он сюда прибыл. По-прежнему слегка подташнивало и хотелось пить, но мир был ясен и приветлив, и было десять часов сорок две минуты. Беззаботные нарядные люди, проходившие мимо, стали с беспокойством поглядывать на него и замедлять шаги, и вдруг подкатил кибероофициант и поднес ему высокий запотевший бокал с чем-то фирменным...

Дослушав до конца, Тойво некоторое время молчал, а потом произнес, тщательно подбирая слова:

— Это нужно обязательно включить в рапорт.

— Предположим, — сказал Сандро. — Но с каким акцентом?

— Как мне рассказал, так и напиши.

— Я тебе рассказал так, словно мне сделалось дурно от жары и все я увидел в бреду.

— Значит, ты не уверен, что это был бред?

— Откуда мне знать? Но это же самое я мог бы рассказать и так, будто я попал под гипноз, как будто это была наведенная галлюцинация...

— Ты думаешь, галлюцинацию навел голован?

— Не знаю. Может быть. Но скорее всего — нет. Он был слишком далеко от меня, метров семьдесят, не меньше... Да и молодой он был слишком для таких штучек... И потом: с какой стати?

Они помолчали. Потом Тойво спросил:

— Что сказал Биг-Баг?

— Э, он мне и рта не дал раскрыть, даже не взглянул на меня. «Я занят, ступай в распоряжение Глумова».

— Скажи, — проговорил Тойво, — а ты уверен, что так ни разу и не спустился к тому дому?

— Ни в чем я не уверен. Я уверен только, что с этими «ванвинклями» очень и очень нечисто. Я занимаюсь ими с начала года, а ясности — никакой. Наоборот, с каждым случаем все темнее. Но, конечно, такого, как сегодня, еще не бывало, это уже экстра...

Тойво произнес сквозь зубы:

— Но ты понимаешь, чем это пахнет, если это случилось с тобой на самом деле? — Он спохватился. — Постой! А регистратор? Что у тебя на регистраторе?

Сандро ответил с видом полной покорности судьбе:

— На регистраторе у меня ничего. Он оказался не включен.

— Ну, знаешь!!!

— Знаю. Только я твердо помню, что перезарядил его и включил перед выходом.

....

ДОКУМЕНТ 14

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 047/99

Дата: 4–11 мая 99 года.
Автор: С. Мтбевари, инспектор.
Тема 101: «Рип ван Винкль».
Содержание: результаты инспекции по «Группе 80-х».

Получил Ваше распоряжение об инспектировании 4 мая утром. Приступил немедленно.

4 мая к 22.40.

Астангов Юрий Николаевич. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ не оставлен. Опрос родственников, друзей и деловых знакомых результатов не дал. Общий ответ: ничего сказать не можем, в последние годы не контактируем, поскольку после его возвращения в 95-м году он сделался еще более нелюдимым, нежели прежде, до исчезновения. Проверка по космодромной сети, по околоземному нуль-Т, по системам предприятий ПО (повышенной опасности): ничего. Предположение: Ю. Астангов, как и в прошлый раз, «уединился в дебрях бассейна Амазонки для отшлифовки своей новой философской системы». (Интересно было бы поговорить с кем-нибудь, кто знаком с его прежними философскими системами. Врачи отрицают, а по-моему — псих.)

6 мая к 23.30.

Фернан Леер. Был принят им по контрольному адресу в 11.05. Изложил ему свою легенду, после чего мы беседовали до 12.50. Ф. Леер заявил, что чувствует себя превосходно, никаких болезненных симптомов не испытывает, никаких последствий своей амнезии 89–91 годов не ощущает, а потому не видит необходимости подвергаться ментоскопированию. К сказанному в 91-м году ничего нового прибавить не

может, поскольку по-прежнему ничего не помнит. Трансмантийная инженерия его давно не интересует, и на протяжении нескольких последних лет он занимается изобретением и исследованием многомерных игр. Говорил со мной он благожелательно, но рассеянно. Потом вдруг оживился: ему пришло в голову научить меня игре «снип-снап-снурре». На этом мы расстались. (Выяснил: Ф. Леер действительно стал крупным специалистом в области многомерных игр, его прозвали «затейником для академиков».)

Тууль Альберт Оскарович. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ: Венусборг (Венера). По этому адресу тоже отсутствует. Данные венерианской регистратуры: А. Тууль никогда на Венере не появлялся. В 97-м году он сообщил матери, будто намерен поработать у Следопытов в лагере «Хиус» (планета Кала-и-Муг). С тех пор она довольно регулярно получает от него весточки (последняя в марте с. г.). Весточки эти представляют собой пространные письма, в которых подробно и весьма художественно рассказывается о поисках следов цивилизации «оборотней». Данные лагеря «Хиус»: А. Тууль никогда там не был, но довольно регулярно вызывает на нуль-связь грунтокопа группы Е. Капустина, который совершенно уверен в том, что его добрый приятель А. Тууль проживает на Земле по контрольному адресу. Последний раз Капустин говорил с Туулем 1 января с. г. Проверка по космодромной сети: с 96-го года (год возвращения) неоднократно ходил в Глубокий Космос, последний раз вернулся с Курорта в октябре 98 года. Проверка по околоземному нуль-Т: с 96-го неоднократно посещал Луну, «Оранжереи», БОП. Проверка по системам предприятий ПО: с декабря 96-го по октябрь 97-го работал в абиссальной лаборатории «Тускарора-16» гастрономом. Предположение: А. Тууль — человек крайне легкомысленный, с низким уровнем чувства социальной ответственности, инцидент 89-го года ничему его не научил, и он по-прежнему не желает придавать никакого значения такому пустяку, как точный личный адрес.

8 мая к 22.10.

Багратиони Маврикий Амазаспович. По контрольному адресу отсутствует. В БВИ нового адреса нет. Близких родственников, с которыми поддерживал бы регулярные сношения, не имеет по причине почтенного возраста. Деловые связи оборвались четверть века назад. Оба его старых друга, известных нам по следствию о его исчезновении в 81-м году, по контрольным адресам отсутствуют, местопребывания выяснить пока не

удалось. Проверка по космодромной сети, по околоземному нуль-Т, по системам предприятий ПО: ничего. Данные Геронтологического центра: вот уже много лет его не могут поймать на предмет обследования. Предположение: незарегистрированный несчастный случай. Считал бы правильным отыскать его друзей, чтобы их известить.

Чжан Мартин. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ: база «Матрикс» (Вторая, ЕН 7113). Командирован на «Матрикс» в январе 93-го года Институтом биоконфигураций (Лондон) в качестве интерпретатора. В настоящее время (с декабря 98-го) пребывает в длительном отпуске, местопребывание неизвестно. Проверка по космодромной сети, по околоземному нуль-Т и по системам предприятий ПО с декабря 98-го года — ничего. Отсюда курьез: С. Ван, сосед М. Чжана по контрольному адресу, утверждает, будто видел М. Чжана в марте этого года; М. Чжан на его глазах прибыл в свой сад на глайдере и, не заходя в дом, принялся этот глайдер демонтировать; на приветствие С. Вана ответил небрежно, от разговора уклонился; С. Ван отправился по своим делам, а когда через несколько часов вернулся, ни М. Чжана, ни глайдера уже не было, и больше они не появлялись. История эта представляется интересной, ибо и тайна первого исчезновения М. Чжана связана именно с тем, что регистраторы космодромной сети не отметили ни отбытия, ни прибытия его. Вопрос: не бывает ли организмов, генетический код которых не воспринимается или не отождествляется существующими системами регистрации? Предложение: принимая во внимание, что М. Чжан состоит на учете в Краковском Институте регенерации по поводу регенерации обеих ног, и поскольку за все годы после регенерации он ни разу не являлся в Краков на профилактику, надлежит передать руководству базы «Матрикс» уведомление Института о том, что дальнейшее уклонение от профилактики грозит М. Чжану серьезными осложнениями; уведомление у меня на руках, в Институте весьма обеспокоены безответственным поведением М. Чжана.

9 мая к 21.30.

Окигбо Сиприан. Принял меня по контрольному адресу в 10.15. Встретил любезно, приветливо, хотя имел вид человека, занятого посторонними мыслями. Усадил меня в гостиной, сунул в руки стакан кокосового молока, выслушал мою легенду и сказал: «Бог мой, это же не смешно!» — после чего удалился куда-то в глубину дома с озабоченным видом. Я прождал его час, затем осмотрел дом. Никого не обнаружил. В кабинете, в обеих спальнях и в мансарде все окна были настежь, но следов

под ними не оказалось. В мастерской (?) окна были, напротив, плотно закрыты и зашторены металлическими жалюзи и было нестерпимо холодно (возможно, ниже минус пяти, вода в аквариуме покрылась корочкой льда). При этом никаких следов рефрижерирующего устройства. Халат, в котором С. Окигбо меня принимал, валялся на полу в кабинете. Я прождал хозяина еще два часа, затем опросил соседей. Ничего существенного: С. Окигбо — человек замкнутый, гостей не принимает, почти все время сидит дома, сад запустил, а впрочем, приветлив, очень любит детишек, особенно младенцев-ползунков, умеет с ними обращаться. Предположение: может быть, мне только показалось, что С. Окигбо меня принимал? (См. мой № 048/99.)

11 мая к 10.45.

При попытке установить, находится ли по контрольному адресу Фар-Але Эмиль, испытал приступ дурноты с бредовыми видениями. Будучи не в состоянии определить, касается это только лично меня или представляет также интерес для дела, выделяю отчет о происшедшем в отдельный рапорт-доклад № 048/99.

Сандро Мтбевари

Конец документа 14

....

Я так никогда и не узнал, какое впечатление произвели на Тойво Глумова результаты инспекции Сандро Мтбевари. Думаю, он был потрясен. И не столько результаты сами по себе потрясли его, сколько мысль о том, что он до такой степени позволял себе недооценивать поистине невероятную мощь противника.

Я не видел Тойво ни одиннадцатого, ни двенадцатого, ни тринадцатого. Наверное, это были трудные для него дни, когда он приспосабливался к своей новой роли — роли Алеши Поповича, перед которым вместо объявленного Идолища Поганого возник вдруг сам злобный бог Локи. Но все эти дни я помнил о нем и думал о нем, потому что для меня утро одиннадцатого мая началось двумя документами.

....

ДОКУМЕНТ 15

Начальнику отдела ЧП
Президент

Дорогой Биг-Баг!

Ничего не поделаешь, меня укладывают на операцию. Однако же нет худа без добра. Мои обязанности присоединяет к своим (кажется, с завтрашнего дня) Г. Комов. Я передал ему все Ваши материалы. Не скрою, он отнесся к ним скептически. Но он знает меня и знает Вас. Теперь он подготовлен, так что у Вас есть все шансы убедить его, особенно если Вам удалось добыть новые материалы, которые Вы добыть намеревались. И тогда Вы будете иметь дело не только с Президентом сектора КК-2, но и с влиятельным членом Всемирного совета. Желаю Вам удачи, а Вы пожелайте удачи мне.

Атос
11.05.99

Конец документа 15
....

ДОКУМЕНТ 16

Мак!

1. Глумов Тойво Александрович сегодня взят на контроль. (Зарегистрирован 8.05.)

2. Сегодня же взяты на контроль:

Каскази Артек 18 учащийся Тегеран 7.05.

Мауки Чарлз 63 маритехник Одесса 8.25.

Лаборант

11 мая 99 года

Конец документа 16

....

Это, наверное, странно, но я почти не помню своих переживаний по поводу поразительного сообщения Лаборанта. Помню лишь ощущение: словно неожиданный и даже подлый *охлест* по лицу — ни с того ни с сего, ни за что ни про что, из-за угла, когда не ждешь, когда ждешь совсем другого. Детская, до слез, обида, вот все, что я помню, вот что только и осталось от того, наверное, часа, который провел я, отвалив челюсть и невидяще глядя перед собой.

Наверняка мелькали у меня тогда бестолковые мысли об измене, о предательстве. Наверняка испытывал я бешенство, досаду и жестокое разочарование оттого, что разработан вот был определенный план действий, в котором для каждого отведено свое место, а теперь в этом плане дыра, и зарастить ее невозможно. И горечь, конечно, была, отчаянная горечь потери — потери друга, единомышленника, сына.

А вернее всего, это было временное умопомрачение, хаос не чувств даже, а обломков чувств.

Потом я понемногу пришел в себя и вновь принялся рассуждать — холодно и методично, как мне и надлежало рассуждать в моем положении.

Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса.

Рассуждая холодно и методично, я в это пасмурное утро нашел-таки в своем плане новое место для нового Тойво Глумова. И это новое место показалось мне тогда не менее, а несравненно более важным, чем старое. План мой обрел дальнюю перспективу, теперь предстояло не обороняться,

а наступать.

В тот же день я связался с Комовым, и он назначил мне аудиенцию на завтра, на 12 мая.

12 мая рано утром он принял меня в кабинете Президента. Я представил ему все собранные к этому моменту материалы. Беседа продолжалась пять часов. Мой план был утвержден с незначительными поправками. (Не берусь утверждать, что мне удалось тогда полностью развеять скептицизм Комова, но заинтересовать его мне удалось, вне всякого сомнения.)

12-го же мая, вернувшись к себе, я, по обычаю хонтийских проникателей, посидел несколько минут, приставив к вискам кончики указательных пальцев и размышляя о возвышенном, а затем вызвал к себе Гришу Серосовина и дал задание. В 18.05 он сообщил мне, что задание выполнено. Оставалось только ждать.

13-го утром Даня Логовенко позвонил.

....

ДОКУМЕНТ 17

РАБОЧАЯ ФОНОГРАММА

Дата: 13 мая 99 года.
Собеседники: М. Каммерер, начальник отдела ЧП; Д. Логовенко, заместитель директора Харьковского филиала ИМИ.
Тема: ***
Содержание: ***

ЛОГОВЕНКО. Здравствуй, Максим, это я.
КАММЕРЕР. Приветствую тебя. Что скажешь?
ЛОГОВЕНКО. Скажу, что это было проделано ловко.
КАММЕРЕР. Рад, что тебе понравилось.
ЛОГОВЕНКО. Не могу сказать, что это мне так уж понравилось, но не могу не отдать должное старому другу.

(*Пауза.*)

Я понял все это так, что ты хочешь со мной встретиться и поговорить в открытую.
КАММЕРЕР. Да. Но не я. И может быть, не с тобой.
ЛОГОВЕНКО. Говорить придется со мной. Но если не ты, то кто?
КАММЕРЕР. Комов.
ЛОГОВЕНКО. Ого! Значит, ты все-таки решился...
КАММЕРЕР. Комов сейчас мое прямое начальство.
ЛОГОВЕНКО. Ах вот как... Хорошо. Где и когда?
КАММЕРЕР. Комов хочет, чтобы в разговоре участвовал Горбовский.
ЛОГОВЕНКО. Леонид Андреевич? Но он же при смерти...
КАММЕРЕР. Вот именно. Пусть он все это услышит. От тебя.

(*Пауза.*)

ЛОГОВЕНКО. Да. Видимо, время поговорить действительно настало.
КАММЕРЕР. Завтра в пятнадцать ноль-ноль у Горбовского. Ты знаешь его дом? Под Краславой, на Даугаве.
ЛОГОВЕНКО. Да, я знаю. До завтра. У тебя все?
КАММЕРЕР. Все. До завтра.

(*Разговор продолжался с 9.02 до 9.04.*)

Конец документа 17

....

Замечательно, что группа «Людены» при всей своей напористой скрупулезности никогда не приставала ко мне по поводу Даниила Александровича Логовенко. А ведь мы с Даней знакомы были с незапамятных времен, с благословенных 60-х, когда я, молодой тогда и дьявольски энергичный комконовец, проходил спецкурс психологии при Киевском университете, где Даня, молодой тогда и дьявольски энергичный метапсихолог, вел мои практические занятия, а по вечерам мы оба с поистине дьявольской энергией ухаживали за очаровательными и дьявольски капризными киевляночками. Он явно выделял меня среди прочих курсантов, мы подружились и первые годы встречались, можно сказать, регулярно. Потом занятия наши нас разлучили, мы стали встречаться все реже, а с начала 80-х не встречались совсем (до чаепития у меня накануне событий). Он оказался очень несчастлив в семейной жизни, и теперь понятно — почему. Он вообще оказался несчастлив, чего я никак не могу сказать о себе.

Вообще всякий, кто серьезно занимается эпохой Большого Откровения, склонен полагать, будто прекрасно знает, кто такой Даниил Логовенко. Какое заблуждение! Что знает о Ньютоне человек, прочитавший даже самое полное собрание его сочинений? Да, Логовенко сыграл чрезвычайно важную роль в Большом Откровении. «Импульс Логовенко». «Т-программа Логовенко». «Декларация Логовенко». «Комитет Логовенко»...

А какова судьба жены Логовенко, вы знаете?

А каким образом попал он на курсы высшей и аномальной этологии в городе Сплите?

А почему в 66-м году среди стада курсантов он особо выделил М. Каммерера, энергичного, подающего надежды комконовца?

А что думал по поводу Большого Откровения Д. Логовенко — не вещал по поводу, не декларировал, не проповедовал, а думал и переживал в глубине своей нечеловеческой души?

Таких вопросов много. На некоторые из них, полагаю, я мог бы ответить точно. По поводу других способен лишь строить предположения. А на остальные ответов нет и не будет никогда.

ДОКУМЕНТ 18

КОМКОН-2
«Урал — Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 020/99

Дата: 13 мая 99 года.
Автор: Т. Глумов, инспектор.
Тема 009: «Визит старой дамы».
Содержание: сравнение списков лиц с инверсией «синдрома пингвина» со списком «Тема».

По Вашему распоряжению мною был по всем доступным источникам составлен список случаев инверсии «синдрома пингвина». Всего я обнаружил 12 случаев, идентифицировать удалось 10. Сравнение списка идентифицированных инверсантов со списком «Т» обнаружило пересечение по следующим лицам:

1. Кривоклыков Иван Георгиевич, 65 лет, психиатр, база «Лембой» (ЕН 2105).
2. Паккала Альф-Христиан, 31 год, оператор-строитель, Аляскинская СО, Анкоридж.
3. Йо Ника, 48 лет, пряха-дизайнер, комбинат «Иравади», Пхьяпоун.
4. Тууль Альберт Оскарович, 59 лет, гастроном, местонахождение не известно (см. № 047/99 С. Мтбевари).

Процент пересечений списков представляется мне поразительно высоким. Факт, что Тууль А. О. проходит фактически по трем спискам, еще более поразителен.

Считаю необходимым привлечь Ваше внимание к полному списку лиц с инверсией «синдрома пингвина». Список прилагается.

Т. Глумов

Конец документа 18
....

«Дом Леонида» (Краслава, Латвия). 14 мая 99 года, 15.00

Даугава у Краславы была неширокая, быстрая, чистая. Желтела сухим песком полоска пляжа, от которой круто уходил к соснам песчаный склон. На сером в белую шашку овале посадочной площадки, нависшей над водой, калились под солнцем поставленные кое-как разноцветные флаеры. Всего три штуки — старомодные тяжелые аппараты, какими пользуются сейчас разве что старики, родившиеся в прошлом веке.

Тойво потянулся откинуть дверцу глайдера, но я сказал ему:

— Не надо. Подожди.

Я смотрел вверх, туда, где среди сосен кремово просвечивали стены домика, откуда шла по обрыву зигзагом ветхого вида, сработанная под серое от времени дерево, лестница. По лестнице медленно спускался кто-то в белом — грузный, почти кубический, видимо, очень старый человек, цепляясь правой рукой за перила, ступенька за ступенькой, каждый раз приставляя ногу, и солнечный блик трясся на его большом гладком черепе. Я узнал его. Это был Август-Иоганн Бадер, Десантник и Следопыт. Руина героической эпохи.

— Подождем, пока он спустится, — сказал я. — Мне не хочется с ним встречаться.

Я отвернулся и стал смотреть в другую сторону, через реку, на тот берег, и Тойво тоже отвернулся из деликатности, и так мы сидели, пока не стал слышен тяжелый скрип ступенек и не донеслись до нас свистящее, натужное дыхание и еще какие-то неуместные звуки, похожие на прерывистое всхлипывание, и вот старик прошел мимо нашего глайдера, прошаркал подошвами по пластику, возник в поле моего зрения, и я невольно взглянул в его лицо.

Вблизи лицо это показалось мне совершенно незнакомым. Оно было искажено горем. Мягкие щеки обвисли и тряслись, рот был безвольно распущен, из запухших глаз текли слезы.

Сгорбившись, Бадер приблизился к древнему желто-зеленому флаеру, самому древнему из трех, с какими-то дурацкими шишками на корме, с уродливыми щелями визиров старинного автопилота, с помятыми бортами, с потускневшими никелированными ручками, — приблизился, откинул дверцу и, то ли кряхтя, то ли всхлипывая, полез в кабину.

Долгое время ничего не происходило. Флаер стоял с распахнутой дверцей, а старик внутри то ли собирался с духом перед взлетом, то ли плакал там, уронивши лысую голову на облупленный овальный штурвал. Потом, наконец, коричневая рука, вылезшая из белой манжеты, протянулась и захлопнула дверцу. Древняя машина с неожиданной легкостью и совершенно беззвучно снялась с площадки и ушла над рекой

между обрывистыми берегами.

— Это Бадер, — сказал я. — Прощался... Пошли.

Мы вылезли из глайдера и начали подниматься по лестнице. Я сказал, не оборачиваясь к Тойво:

— Не надо эмоций. Ты идешь на доклад. Будет очень важный деловой разговор. Не расслабляйся.

— Деловой разговор — это прекрасно, — отозвался Тойво мне в спину. — Но у меня такое впечатление, что сейчас не время для деловых разговоров.

— Ты ошибаешься. Именно сейчас и время. А что касается Бадера... Не думай сейчас об этом. Думай о деле.

— Хорошо, — сказал Тойво покорно.

Домик Горбовского, «Дом Леонида», был совершенно стандартным, архитектуры начала века: излюбленное жилье космопроходцев, глубоководников, трансмантийщиков, истосковавшихся по буколике, — без мастерской, без скотного двора, без кухни... но зато с энергопристройкой для обслуживания персональной нуль-установки, полагающейся Горбовскому как члену Всемирного совета. А вокруг были сосны, заросли вереска, пахло нагретой хвоей, и пчелы сонно гудели в неподвижном воздухе.

Мы поднялись на веранду и через распахнутые двери вступили в дом. В гостиной, где окна были плотно зашторены и светил только торшер возле дивана, сидел какой-то человек, задравши ногу на ногу, и рассматривал на свет торшера не то карту, не то ментосхему. Это был Комов.

— Здравствуйте, — сказал я, а Тойво поклонился молча.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал Комов как бы нетерпеливо. — Проходите, садитесь. Он спит. Заснул. Этот треклятый Бадер его совершенно ухайдокал... Вы — Глумов?

— Да, — сказал Тойво.

Комов пристально, с любопытством глядел на него. Я кашлянул, и Комов тут же спохватился.

— Ваша матушка случайно не Майя Тойвовна Глумова? — спросил он.

— Да, — сказал Тойво.

— Я имел честь работать с нею, — сказал Комов.

— Да? — сказал Тойво.

— Да. Она вам не рассказывала? Операция «Ковчег»...

— Да, я знаю эту историю, — сказал Тойво.

— Чем сейчас Майя Тойвовна занимается?

— Ксенотехнологией.

— Где? У кого?

— В Сорбонне. Кажется, у Салиньи.

Комов покивал. Он все смотрел на Тойво. Глаза у него блестели. Надо понимать, вид взрослого сына Майи Глумовой пробудил в нем некие животрепещущие воспоминания. Я снова кашлянул, и Комов сейчас же повернулся ко мне.

— Между прочим, если желаете освежиться... Напитки здесь, в баре. Нам придется подождать. Мне не хочется его будить. Он улыбается во сне. Видит что-то хорошее... Черт бы побрал Бадера с его соплями!

— Что говорят врачи? — спросил я.

— Все то же. «Нежелание жить». От этого нет лекарств... Вернее, есть, но он не хочет их принимать. Ему стало неинтересно жить, вот в чем дело. Нам этого не понять... Все-таки ему за полтораста... А скажите, пожалуйста, Глумов, чем занимается ваш отец?

— Я его почти не вижу, — сказал Тойво. — Кажется, он гибридизатор сейчас. Кажется, на Яйле.

— А вы сами... — начал было Комов, но замолчал, потому что из глубины дома донесся слабый хрипловатый голос:

— Геннадий! Кто там у вас? Пусть заходят...

— Пошли, — сказал Комов вскакивая.

Окна в спальне были распахнуты настежь. Горбовский лежал на диване, укрытый до подмышек клетчатым пледом, и казался он невообразимо длинным, тощим и до слез жалким. Щеки у него ввалились, знаменитый туфлеобразный нос закостенел, запавшие глаза были печальны и тусклы. Они словно не хотели больше смотреть, но смотреть было надо, вот они и смотрели.

— А-а, Максик... — проговорил Горбовский, увидев меня. — Ты все такой же... красавец... Рад тебя видеть, рад...

Это была неправда. Не был он рад видеть Максика. И ничему он не был рад. Наверное, ему казалось, что он приветливо улыбается, на самом же деле лицо его изображало гримасу тоскливой любезности. Чувствовалось в нем бесконечное и снисходительное терпение. Словно бы думал сейчас Леонид Андреевич: вот и еще кто-то пришел... ну что ж, это не может быть очень надолго... и они тоже уйдут, как уходили все до них, а мне оставят мой покой...

— А это кто? — с явным усилием превозмогая апатию, полюбопытствовал Горбовский.

— Это Тойво Глумов, — сказал Комов. — Комконовец, инспектор. Я говорил вам...

— Да-да-да... — вяло сказал Горбовский. — Помню. Говорили. «Визит старой дамы»... Садитесь, Тойво, садитесь, мой мальчик... Я слушаю вас...

Тойво сел и вопросительно посмотрел на меня.

— Изложи свою точку зрения, — сказал я. — И обоснуй.

Тойво начал:

— Я сейчас сформулирую некую теорему. Формулировка эта принадлежит не мне. Доктор Бромберг сформулировал ее пять лет назад. Так вот: теорема. В начале восьмидесятых годов некая сверхцивилизация, которую мы для краткости назовем Странниками, начала активную прогрессорскую деятельность на нашей планете. Одной из целей этой деятельности является отбор. Путем разнообразных приемов Странники отбирают из массы человечества тех индивидов, которые по известным Странникам признакам пригодны для... например, пригодны для контакта. Или для дальнейшего видового совершенствования. Или даже для превращения в Странников. Наверняка у Странников есть и другие цели, о которых мы не догадываемся, но то, что они занимаются у нас отбором, отсортировкой, — это мне теперь совершенно очевидно, и я это попытаюсь сейчас доказать.

Тойво замолчал. Комов пристально глядел на него. Горбовский словно бы спал, но пальцы его, сплетенные на груди, то и дело приходили в движение, вычерчивая в воздухе замысловатые узоры. Потом он вдруг, не открывая глаз, проговорил:

— Геннадий, принесите гостям чего-нибудь попить... Им, наверное, жарко...

Я вскочил, но Комов остановил меня.

— Я принесу, — буркнул он и вышел.

— Продолжайте, мой мальчик, — проговорил Горбовский.

Тойво стал продолжать. Он рассказал о «синдроме пингвина»: с помощью некоего «решета», воздвигнутого ими в секторе 41/02, Странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов. Он рассказал о событиях в Малой Пеше: там с помощью явно внеземной биотехники Странники поставили эксперимент по отбраковыванию ксенофобов и выделению ксенофилов. Он рассказал о борьбе за «Поправку». Видимо, фукамизация либо мешала работе Странников по отбору, либо грозила погасить необходимые Странникам качества в грядущих поколениях людей, и они каким-то образом организовали и успешно провели кампанию по отмене обязательности этой процедуры. За годы и годы число «отсортированных» (будем называть их так) все возрастало, это не могло остаться

незамеченным, мы не могли не заметить этих «отсортированных», и мы их заметили. Исчезновения восьмидесятых годов... Внезапные превращения обычных людей в гениев... Только что обнаруженные Сандро Мтбевари люди с фантастическими способностями... И наконец, так называемый Институт Чудаков в Харькове — несомненный центр активности Странников по выявлению кандидатов в «отсортированные»...

— Они даже не очень скрываются, — говорил Тойво. — По-видимому, они чувствуют себя сейчас настолько сильными, что уже не боятся быть обнаруженными. Возможно, они считают, будто мы уже не в состоянии что-либо изменить. Не знаю... Собственно, я кончил. Я хочу только добавить, что в поле нашего зрения, конечно же, попала только ничтожная доля спектра их активности. Это надо иметь в виду. И я считаю себя обязанным в заключение помянуть добрым словом доктора Бромберга, который еще пять лет назад, не имея, по сути, никакой позитивной информации, ВЫЧИСЛИЛ буквально все явления, которые мы сейчас обнаружили, — и возникновение массовых фобий, и внезапное появление у людей талантов, и даже иррегулярности в поведении животных, например китов.

Тойво повернулся ко мне.

— Я кончил, — сказал он.

Я кивнул. Все молчали.

— Странники, Странники, — почти пропел Горбовский. Он лежал теперь, натянув на себя плед до самого носа. — Надо же, сколько я себя помню, с самого детства, столько идут разговоры об этих Странниках... Вы их очень за что-то не любите, Тойво, мой мальчик. За что?

— Я не люблю Прогрессоров, — отозвался Тойво сдержанно и сейчас же добавил: — Леонид Андреевич, я ведь сам был Прогрессором...

— Никто не любит Прогрессоров, — пробормотал Горбовский. — Даже сами Прогрессоры... — Он глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. — Честно говоря, не вижу я здесь никакой проблемы. Это все остроумные интерпретации, не более того. Передайте ваши материалы, скажем, педагогам, и у них будут свои, не менее остроумные интерпретации. У глубоководников — свои... У них свои мифы, свои Странники... Вы не обижайтесь, Тойво, но уже само упоминание Бромберга меня насторожило...

— А между прочим, все работы Бромберга по Монокосму исчезли... — негромко произнес Комов.

— Да не было у него никаких работ, конечно! — Горбовский слабо хихикнул. — Вы не знали Бромберга. Это был ядовитый старик с фантастической фантазией. Максик прислал ему свой встревоженный

запрос. Бромберг, который до того сроду на эти темы не думал, уселся в удобное кресло, уставился на свой указательный палец и мигом высосал из него гипотезу Монокосма. Это заняло у него один вечер. А назавтра он об этом забыл... У него же не только великая фантазия, он же знаток запрещенной науки, у него же в башке хранилось невообразимое число невообразимых аналогий...

Едва Горбовский замолк, Комов сказал:

— Правильно ли я вас понял, Глумов, что вы утверждаете, будто на Земле сейчас присутствуют Странники? Как существа, я имею в виду. Как особи...

— Нет, — проговорил Тойво. — Этого я не утверждаю.

— Правильно ли я вас понял, Глумов, что вы утверждаете, будто на Земле живут и действуют сознательные пособники Странников? «Отсортированные», как вы их называете...

— Да.

— Вы можете назвать имена?

— Да. С известной степенью вероятности.

— Назовите.

— Альберт Оскарович Тууль. Это почти наверняка. Сиприан Окигбо. Мартин Чжан. Эмиль Фар-Але. Тоже почти наверняка. Могу назвать еще десяток имен, но это уже менее достоверно.

— Вы общались с кем-нибудь из них?

— Думаю, что да. В Институте Чудаков. Думаю, их там много. Но кто именно — назвать точно пока не могу.

— То есть вы хотите сказать, что отличительные их признаки вам неизвестны?

— Конечно. На вид они ничем не отличаются от нас с вами. Но вычислить их можно. По крайней мере, с достаточной степенью вероятности. А вот в Институте Чудаков, я уверен, должна быть какая-то аппаратура, с помощью которой они определяют своего человека без промаха, наверняка.

Комов быстро взглянул на меня. Тойво заметил это и сказал с вызовом:

— Да! Я считаю, что нам сейчас не до церемоний! Придется нам поступиться кое-какими достижениями высшего гуманизма! Мы имеем дело с Прогрессорами, и придется нам вести себя по-прогрессорски!

— А именно? — осведомился Комов, подаваясь вперед.

— Весь арсенал нашей оперативной методики! От засылки агентуры до принудительного ментоскопирования, от...

И тут Горбовский издал протяжный стон, и все мы с испугом к нему

повернулись. Комов даже вскочил на ноги. Однако ничего страшного с Леонидом Андреевичем не случилось. Он лежал в прежней позе, только гримаса притворной любезности на тощем его лице сменилась гримасой брезгливого раздражения.

— Ну что вы тут затеяли около меня? — ноющим голосом произнес он. — Ну взрослые же люди, не школьники, не студенты... Ну как вам не совестно, в самом деле? Вот за что я не люблю все эти разговоры о Странниках... И всегда не любил! Ведь обязательно же они кончаются такой вот перепуганной детективной белибердой! И когда же вы все поймете, что эти вещи исключают друг друга... Либо Странники — сверхцивилизация, и тогда нет им дела до нас, это существа с иной историей, с иными интересами, не занимаются они Прогрессорством, и вообще во всей Вселенной одно только наше человечество занимается Прогрессорством, потому что у нас история такая, потому что мы плачем о своем прошлом... Мы не можем его изменить и стремимся хотя бы помочь другим, раз уж не сумели в свое время помочь себе... Вот откуда все наше Прогрессорство! А Странники, даже если их прошлое было похоже на наше, так далеко от него ушли, что и не помнят его, как мы не помним мучений первого гоминида, тщившегося превратить булыжник в каменный топор... — Он помолчал. — Сверхцивилизации так же нелепо заниматься Прогрессорством, как нам сейчас учреждать бурсы для подготовки деревенских дьячков...

Он опять замолчал и молчал очень долго, переводя взгляд с одного лица на другое. Я покосился на Тойво. Тойво отводил глаза и несколько раз пожал правым плечом, как бы показывая, что есть у него некоторые контраргументы, но он не считает удобным их здесь приводить. Комов же, сдвинув густые черные брови, смотрел в сторону.

— Эх-хе-хе-хе-хе... — прокряхтел Горбовский. — Не получилось у меня вас убедить. Хорошо, займусь тогда оскорблениями. Если даже такой зеленый мальчишка, как наш милый Тойво, сумел... э-э-э... засветить этих Прогрессоров, то какие же они, к черту, Странники? Ну сами подумайте! Неужели сверхцивилизация не сумела бы организовать свою работу так, чтобы вы ничего не заметили? А уж если вы заметили, то какая это, к черту, сверхцивилизация? Киты у них взбесились, так это, видите ли, Странники виноваты!.. Уйдите вы с глаз моих, дайте помереть спокойно!

Мы все встали. Комов напомнил мне вполголоса:

— Задержитесь в гостиной.

Я кивнул.

Тойво растерянно поклонился Горбовскому. Старик не обратил на него

внимания. Он сердито смотрел в потолок, шевеля серыми губами.

Мы с Тойво вышли. Я плотно прикрыл за собой дверь и услышал, как слабо чмокнула, срабатывая, система акустической изоляции.

В гостиной Тойво сейчас же сел на диван под торшером, положил ладони на сдвинутые колени и застыл. На меня он не смотрел. Ему было не до меня.

(Сегодня утром я сказал ему:

— Пойдешь со мной. Будешь говорить перед Комовым и Горбовским.

— Зачем? — ошарашенно спросил он.

— А ты что, воображаешь, что мы обойдемся без Всемирного совета?

— Но почему — я?

— Потому что я уже говорил. Теперь твоя очередь.

— Хорошо, — произнес он, поджимая губы.

Он был боец, Тойво Глумов. Он никогда не отступал. Его можно было только отбросить.)

И вот его отбросили. Я наблюдал за ним из угла.

Некоторое время он сидел недвижимо, потом бездумно полистал разложенные на низком столике ментосхемы, испещренные разноцветными пометками врачей. Потом он поднялся и стал ходить по темной комнате из угла в угол, заложив руки за спину.

В доме царила непроницаемая тишина. Ни голосов не было слышно из спальни, ни шума леса из-за плотно зашторенных окон. Он не слышал даже собственных шагов.

Глаза его привыкли к сумраку. Гостиная у Леонида Андреевича обставлена была по-спартански. Торшер (абажур явно самодельный), большой диван под ним и низенький столик. В дальнем углу — несколько седалищ явно неземного производства и предназначенных для явно неземных задов. В другом углу — то ли экзотическое растение какое-то, то ли древняя вешалка для шляп. Вот и вся меблировка. Впрочем, дверца стенного бара приоткрыта, и видно, что там полным-полно, на любой вкус. А над баром висят картинки в прозрачных обоймах, и самая большая — с альбомный лист.

Тойво подошел и стал их рассматривать. Это были детские рисунки. Акварельки. Гуашь. Стило. Маленькие домики и рядом большие девочки, которым сосны по колено. Собаки (или голованы?). Слон. Тахорг. Какое-то космическое сооружение — то ли фантастический звездолет, то ли ангар... Тойво вздохнул и вернулся на диван. Я пристально следил за ним.

У него были слезы на глазах. Он уже не думал больше о проигранном бое. Там, за дверью, умирал Горбовский — умирала эпоха, умирала живая

легенда. Звездолетчик. Десантник. Открыватель цивилизаций. Создатель Большого КОМКОНа. Член Всемирного совета. Дедушка Горбовский... Прежде всего — дедушка Горбовский. Именно — дедушка Горбовский. Он был как из сказки: всегда добр и поэтому всегда прав. Такая была его эпоха, что доброта всегда побеждала. «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффективное — самое доброе! Он никогда не произносил этих слов, и он очень ехидно прохаживался насчет тех своих биографов, которые приписывали ему эти слова, и он наверняка никогда не думал этими словами, однако вся суть его жизни — именно в этих словах. И конечно же, слова эти — не рецепт, не каждому дано быть добрым, это такой же талант, как музыкальный слух или ясновидение, только еще более редкий. И плакать хотелось, потому что умирал самый добрый из людей. И на камне будет высечено: «Он был самый добрый»...

Мне кажется, Тойво думал именно так. Все, на что я рассчитывал в перспективе, держалось на предположении, что Тойво думал именно так.

Прошло сорок три минуты.

Дверь внезапно распахнулась. Все было как в сказке. Или как в кино. Горбовский, невообразимо длинный в своей полосатой пижаме, тощий, веселый, неверными шажками вступил в гостиную, волоча за собой клетчатый плед, зацепившийся бахромой за какую-то его пуговицу.

— Ага, ты еще здесь! — с радостным удовлетворением произнес он, обращаясь к обомлевшему Тойво. — Все впереди, мой мальчик! Все впереди! Ты прав!

И произнеся эти загадочные слова, он устремился, слегка пошатываясь, к ближайшему окну и поднял штору. Стало ослепительно светло, и мы зажмурились, а Горбовский повернулся и уставился на Тойво, замершего у торшера по стойке «смирно». Я поглядел на Комова. Комов откровенно сиял, сверкая сахарными зубами, довольный, как кот, слопавший золотую рыбку. У него был вид компанейского парня, только что отмочившего славную шутку. Да так оно и было на самом деле.

— Неплохо, неплохо! — приговаривал Горбовский. — Даже отлично!

Склонив голову набок, он придвигался к Тойво, оглядывая его откровенно с головы до ног, придвинулся вплотную, положил руку на его плечо и легонько стиснул костлявыми пальцами.

— Ну, я думаю, ты простишь меня за резкость, мой мальчик, — сказал он. — Но ведь я тоже был прав... А резкость — это от раздражительности. Умирать, скажу я тебе, — препоганое занятие. Не обращай внимания.

Тойво молчал. Он, конечно, ничего не понимал. Комов все это задумал

и устроил. Горбовский знал ровно столько, сколько Комов счел нужным ему сообщить. Я хорошо представлял себе, какой разговор произошел сейчас у них в спальне. А Тойво Глумов не понимал ничего.

Я взял его за локоть и сказал Горбовскому:

— Леонид Андреевич, мы уходим.

Горбовский покивал.

— Идите, конечно. Спасибо. Вы мне очень помогли. Мы еще увидимся, и не раз.

Когда мы вышли на крыльцо, Тойво сказал:

— Может быть, вы объясните мне, что все это значит?

— Ты же видишь: он раздумал умирать, — сказал я.

— Почему?

— Дурацкий вопрос, Тойво, извини меня, пожалуйста...

Тойво помолчал и сказал:

— А я и есть дурак. То есть никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким дураком... Спасибо вам за вашу заботу, Биг-Баг.

Я только хмыкнул. Мы молча спускались по лестнице к посадочной площадке. Какой-то человек неспешно поднимался нам навстречу.

— Ладно, — сказал Тойво. — Но работу по теме мне продолжать?

— Конечно.

— Но ведь меня высмеяли!

— Напротив. Ты очень понравился.

Тойво пробормотал что-то себе под нос. На площадке в конце первого пролета мы оказались одновременно с человеком, поднимавшимся навстречу. Это был заместитель директора Харьковского филиала ИМИ Даниил Александрович Логовенко, румяный и очень озабоченный.

— Приветствую тебя, — сказал он мне. — Я не слишком опоздал?

— Не слишком, — ответил я. — Он тебя ждет.

И тут Д. А. Логовенко с самым заговорщицким видом подмигнул Тойво Глумову, после чего устремился дальше вверх по лестнице, теперь уже явно спеша. Тойво, недобро прищурившись, посмотрел ему вслед.

....

ДОКУМЕНТ 19

Конфиденциально!
Только для членов президиума Всемирного совета!
Экз. № 115

Содержание: запись собеседования, состоявшегося в «Доме Леонида» (Краслава, Латвия) 14 мая 99 года.

Участники: Л. А. Горбовский, член Всемирного совета; Г. Ю. Комов, член Всемирного совета, врио Президента секции «Урал — Север» КК-2; Д. А. Логовенко, зам. директора Харьковского филиала ИМИ.

КОМОВ. То есть вы фактически ничем не отличаетесь от обыкновенного человека?

ЛОГОВЕНКО. Отличие огромно, но... Сейчас, когда я сижу здесь и разговариваю с вами, я отличаюсь от вас только сознанием, что я не такой, как вы. Это один из моих уровней... довольно утомительный, кстати. Это дается мне не без труда, но я-то как раз привык, а большинство из нас от этого уровня уже отвыкло навсегда... Так вот, на этом уровне отличие можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры.

КОМОВ. Вы хотите сказать, что на других уровнях...

ЛОГОВЕНКО. Да. На других уровнях все другое. Другое сознание, другая физиология... другой облик даже...

КОМОВ. То есть на других уровнях вы уже не люди?

ЛОГОВЕНКО. Мы вообще не люди. Пусть вас не сбивает с толку, что мы рождены людьми и от людей...

ГОРБОВСКИЙ. Прошу прощения, Даниил Александрович. А вы не могли бы нам что-нибудь продемонстрировать... Поймите меня правильно, я не хотел бы вас обидеть, но пока... все это одни слова... А? Какой-нибудь другой уровень, если не трудно, а?

ЛОГОВЕНКО (*со смешком*): Извольте...

(*Слышны негромкие звуки, напоминающие переливчатый свист, чей-то невнятный возглас, звон бьющегося стекла.*)

ЛОГОВЕНКО. Простите, я думал, он небьющийся.

(*Пауза около десяти секунд.*)

Это он?

ГОРБОВСКИЙ. Н-нет... Кажется... Нет-нет, это не тот. Этот — вон стоит, на подоконнике...

ЛОГОВЕНКО. Минуточку...

ГОРБОВСКИЙ. Не надо, не трудитесь, вы меня убедили. Спасибо.

КОМОВ. Я не понял, что произошло. Это фокус? Я бы...

(*В фонограмме ЛАКУНА: 12 минут 23 секунды.*)

ЛОГОВЕНКО. ...совершенно другой.

КОМОВ. А при чем здесь фукамизация?

ЛОГОВЕНКО. Растормаживание гипоталамуса приводит к разрушению третьей импульсной. Мы не могли этого допустить, пока не научились ее восстанавливать.

КОМОВ. И вы провели кампанию по введению Поправки...

ЛОГОВЕНКО. Строго говоря, кампанию провели вы. Но по нашей инициативе, конечно.

КОМОВ. А «синдром пингвина»?

ЛОГОВЕНКО. Не понял.

КОМОВ. Ну фобии эти, которые вы наводили своими экспериментами... космофобии, ксенофобии...

ЛОГОВЕНКО. А, понимаю, понимаю. Видите ли, существует несколько способов и методик выявления у человека третьей импульсной. Сам я — приборист, но мои коллеги...

КОМОВ. То есть это — ваших рук дело?

ЛОГОВЕНКО. Разумеется! Ведь нас же очень мало, свою расу мы создаем собственными руками, прямо сейчас, на ходу. Допускаю, что некоторые наши приемы представляются вам аморальными, даже жестокими... Но вы должны признать, что мы ни разу не допустили действий с необратимыми результатами.

КОМОВ. Предположим. Если не считать китов.

ЛОГОВЕНКО. Прошу прощения. Не «предположим», а именно не допустили. Что же касается китообразных...

(*В фонограмме ЛАКУНА: 2 минуты 12 секунд.*)

КОМОВ. ...интересовало не это. Заметьте, Леонид Андреевич, наши ребята шли по неверному пути, но во всем, кроме интерпретации,

оказались правы.

ЛОГОВЕНКО. Почему же «кроме»? Я не знаю, кто эти «ваши ребята», но Максим Каммерер вычислил нас абсолютно точно. Я так и не узнал, каким образом в его руках оказался список всех люденов, инициированных за последние три года...

ГОРБОВСКИЙ. Простите, вы сказали «люденов»?

ЛОГОВЕНКО. У нас еще нет общепринятого самоназвания. Большинство пользуется термином «метагом», так сказать, «за-человек». Кое-кто называет себя «мизитом». Я предпочитаю называть нас люденами. Во-первых, это перекликается с русским словом «люди»; во-вторых, одним из первых люденов был Павел Люденов, это наш Адам. Кроме того, существует полушутливый термин: «хомо луденс»...

КОМОВ. «Человек играющий»...

ЛОГОВЕНКО. Да. «Человек играющий». И есть еще антишутка: «люден» — анаграмма слова «нелюдь». Тоже кто-то пошутил... Так вот, Максим список люденов заполучил и очень ловко продемонстрировал его мне, дав понять, что мы для вас уже не тайна. Откровенно говоря, я испытал облегчение. Это был прямой повод вступить наконец в переговоры. Ведь я уже больше месяца чувствовал у себя на пульсе чью-то руку, пытался осторожно прощупать Максима...

КОМОВ. То есть мысли читать вы не умеете? Ведь ридеры...

(*В фонограмме ЛАКУНА: 9 минут 44 секунды.*)

ЛОГОВЕНКО. ...мешать. И не только поэтому. Мы полагали, что тайну надо хранить прежде всего в ваших интересах, в интересах человечества. Я хотел бы, чтобы в этом вопросе у вас была полная ясность. Мы — не люди. Мы — людены. Не впадите в ошибку. Мы — не результат биологической революции. Мы появились потому, что человечество достигло определенного уровня социотехнологической организации. Открыть в человеческом организме третью импульсную систему могли бы и сотню лет назад, но инициировать ее оказалось возможным только в начале нашего века, а удержать людена на спирали психофизиологического развития, провести его от уровня к уровню до самого конца... то есть, в ваших понятиях, воспитать людена — это стало возможным совсем недавно...

ГОРБОВСКИЙ. Минуточку, минуточку! Значит, эта самая третья импульсная присутствует все-таки в каждом человеческом организме?

ЛОГОВЕНКО. К сожалению, нет, Леонид Андреевич. В этом и

заключается трагедия. Третья импульсная обнаруживается с вероятностью не более одной стотысячной. Мы пока не знаем, откуда она взялась и почему. Скорее всего, это результат какой-то древней мутации.

КОМОВ. Одна стотысячная — это не так уж мало в пересчете на наши миллиарды... Значит — раскол?

ЛОГОВЕНКО. Да. И отсюда — тайна. Поймите меня правильно. Девяносто процентов люденов совершенно не интересуются судьбами человечества и вообще человечеством. Но есть группа таких, как я. Мы не хотим забыть, что мы — плоть от плоти вашей и что у нас одна родина, и уже много лет мы ломаем голову, как смягчить последствия этого неминуемого раскола. Ведь фактически все выглядит так, будто человечество распадается на высшую и низшую расы. Что может быть отвратительней? Конечно, это аналогия поверхностная и по сути своей неверная, но никуда вам не деться от ощущения унижения при мысли о том, что один из вас ушел далеко за предел, не преодолимый для ста тысяч. А этому одному никуда не уйти от чувства вины за это. И между прочим, самое страшное, что трещина проходит через семьи, через дружбы...

КОМОВ. Значит, метагом теряет прежние привязанности?

ЛОГОВЕНКО. Это очень индивидуально. И не так просто, как вы думаете. Наиболее типичная модель отношения людена к человеку — это отношение многоопытного и очень занятого взрослого к симпатичному, но донельзя докучному малышу. Вот и представьте себе отношения в парах: люден и его отец, люден и его закадычный друг, люден и его Учитель...

ГОРБОВСКИЙ. Люден и его подруга...

ЛОГОВЕНКО. Это трагедии, Леонид Андреевич. Самые настоящие трагедии.

КОМОВ. Я вижу, вы принимаете ситуацию близко к сердцу. Тогда, может быть, проще все это прекратить? В конце концов, это же в ваших руках...

ЛОГОВЕНКО. А вам не кажется, что это было бы аморально?

КОМОВ. А вам не кажется, что аморально повергать человечество в состояние шока? Создавать в массовой психологии комплекс неполноценности, поставить молодежь перед фактом конечности ее возможностей!

ЛОГОВЕНКО. Вот я и пришел к вам — чтобы искать выход.

КОМОВ. Выход один. Вы должны покинуть Землю.

ЛОГОВЕНКО. Простите. Кто именно «мы»?

КОМОВ. Вы, метагомы.

ЛОГОВЕНКО. Геннадий Юрьевич, я повторяю: в подавляющем

большинстве своем людены на Земле не живут. Все их интересы, вся их жизнь — вне Земли. Черт подери, не живете же вы в кровати!.. А постоянно связаны с Землей только акушеры вроде меня и гомопсихологи... да еще несколько десятков самых несчастных из нас — те, что не могут оторвать себя от родных и любимых!

ГОРБОВСКИЙ. А!

ЛОГОВЕНКО. Что вы сказали?

ГОРБОВСКИЙ. Ничего, ничего, я внимательно слушаю.

КОМОВ. Значит, вы хотите сказать, что интересы метагомов и землян по сути не пересекаются?

ЛОГОВЕНКО. Да.

КОМОВ. Возможно ли сотрудничество?

ЛОГОВЕНКО. В какой области?

КОМОВ. Вам виднее.

ЛОГОВЕНКО. Боюсь, что вы нам полезны быть не можете. Что же касается нас... Знаете, есть старая шутка. В наших обстоятельствах она звучит довольно жестоко, но я ее приведу. «Медведя можно научить ездить на велосипеде, но будет ли медведю от этого польза и удовольствие?» Простите меня, ради бога. Но вы сами сказали: наши интересы нигде не пересекаются.

(*Пауза.*)

Конечно, если допустить, что Земле и человечеству будет угрожать какая-нибудь опасность, мы придем на помощь не задумываясь и всей своей силой.

КОМОВ. Спасибо и на этом.

(*Длительная пауза, слышно, как булькает жидкость, позвякивает стекло о стекло, глухие глотки, кряхтенье.*)

ГОРБОВСКИЙ. Да-а, это серьезный вызов нашему оптимизму. Но если подумать, человечество принимало вызовы и пострашнее... И вообще я не понимаю вас, Геннадий. Вы так страстно ратовали за вертикальный прогресс. Так вот он вам — вертикальный прогресс! В чистейшем виде! Человечество, разлившееся по цветущей равнине под ясными небесами, рвануло вверх. Конечно, не всей толпой, но почему это вас так огорчает? Всегда так было. И будет так всегда, наверное... Человечество всегда уходило в будущее ростками лучших своих представителей. Мы всегда

гордились гениями, а не горевали, что, вот, не принадлежим к их числу... А что Даниил Александрович талдычит нам, что он не человек, а люден, так это все терминология... Все равно вы — люди, более того — земляне, и никуда вам от этого не деться. Просто молодо-зелено.

КОМОВ. Вы, Леонид Андреевич, иногда просто поражаете меня своим легкомыслием. Раскол же! Вы понимаете? Раскол! А вы несете, простите меня, какую-то благодушную ахинею!

ГОРБОВСКИЙ. Экий вы, голубчик... горячий. Ну разумеется, раскол. Интересно, где это вы видели прогресс без раскола? Это же прогресс. Во всей своей красе. Где это вы видели прогресс без шока, без горечи, без унижения? Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади?..

КОМОВ. Ну еще бы! «И тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном...»

ГОРБОВСКИЙ. Здесь уж скорее подошло бы что-нибудь вроде... э-э... «И тех, кто меня обгоняет, провожаю приветственным гимном...»

ЛОГОВЕНКО. Геннадий Юрьевич, разрешите, я попытаюсь вас утешить. У нас есть очень серьезные основания полагать, что этот раскол — не последний. Кроме третьей импульсной в организме хомо сапиенс мы обнаружили четвертую низкочастотную и пятую... пока безымянную. Что может дать инициация этих систем, мы — даже мы! — и предположить не можем. И не можем мы предположить, сколько их еще там в человеке... И более того, Геннадий Юрьевич. Раскол намечается уже и среди нас! Это неизбежно. Искусственная эволюция — процесс ливневый.

(*Пауза.*)

Что поделаешь! За спиной — шесть НТР, две технологические контрреволюции, два гносеологических кризиса — поневоле начнешь эволюционировать.

ГОРБОВСКИЙ. Вот именно. Сидели бы мы себе тихо, как тагоряне сидят или леонидяне, — горюшка бы не знали. Вольно же нам было пойти по технологии!

КОМОВ. Хорошо, хорошо. А что же все-таки такое — метагом? Каковы его цели, Даниил Александрович? Стимулы? Интересы? Или это секрет?

ЛОГОВЕНКО. Никаких секретов.

(*На этом фонограмма прерывается. Все дальнейшее — 34 минуты 11 секунд — необратимо стерто.*)

15.05.99. Исп. М. Каммерер

Конец документа 19

....

Стыдно вспомнить, но все эти последние дни я провел в состоянии, близком к эйфории. Это было так, словно прекратилось вдруг невыносимое физическое напряжение. Наверное, нечто подобное испытывал Сизиф, когда камень наконец вырывался у него из рук и он получал блаженную возможность немножко отдышаться на вершине, прежде чем начать все сначала.

Каждый землянин пережил Большое Откровение по-своему. Но, ей-же-ей, мне оно досталось все-таки злее, чем кому бы то ни было.

Сейчас я перечитал все, уже написанное выше, и у меня возникло опасение, что переживания мои в связи с Большим Откровением могут быть поняты неправильно. Может возникнуть впечатление, будто я испытал тогда страх за судьбы человечества. Разумеется, без страхов не обошлось — ведь я тогда абсолютно ничего не знал о люденах, кроме того, что они существуют. Так что страх был. И были краткие панические мысли-вопли: «Всё, доигрались!» И было ощущение катастрофически крутого поворота, когда руль, кажется, вот-вот вырвет у тебя из рук и полетишь ты неведомо куда, беспомощный, как дикарь во время землетрясения... Но над всем этим превалировало все-таки унизительнейшее сознание полной своей профессиональной несостоятельности. Прошляпили. Прохлопали. Проморгали. Профукали, дилетанты бездарные...

И вот теперь все это отхлынуло. И между прочим, совсем не потому, что Логовенко хоть в чем-то убедил меня или заставил себе поверить. Дело совсем в ином.

К ощущению профессионального поражения я за полтора месяца уже притерпелся. («Муки совести переносимы» — вот одно из маленьких неприятных открытий, которые делаешь с возрастом.)

Руль больше не вырывало у меня из рук — я передал его другим. И теперь, с некоторой даже отстраненностью, я отмечал (для себя), что Комов, пожалуй, слишком все-таки сгущает краски, а Леонид Андреевич, по своему обыкновению, чересчур уж уверен в счастливом исходе любого катаклизма...

Я снова был на своем месте, и снова мною владели только привычные

заботы — например, наладить постоянный и достаточно плотный поток информации для тех, кому надлежит принимать решения.

Вечером 15-го я получил от Комова приказ действовать по усмотрению.

Утром 16-го я вызвал к себе Тойво Глумова. Без всяких предварительных объяснений я дал ему прочесть запись беседы в «Доме Леонида». Замечательно, что я был практически уверен в успехе.

Да и с чего мне было сомневаться?

....

ДОКУМЕНТ 20

РАБОЧАЯ ФОНОГРАММА

Дата: 16 мая 99 года.
Собеседники: М. Каммерер, начальник отдела ЧП; Т. Глумов, инспектор.
Тема: ***
Содержание: ***

ГЛУМОВ. Что было в этих лакунах?
КАММЕРЕР. Браво. Ну и выдержка у тебя, малыш. Когда я понял, что к чему, я, помнится, полчаса по стенам бегал.
ГЛУМОВ. Так что было в лакунах?
КАММЕРЕР. Неизвестно.
ГЛУМОВ. То есть как — неизвестно?
КАММЕРЕР. А так. Комов и Горбовский не помнят, что было в лакунах. Они никаких лакун не заметили. А восстановить фонограмму невозможно. Она даже не стерта, она просто уничтожена. На лакунных участках решетки разрушена молекулярная структура.
ГЛУМОВ. Странная манера вести переговоры.
КАММЕРЕР. Придется привыкать.

(*Пауза*.)

ГЛУМОВ. Ну и что теперь будет?
КАММЕРЕР. Пока мы слишком мало знаем. Вообще-то видятся только две возможности. Либо мы научимся с ними сосуществовать. Либо НЕ научимся.
ГЛУМОВ. Есть третья возможность.
КАММЕРЕР. Не горячись. Нет третьей возможности.
ГЛУМОВ. Есть третья возможность! Они с нами не церемонятся!
КАММЕРЕР. Это не довод.
ГЛУМОВ. Это довод! Они не спрашивали разрешения у Всемирного совета! Много лет они ведут тайную деятельность по превращению людей в нелюдей! Они ведут эксперименты над людьми! И даже сейчас, когда они разоблачены, они приходят на переговоры и позволяют себе...
КАММЕРЕР (*прерывает*). То, что ты хочешь предложить, можно

сделать либо открыто — и тогда человечество станет свидетелем вполне отвратительного насилия, либо тайком, гнусненько, за спиной общественного мнения...

ГЛУМОВ (*прерывает*). Это все слова! Суть же в том, что человечество не должно быть инкубатором для нелюдей и тем более полигоном для их проклятых экспериментов! Простите, Биг-Баг, но вы сделали ошибку. Вам не следовало посвящать в это дело ни Комова, ни Горбовского. Вы поставили их в дурацкое положение. Это дело КОМКОНа-2, оно целиком в нашей компетенции. Я думаю, и сейчас еще не поздно. Возьмем этот грех на душу.

КАММЕРЕР. Слушай, откуда у тебя эта ксенофобия? Ведь это не Странники, это не Прогрессоры, которых ты ненавидишь...

ГЛУМОВ. У меня такое чувство, что они еще хуже Прогрессоров. Они предатели. Они паразиты. Вроде этих ос, которые откладывают яйца в гусениц...

(*Пауза*.)

КАММЕРЕР. Говори-говори. Выговаривайся.

ГЛУМОВ. Не буду больше ничего говорить. Бесполезно. Пять лет я занимаюсь этим делом под вашим руководством, и все пять лет я бреду, как слепой щенок... Ну хотя бы сейчас скажите мне: когда вы узнали правду? Когда вы поняли, что это не Странники? Шесть месяцев назад? Восемь месяцев?

КАММЕРЕР. Меньше двух.

ГЛУМОВ. Все равно... Несколько недель назад. Я понимаю, у вас были свои соображения, вы не хотели посвящать меня во все детали, но как вы могли скрыть от меня, что изменился сам объект? Как вы могли себе это позволить — заставить меня валять дурака? Чтобы я валял дурака перед Горбовским и Комовым... Меня в жар бросает, когда я вспоминаю!..

КАММЕРЕР. А ты можешь допустить, что тому была причина?

ГЛУМОВ. Могу. Но мне от этого не легче. Причины этой я не знаю и даже представить ее себе не умею... И что-то я по вашему виду не замечаю, чтобы вы собирались ее мне сообщить! Нет, Биг-Баг, хватит с меня. Я не гожусь работать с вами. Отпустите меня, я все равно уйду.

(*Пауза*.)

КАММЕРЕР. Я не мог рассказать тебе правду. Сначала я не мог

рассказать тебе правду, потому что не знал, что нам с нею делать. В скобках: я и сейчас не знаю, что с нею делать, но сейчас все решения взвалены на другие плечи...

ГЛУМОВ. Не надо оправдываться, Биг-Баг.

КАММЕРЕР. Молчи. Тебе все равно меня не разозлить. Ты очень любишь правду? Так ты ее сейчас получишь. Всю.

(*Пауза.*)

Потом я послал тебя в Институт Чудаков и снова вынужден был ждать...

ГЛУМОВ (*прерывает*). При чем здесь...

КАММЕРЕР (*прерывает*). Я сказал — молчи! Правду говорить нелегко, Тойво. Не резать правду-матку, как это любят в молодости, а преподносить ее такому вот... зеленому, самоуверенному, всезнающему и всепонимающему... Молчи и слушай.

(*Пауза.*)

Потом я получил ответ из Института. Этот ответ сбил меня с ног. Я-то считал, что всего лишь проявляю рутинную предусмотрительность, а оказалось... Слушай, вот ты сейчас читал фонограмму. Тебе ничего в ней не показалось странным?

ГЛУМОВ. В ней все странное...

КАММЕРЕР. Ну, давай-давай, включи. Прочти еще разок, только внимательно, с самого начала, с шапки. Ну?

ГЛУМОВ. «Только для членов Президиума...» Как это понимать?

КАММЕРЕР. Ну? Ну?

ГЛУМОВ. Вы дали мне прочесть документ высшей конфиденциальности... Почему?

КАММЕРЕР (*медленно и едва ли не вкрадчиво*). Как ты заметил, в этом документе есть лакуны. Так вот, теплится у меня надежда, что, когда придет твое время, ты по старой памяти, по старой дружбе эти лакуны мне заполнишь.

(*Длинная пауза.*)

Вот так-то выглядит вся правда. В той ее части, которая касается тебя. Как только я узнал, что в Институте Чудаков они занимаются

отсортировкой, я сразу наладил всех вас туда, одного за другим, под разными идиотскими предлогами. Это была просто мера элементарной предосторожности, понимаешь? Чтобы не оставить противнику ни малейшего шанса. Чтобы быть уверенным... Нет, уверен я и так был... Чтобы знать совершенно точно: среди моих сотрудников только люди...

(*Пауза.*)

У них там агрегат... якобы для выявления «чудаков». Они пропускают через него всех посетителей. На самом деле машина эта ищет так называемый зубец «Т» ментограммы, он же «импульс Логовенко». Если у человека имеется годная для инициирования третья импульсная система, в его ментограмме проявляется этот растреклятый зубец «Т». Так вот, у тебя этот зубец есть.

(*Длинная пауза.*)

ГЛУМОВ. Это же ерунда, Биг-Баг.

(*Пауза.*)

Вас водят за нос!

(*Пауза.*)

Это же провокация! Они просто хотят вывести меня из игры! По-видимому, я узнал что-то важное, только сам пока не понимаю, что именно, и они хотят меня убрать... Это же элементарно!

(*Пауза.*)

Вы же знаете меня с детства! Я прошел тысячи медкомиссий, я — самый обыкновенный человек! Не верьте им, Биг-Баг! Кто вам дает информацию?.. Нет, я не имя спрашиваю... Подумайте, откуда он все это может знать? Он же наверняка сам из этих... Как вы можете ему верить? (*Кричит.*) Не во мне же дело! Я все равно уйду! Но они вот таким же манером без единого выстрела расстреляют весь КОМКОН! Вы об этом подумали?

(*Пауза. Упавшим голосом.*)

Что же мне делать? Ведь вы наверняка придумали, что мне теперь делать...

КАММЕРЕР. Послушай. Не надо так расстраиваться. Пока еще ничего страшного не произошло. Что ты так раскричался, словно к тебе уже «ухмыляясь, приближаются с ножами»? В конце концов, все ведь в твоих руках! Не захочешь — и все останется, как есть!

ГЛУМОВ. Откуда вы знаете?

КАММЕРЕР. Да ниоткуда я ничего не знаю. Я знаю столько же, сколько и ты. Ты же читал только что... Третья импульсная — это же только потенция, ее ведь нужно инициировать... Потом начинается это самое... восхождение от уровня к уровню... Хотел бы я посмотреть, как они это сделают с тобой без твоей воли!

(*Пауза.*)

ГЛУМОВ. Да. (*Истерически смеется.*) Ну и нагнали вы на меня страху, шеф!

КАММЕРЕР. Это ты просто не сообразил.

ГЛУМОВ. Я попросту удеру! Пусть-ка они меня поищут! А найдут, станут приставать... Вы им скажите, что я им не советую!

КАММЕРЕР. Вряд ли они захотят со мной разговаривать.

ГЛУМОВ. То есть?

КАММЕРЕР. Ну, видишь ли, мы для них не авторитет. Нам теперь придется привыкать к совершенно новой ситуации. Не мы теперь определяем время бесед, не мы определяем тему... Мы вообще потеряли контроль над событиями. А ситуация, согласись, небывалая! У нас на Земле, среди нас, действует сила... и даже не сила, а силища! И мы ничего о ней не знаем. Вернее, знаем только то, что нам разрешают знать, а это, согласись, едва ли не хуже, чем полное незнание. Неуютно, а? Нет, я ничего не могу сказать плохого об этих люденах, но ведь и хорошего о них пока ничего не известно!

(*Пауза.*)

Они знают о нас все, а мы о них — ничего. Это унизительно. Сейчас каждый из нас, кто соприкасается с ситуацией, испытывает чувство униженности... Вот нам предстоит подвергнуть глубокому ментоскопированию двух членов Всемирного совета — только для того,

чтобы восстановить, о чем же это там шла речь во время исторического собеседования в «Доме Леонида»... И заметь, ни члены Совета, ни мы этого ментоскопирования не хотим, оно унижает нас всех, а деваться некуда, хотя шансы на успех, как ты сам понимаешь, менее чем проблематичны...

ГЛУМОВ. Но у вас же есть своя агентура среди них!

КАММЕРЕР. Точнее, не «среди», а около. «Среди» — это мечта. Причем, боюсь, недостижимая... Кто из них захочет помогать нам? Зачем это им? Какое им до нас дело? А? Тойво!

(*Длинная пауза.*)

ГЛУМОВ. Нет, Максим. Я не хочу. Я все понимаю, но я НЕ ХОЧУ!

КАММЕРЕР. Страшно?

ГЛУМОВ. Не знаю. Просто не хочу. Я — человек, и я не хочу быть никем другим. Я не хочу смотреть на вас сверху вниз. Я не хочу, чтобы уважаемые и любимые мною люди казались мне детьми. Я понимаю: вы надеетесь, что человеческое во мне сохранится... Может быть, у вас даже есть основания на это надеяться. Но я не хочу рисковать. Не хочу!

(*Пауза.*)

КАММЕРЕР. Что ж... В конце концов, это даже похвально.

Конец документа 20

....

Я был уверен в успехе. Я ошибся.

Все-таки я плохо тебя знал, Тойво Глумов, мой мальчик. Ты казался мне более жестким, более защищенным, более фанатичным, если угодно.

И наконец, несколько слов об истинной цели этого моего мемуара.

Мой читатель, знакомый с книгой «Пять биографий века», уже догадался, наверное, что цель эта состоит в том, чтобы опровергнуть сенсационную гипотезу П. Сороки и Э. Брауна, будто Тойво Глумов, еще будучи в Арканаре Прогрессором, попал в поле зрения люденов и был опознан ими как свой. Будто тогда же был он ими превращен, переведен на соответствующий уровень и заслан ко мне в КОМКОН-2 в качестве не столько даже соглядатая, сколько дезинформатора и мизинтерпретатора.

Будто на протяжении пяти лет он только тем и занимался, что подогревал в КОМКОНе атмосферу охоты за Странниками, интерпретируя

каждый неверный шаг, каждый просчет, каждую небрежность люденов как проявление деятельности ненавистной сверхцивилизации. Пять лет водил он за нос все руководство КОМКОНа-2 и прежде всего, конечно, шефа своего и покровителя Максима Каммерера. А когда люденов все-таки удалось разоблачить, он разыграл перед доверчивым Биг-Багом последнюю душещипательную комедию и вышел из игры.

Полагаю, что каждый непредубежденный читатель, не знакомый с построениями Сороки и Брауна, дочитавши меня до этого места, пожмет плечами и скажет: «Что за чушь, какая странная у них идея, она же противоречит всему тому, что я только что прочел...» Что же касается читателя предубежденного, читателя, который раньше знал Тойво Глумова только по «Пяти биографиям», то я могу посоветовать ему только одно: постарайтесь взглянуть на предложенный вам здесь материал беспристрастно, не надо подсыпать перчику в проблему люденов, сделавшуюся сегодня уже несколько пресной.

Слов нет, история Большого Откровения содержит много «белых пятен», но я со всей ответственностью утверждаю, что к Тойво Глумову эти пятна никакого отношения не имеют. И со всей ответственностью я заявляю, что все хитроумные построения П. Сороки и Э. Брауна — это просто легкомысленная чушь, очередная попытка взяться правой рукой за левое ухо через-под левое колено.

Что же касается «последней душещипательной комедии», то я только об одном жалею, только за одно кляну себя и по сей день. Не понял я тогда, старый толстокожий носорог, не сумел предощутить, что вижу Тойво Глумова в последний раз.

....

ДОКУМЕНТ 21

Свердловск, «Тополь 11», кв. 9716
М. Каммереру

Биг-Баг!

Сегодня меня посетил Логовенко. Беседа продолжалась с 12.15 до 14.05. Логовенко был очень убедителен. Суть: все не так просто, как мы это себе представляем. Например, утверждается, будто период стационарного развития человечества заканчивается, близится эпоха потрясений (биосоциальных и психосоциальных), главная задача люденов в отношении человечества, оказывается, стоять на страже (так сказать, «над пропастью во ржи»). В настоящее время на Земле и в Космосе обитают и играют 432 людена. Мне предлагается стать 433-м, для чего я должен прибыть в Харьков, в Институт Чудаков, послезавтра, 20 мая, к 10.00.

Враг рода человеческого нашептывает мне, что только полный идиот способен отказаться от такого шанса — обрести сверхзнание и власть над Вселенной. Этот шепот мне удается заглушить без особого труда, ибо я — человек непрестижный, как Вам хорошо известно, и не терплю элиты ни в каком обличье. Не скрою, что впечатление от последней беседы с Вами запало мне в душу гораздо глубже, нежели мне хотелось бы. Крайне неприятно ощущать себя дезертиром. Я бы не колебался в выборе ни секунды, но я уверен абсолютно: как только они превратят меня в людена, ничего (НИЧЕГО!) человеческого во мне не останется. Признайтесь, в глубине души и Вы думаете то же самое.

Я не поеду в Харьков. За эти дни я основательно все обдумал, и я не поеду в Харьков, во-первых, потому, что это было бы предательством по отношению к Асе. Во-вторых, потому, что я люблю мать и высоко почитаю ее. В-третьих, потому, что я люблю своих товарищей и свое прошлое. Превращение в людена — это моя смерть. Это гораздо хуже смерти, потому что для тех, кто меня любит, я останусь живым, но неузнаваемо отвратным. Спесивым, самодовольным, самоуверенным типом. Вдобавок еще и вечным, наверное.

Завтра я вслед за Асей улетаю на Пандору.

Прощайте. Желаю Вам удачи.

Ваш Т. Глумов

18 мая 99 г.

Конец документа 21

....

ДОКУМЕНТ 22

КОМКОН-2
«Урал — Север»

РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 086/99

Дата: 14 ноября 99 года.
Автор: С. Мтбевари, инспектор.
Тема 081: «Волны гасят ветер».
Содержание: разговор с Т. Глумовым.

Согласно Вашему распоряжению воспроизвожу по памяти мою беседу с бывшим инспектором Т. Глумовым, происшедшую в середине июля с. г. Около 17 часов, когда я находился в своем рабочем кабинете, раздался видеофонный вызов, и на экране появилось лицо Т. Глумова. Он был весел, оживлен, шумно меня приветствовал. С тех пор как я видел его в последний раз, он слегка пополнел. Последовал примерно такой разговор.

ГЛУМОВ. Куда девался шеф? Я пытаюсь связаться с ним весь день, и без всякого толку.

Я. Шеф в командировке, вернется не скоро.

ГЛУМОВ. Очень жалко. Он мне позарез нужен. Я бы очень хотел с ним поговорить.

Я. Сделай письмо. Ему перешлют.

ГЛУМОВ (*поразмыслив*). Долгая история. (*Эту фразу я помню точно.*)

Я. Тогда скажи, что ему передать. Или как с тобой связаться. Я запишу.

ГЛУМОВ. Нет. Мне непременно лично.

Больше ничего существенного сказано не было. Точнее, я не помню.

Хочу подчеркнуть, что в то время я знал о Т. Глумове только то, что он уволился по личным обстоятельствам и убыл к жене на Пандору. Именно поэтому мне не пришло в голову выполнить самые элементарные действия, а именно: зарегистрировать разговор; установить канал связи; поставить в известность Президента и т. д. Могу добавить только: у меня сохранилось впечатление, будто Т. Глумов находится в помещении, освещенном естественным, солнечным светом. Видимо, в этот момент он находился на

Земле, в восточном полушарии.

Сандро Мтбевари

Конец документа 22

....

ДОКУМЕНТ 23

Президенту сектора
«Урал — Север» КК-2

Дата: 23 января 201 года.
Автор: М. Каммерер, начальник отдела ЧП.
Тема 060: Т. Глумов, метагом.

Президент!

Мне нечего Вам сообщить. Встреча не состоялась. Я прождал его на Красном Пляже до темноты. Он не явился.

Конечно, не составило бы труда отправиться к нему домой и подождать его там, но мне кажется, это было бы тактической ошибкой. Ведь он не имеет целью морочить нас. Он просто забывает. Подождем еще.

М. Каммерер

Конец документа 23

....

ДОКУМЕНТ 24

КОМКОН-1
Председателю комиссии «Метагом»
Комову Г. Ю.

Мой Капитан!

Препровождаю тебе два любопытных текста, имеющих прямое отношение к предмету твоего нынешнего азарта.

ТЕКСТ 1. (Записка Т. Глумова, адресованная М. Каммереру.)

Дорогой Биг-Баг!

Я кругом виноват. Но готов исправиться. Послезавтра, 2-го, ровно в 20.00 НЕПРЕМЕННО буду дома. Жду. Гарантирую лакомства и обещаю все объяснить. Хотя, как я понимаю, особой необходимости в этом пока нет.

ТЕКСТ 2. (Письмо А. Глумовой, адресованное М. Каммереру, вместе с запиской Т. Глумова.)

Уважаемый Максим!

Он попросил меня переслать Вам эту записку. Почему он сам не послал ее Вам? Почему просто не позвонил Вам, чтобы назначить свидание? Ничего этого я не понимаю. Последнее время я вообще редко его понимаю, даже когда речь идет о самых, казалось бы, простых вещах. Зато я знаю, что он несчастен. Как и все они. Когда он со мной, он мучается скукой. Когда он там, у себя, он обо мне тоскует, иначе он бы не возвращался. Жить так ему, разумеется, невозможно, и он должен будет выбрать что-то одно. Я знаю, что именно он выберет. Последнее время он возвращается все реже и реже. Я знаю его собратьев, которые и вовсе перестали возвращаться. Им больше нечего делать на Земле.

Что касается его приглашения, то, конечно, я рада буду Вас увидеть, но не рассчитывайте, что он будет. Я — не рассчитываю.

Ваша
А. Глумова

Разумеется, Каммерер пошел на свидание, и, разумеется, Т. Глумов не явился.

Они уходят, мой Капитан. Собственно говоря, они ушли. Совсем. Несчастные, и оставив за собой несчастных.

Человечность. Это серьезно.

Как все это не похоже на те апокалиптические картины, которые мы рисовали друг другу четыре года назад! Помнишь, как старик Горбовский, хитро улыбаясь, прокряхтел: «Волны гасят ветер...»? Все мы понимающе закивали, а ты, помнится, даже продолжил эту цитату с видом, многозначительным до кретинизма. Но разве поняли мы его тогда? Никто из нас не понял. И теперь, мой Капитан, когда они ушли и не вернутся больше, мы все вздохнули теперь с облегчением. Или с сожалением? Я не знаю. А ты?

Твой

Атос

13.11.202 года.

Конец документа 24

....

И ПОСЛЕДНИЙ ДОКУМЕНТ

Максим!

Я ничего не могу сделать. Передо мной расшаркиваются в извинениях, меня уверяют в совершенном уважении и сочувствии, но ничего не меняется. Они уже сделали Тойво «фактом истории».

Я понимаю, почему молчит Тойво, — ему все это безразлично, да и где он, в каких мирах?

Я догадываюсь, почему молчит Ася, — страшно сказать, но ее, видимо, убедили.

Но почему молчите Вы? Ведь Вы любили его, я знаю, и он любил Вас!

М. Глумова
30 июня 226 года. Нарва-Йыэсуу

Как видите, я не молчу больше, Майя Тойвовна. Я сказал. Все, что мог, и все, что сумел сказать.

Б. Стругацкий

КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

1979 – 1984 гг.

«ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ»

Все началось с того, что давным-давно, в совсем уж незапамятные времена, малолетний сынишка БНа неожиданно для себя и для окружающих сочинил вдруг песенку-считалку:

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

Выкрикивая на разные лады эти странноватые и диковатые, недетские какие-то, стишки, носился он по квартире, а БН смотрел на него и думал: «Черт побери, какие замечательные слова! Надо же как ловко придумал, паршивец. Отличный эпиграф может получиться к чему-нибудь!..» И воображению его рисовались какие-то смутные картинки... какие-то страшные и несчастные чудовища... трагически одинокие и никому не нужные... уродливые, страждущие, ищущие человеческой приязни и помощи, но получающие вместо всего этого пулю от перепуганных, ничего не понимающих людей...

Смутные эти ощущения удалось передать и АНу, состоялся довольно бессвязный, но тем не менее плодотворный обмен эмоциями и картинками, и возник некий замысел, пока еще совершенно неопределенный и никак не формулируемый, ясно было только, что повесть должна называться «Стояли звери около двери» и эпиграфом у нее будет «стишок маленького мальчика», – в первый и последний раз у АБС замысел нового произведения возник из будущего эпиграфа к нему (или – из названия, что в данном случае одно и то же).

В сентябре 1975 появляются первые наметки будущей повести. Там есть уже и саркофаг с двенадцатью зародышами, и гипотезы, объясняющие этот саркофаг, и Лев, 20-ти лет, ученик-прогрессор, и Максим Каммерер – начальник контрразведки Опекунского совета, и еще множество обстоятельств, ситуаций и героев, вполне годящихся к употреблению. Сюжета, впрочем, пока нет, и совершенно неясно, каким именно образом должно развиваться действие.

Обсуждение СЗоД продолжается и в октябре, и в декабре, а потом

планы резко меняются – мы начинаем писать сценарий для Тарковского, – и в работе над новой повестью наступает длительный перерыв.

На протяжении 1976-го мы несколько раз возвращаемся к этой повести, продолжаем придумывать детали и эпизоды, новых героев, отдельные фразы, но не более того. Сюжет не складывается. Мы никак не найдем тот стержень, на который можно было бы нанизать уже придуманное, как шашлык нанизывают на шампур. Поэтому, вместо настоящей работы, мы конструируем (причем во всех подробностях) сюжет фантастического детектива, действие которого развивается на некоем острове в океане: масса трагических событий, тайны, загадки, многочисленные умертвия, в финале все действующие лица гибнут до последнего человека, – подробнейшее расписание эпизодов, все готово для работы, осталось только сесть и писать, но авторы вместо того (а это уже ноябрь 1976) вдруг принимаются разрабатывать совсем новый сюжет, которого раньше и в замысле не было.

Это история нашего старого приятеля Максима, который со своим дружком голованом Щекном идет по мертвому городу несчастной планеты Надежда. Бедные «Звери...», казалось бы, заброшены и забыты окончательно и навсегда. В феврале 1977 мы начинаем и единым духом (в один присест) заканчиваем черновик повести о Максиме и Щекне, и тут же обнаруживаем, что у нас получилось нечто странное – нечто без начала и конца, и даже без названия. Исполненные недоумения и недовольства собою, мы откладываем в сторону эту нежданную и нежеланную рукопись и возвращаемся к работе над сценариями. (Забавно: тогда нам казалось, что мы ловко придумали «бешенство генных структур на Надежде», странную и страшную болезнь, когда ребенок за три года превращается в старика, – нам казалось это эффектной и оригинальной выдумкой. И только много лет спустя узнали мы о хорошо известном современной науке эффекте преждевременной старости – прогерии – и том, что сконструированные нами фантастические явления описаны еще в начале XX века под названием синдром Вернера. Воистину, ничего нельзя придумать: все, что тобою придумано, либо существовало уже когда-то, либо будет существовать, либо существует сегодня, сейчас, но тебе неизвестно.)

То было время (почти весь 1977 и почти весь 1978), когда мы отделывали, доводили до ума и шлифовали сразу три сценария: по «Понедельнику», по «Отелю» и по «Трудно быть богом» (очередной бесперспективный вариант для очередного малоперспективного режиссера). Все остальные дела были заброшены, и только в ноябре 1978 года возвращаемся мы к нашим «Зверям» и, что характерно, сразу же

начинаем писать черновик – видимо, количество перешло у нас наконец в качество, нам сделалось ясно, как строится сюжет (погоня за неуловимым Львом Абалкиным) и куда пристроить уже написанный кусок со Щекном на планете Надежда.

Черновик мы закончили 7 марта 1979 года, решительно преодолев два возникших к концу этой работы препятствия. Во-первых, мы довольно долго не могли выбрать финал. Вариант гибели Льва Абалкина был трагичен, эффектен, но достаточно очевиден и даже банален. Вариант, когда Максиму удается-таки спасти Абалкина от смерти, имел свои достоинства, но и свои недостатки тоже, и мы колебались, не в силах сделать окончательный выбор, все время, по ходу работы, перестраивая сюжет таким образом, чтобы можно было в любой момент использовать ту или иную концовку. Когда все возможности маневрирования оказались исчерпаны, мы вспомнили Ильфа и Петрова. Были заготовлены два клочка бумаги, на одном написано было, как сейчас помню, «живой», на другом – «нет». Клочки брошены были в шапку АН, и мама наша твердой рукою извлекла «нет». Судьба концовки и Льва Абалкина оказалась решена.

(Дьявольские, однако, шутки играет с нами наша память. Предыдущий абзац я написал, будучи АБСОЛЮТНО уверен, что так оно все и было. И вот месяц спустя, просматривая рабочий дневник, я обнаружил вдруг запись, датированную 29.10.1975, из коей следует, что жребий, да, имел место, но решал он отнюдь не вопрос, будет ли концовка трагической – «со стрельбой» – или мирной. Совсем другую он проблему разрешал: как скоро Лев Абалкин узнаёт всю правду о себе. Рассматривалось три варианта:

> «1. Лев ничего не знает и ничего не узнаёт.
> 2. Лев ничего не знает, затем постепенно узнаёт.
> 3. Лев знает с самого начала.
> Мама выбрала (3) со стрельбой».

Вот тебе и на! Но ведь на самом-то деле АБС, фактически, писали вариант (2)! Правда, – «со стрельбой». И на том спасибо. Ведь даже и месяц спустя в дневнике мы пишем: «М. б. кончить не смертью, а подготовкой к ней? Странник провожает его взглядом». Не-ет, всегда, с незапамятных времен, сомневался я как в достоверности истории вообще, так любых мемуаров, в частности, – и правильно, надо думать, сомневался... Оставляю, впрочем, предыдущий абзац без каких-либо изменений. Пусть вдумчивый читатель получит в свое распоряжение образец мемуарного «прокола», характерного именно для данных

комментариев. Может быть, это поможет ему оценить меру достоверности всего текста в целом.)

Теперь о другом препятствии, гораздо более серьезном. Мы прекрасно понимали, что у нас получается нечто вроде детектива – история расследования, поиска и поимки. Однако, детектив обладает своими законами существования, в частности, в детективе не должны оставаться какие-либо необъясненности, и никакие сюжетные нити не имеют права провисать или быть оборваны. У нас же таких оборванных нитей оказалось полным-полно, их надобно было специальным образом связывать, а нам этого не хотелось делать самым решительным образом. Застарелая нелюбовь АБС к каким-либо объяснениям и растолкованиям текста вспыхнула по окончании повести с особенной силой.

1. Что произошло между Тристаном и Абалкиным там, на Саракше?
2. Как (и зачем) Абалкин оказался в «Осинушке»?
3. Зачем ему понадобилось общаться с доктором Гоаннеком?
4. Зачем ему понадобилось общаться с Майкой?
5. Что ему нужно было от Учителя?
6. Зачем звонил он журналисту Каммереру?
7. Зачем ему понадобился Щекн?
8. Как удалось ему выйти на доктора Бромберга?
9. Зачем в конце повести он идет в Музей внеземных культур?
10. Что, собственно, произошло там, в Музее?

И наконец, самый фундаментальный вопрос:

11. Почему он, Абалкин (если он, конечно, не есть в самом деле автомат Странников, а по замыслу авторов он, конечно, никакой не автомат, а несчастный человек с изуродованной судьбой), почему не пошел он с самого начала к своим начальникам и не выяснил по-доброму, по-хорошему всех обстоятельств своего дела? Зачем понадобилось ему метаться по планете, выскакивать из-за угла, снова исчезать и снова внезапно появляться в самых неожиданных местах и перед самыми неожиданными людьми?

Во всяком добропорядочном детективе все эти вопросы, разумеется, должно было бы подробно и тщательно разложить по полочкам и полностью разъяснить. Но мы-то писали не детектив. Мы писали трагическую историю о том, что даже в самом светлом, самом добром и самом справедливом мире появление тайной полиции (любого вида, типа, жанра) неизбежно приводит к тому, что страдают и умирают ни в чем не повинные люди, – какими благородными ни были бы цели этой тайной полиции и какими бы честными, порядочнейшими и благородными

сотрудниками ни была эта полиция укомплектована. И в рамках таким вот образом поставленной литературной задачи заниматься объяснениями необъясненных сюжетных второстепенностей авторам было и тошно, и нудно.

Сначала мы планировали написать специальный эпилог, где и будут поставлены все точки над нужными буквами, все будет объяснено, растолковано, разжевано и в рот читателю положено. Сохранился листочек с одиннадцатью сакраментальными вопросами и с припиской внизу: «30 апреля 1979 г. Вопрос об эпилоге – посмотрим, что скажут квалифицированные люди». На самом деле, я полагаю, вопрос об эпилоге был нами решен уже тогда, вне всякой зависимости от мнения «квалифицированных людей». Мы уже понимали, что написана повесть правильно: все события даны с точки зрения героя – Максима Каммерера – так, что в каждый момент времени читателю известно ровно столько же, сколько и герою, и все решения он, читатель, должен принимать вместе с героем и на основании доступной ему (отнюдь не полной) информации. Эпилог при такой постановке литературной задачи становился абсолютно не нужен. Тем более, что, как показал опыт, «квалифицированные люди» оборванных нитей либо не замечали вовсе, либо, заметив, каждый по-своему, но отнюдь не без успеха, связывали их сами.

На самом деле, ответы на большинство из вопросов рассыпаны в неявном виде по всему тексту повествования, и внимательный читатель без особенного труда способен получить их вполне самостоятельно. Например, любому читателю вполне доступно догадаться, что в «Осинушке» Абалкин оказался совершенно случайно (уходя от слежки, которая чудилась ему в каждом встречном и поперечном), а к доктору Гоаннеку он обратился в надежде, что опытный врач-профессионал без труда отличит человека от робота-андроида.

Принципиально особенным является первый вопрос. Чтобы ответить на него, недостаточно внимательно читать текст – надо ПРИДУМАТЬ некую ситуацию, которая авторам, разумеется, известна во всех деталях, но в повести присутствует лишь как некое древо последствий очевидного факта: Абалкину откуда-то (ясно, откуда – от Тристана) и каким-то образом (каким? – в этом и состоит загадка) удается узнать, что ему почему-то запрещено пребывание на Земле и запрет этот каким-то образом связан с КОМКОНом-2 (отсюда – бегство Абалкина с Саракша, неожиданный и невозможный звонок его Экселенцу, вообще все странности его поведения). Разумеется, я мог бы здесь изложить суть этой исходной сюжетообразующей ситуации, но мне решительно не хочется этого делать.

Ведь ни Максим, ни Экселенц ничего не знают о том, что произошло между Тристаном и Абалкиным на Саракше. Они вынуждены только строить гипотезы, более или менее правдоподобные, и действовать, исходя из этих своих гипотез. Именно процедура поиска и принятия решений как раз и составляет самую суть повести, и мне хотелось бы, чтобы читатель строил СВОИ гипотезы и принимал СВОИ решения одновременно и параллельно с героями – на основании той и только той информации, которой они обладают. Ведь знай Экселенц, что на самом деле произошло с Тристаном на Саракше, он воспринимал бы поведение Абалкина совершенно иначе, и у повести нашей было бы совсем другое течение и совершенно другой, далеко не столь трагичный конец.

Использовать эти мои комментарии для объяснений необъясненного означало бы фактически дописать тот самый эпилог повести, от которого авторы в свое время отказались. Потому я и не стану ничего здесь объяснять, оставив повесть в первозданном ее виде в полном соответствии с исходным замыслом авторов.

Чистовик мы добили окончательно в конце апреля 1979 года и тогда же – но никак не раньше! – приняли новое название «Жук в муравейнике» вместо старого «Стояли звери...». От исходного замысла остался только эпиграф. За него, помнится, нам пришлось сражаться буквально не на жизнь, а на смерть с окончательно сдуревшим идиотом-редактором из Лениздата, которому втемяшилось в голову, что стишок этот авторы на самом деле придумали, переиначив (зачем?!) какую-то богом забытую маршевую песню гитлерюгенда (!!!). Причем эту – истинную – причину редакторской активности мне сообщил по секрету «наш человек в Лениздате», а в открытую речь шла только о нежелательных аллюзиях, акцентах и ассоциациях, каким-то таинственным образом связанных со злосчастным «стишком маленького мальчика».

> 9.09.82 – БН: «...В общем, битых полтора часа мы с Брандисом (который также был вызван, как составитель и автор предисловия) доказывали этому дубине, что нет там никаких аллюзий и что не ночевали там ни акценты, ни ассоциации, ни прочие иностранцы, а есть там, напротив, только Одержание и Слияние... Скажи мне: почему они всегда одерживают над нами победы? Я полагаю, потому, что им платят за то, чтобы они напирали, а нам за то, чтобы мы уступали...»

Отстоять эпиграф так и не удалось. С трудом удалось оставить в тексте

сам стишок, основательно его, впрочем, изуродовав. (Никогда в жизни не согласились бы мы на такое издевательство, но повесть шла в сборнике вместе с произведениями других авторов, и получалось так, что из-за нашего «капризного упрямства» страдают ни в чем не повинные собратья-писатели.)

«ХРОМАЯ СУДЬБА»

История написания этого романа необычна и достаточно сложна, так что, приступая сейчас к ее изложению, я испытываю определенные трудности, не зная, с чего лучше начать и в какой последовательности излагать события.

Во-первых, – название. Оно было придумано давно и предназначалось для совсем другой повести – «о человеке, которого было опасно обижать». Эту повесть мы обдумывали на протяжении многих лет, то приближаясь к ней вплотную, то отдаляясь, казалось бы, насовсем, и в конце концов АН написал ее сам, в одиночку, под псевдонимом С. Ярославцев и под названием «Дьявол среди людей». Первоначальное же ее название – «Хромая судьба» – мы отдали роману о советском писателе Феликсе Сорокине и об унылых его приключениях в мире реалий развитого социализма.

Роман этот возник из довольно частного замысла: в некоем институте вовсю идет разработка фантастического прибора под названием Menzura Zoili, способного измерить ОБЪЕКТИВНУЮ ценность художественного произведения. Сам этот термин мы взяли из малоизвестного рассказа Акутагавы, и означает он в переводе что-то вроде «Измеритель Зоила», где Зоил – это древнегреческий философ, прославившийся в веках особенно злобной критикой Гомера, так что имя его стало нарицательным для обозначения ядовитого, беспощадного и недоброжелательного критика вообще. Первое в нашем рабочем дневнике упоминание о произведении с таким названием относится аж к ноябрю 1971-го года! Но тогда задумывалась пьеса, а не роман.

Самые же первые подробные обсуждения именно романа состоялись, судя по дневнику же, только в ноябре 1980-го, потом снова возник перерыв длиной почти в год, до октября 1981-го, и только в январе 82-го начинается обстоятельная работа над черновиком. К этому моменту все узловые ситуации и эпизоды были определены, сюжет готов полностью, и окончательно сформулировалась литературная задача: написать булгаковского «Мастера»-80, а точнее, не Мастера, конечно, а бесконечно талантливого и замечательно несчастного литератора Максудова из «Театрального романа» – как бы он смотрелся, мучился и творил на фоне неторопливо разворачивающихся, «застойных» наших «восьмидесятых». Прообразом Ф. Сорокина взят был АН с его личной биографией и даже, в

значительной степени, судьбой, а условное название романа в этот момент было – «Торговцы псиной» (из все того же рассказа Акутагавы: «С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, всем им – крышка...»).

Обработка черновика закончена была в октябре 1982, и тогда же совершилось переименование романа в «Хромую судьбу», и эпиграф был найден – мучительно грустная и точная хокку старинного японского поэта Райдзана об осени нашей жизни. (Мало кто это замечает, а ведь «Хромая судьба» это – прежде всего – роман о беспощадно надвигающейся старости, от которой нет нам ни радости, ни спасения – «признание в старости», если угодно.)

«Хромая судьба» – второй (и последний) наш роман, который мы совершенно сознательно писали «в стол», понимая, что у него нет никакой издательской перспективы. Журнальный вариант его появился только в 1986 году, в ленинградской «Неве», – это было (для нас) первое чудо разгорающейся Перестройки, знак Больших Перемен и примета Нового времени. И именно тогда впервые встала перед нами проблема совершенно особенного свойства, казалось бы, вполне частная, но в то же время настоятельно требующая однозначного и конкретного решения.

Речь шла о Синей Папке Феликса Сорокина, о заветном его труде, любимом детище, тщательно спрятанном от всех и, может быть, навсегда. Работая над романом, мы, для собственной ориентировки, подразумевали под содержимым Синей Папки наш «Град обреченный», о чем свидетельствовали соответствующие цитаты и разрозненные обрывки размышлений Сорокина по поводу своей тайной рукописи. Конечно, мы понимали при этом, что для создания у читателя по-настоящему полного впечатления о второй жизни нашего героя – его подлинной, в известном смысле, жизни – этих коротких отсылок к несуществующему (по понятиям читателя) роману явно недостаточно, что в идеале надобно было бы написать специальное произведение, наподобие «пилатовской» части «Мастера и Маргариты», или хотя бы две-три главы такого произведения, чтобы вставить их в наш роман... Но подходящего сюжета не было, и никакого материала не было даже на пару глав, так что мы сначала решились, скрепя сердце, пожертвовать для святого дела двумя первыми главами «Града обреченного» – вставить их в «Хромую судьбу», и пусть они там фигурируют как содержимое Синей папки. Но это означало украсить один роман (пусть даже и хороший) ценой разрушения другого романа, который мы нежно любили и бережно хранили для будущего (пусть даже недосягаемо далекого). Можно было бы вставить «Град

обреченный» в «Хромую судьбу» ЦЕЛИКОМ, это решало бы все проблемы, но в то же время означало бы искажение всех и всяческих разумных пропорций получаемого текста, ибо в этом случае вставной роман оказывался бы в три раза толще основного, что выглядело бы по меньшей мере нелепо.

И тогда мы вспомнили о старой нашей повести – «Гадкие лебеди». Задумана она была в апреле 1966, невероятно давно, целую эпоху назад, и написана примерно тогда же. К началу 80-х у нее уже была своя, очень типичная судьба – судьба самиздатовской рукописи, распространившейся в тысячах копий, нелегально, без ведома авторов, опубликованной за рубежом и прекрасно известной «компетентным органам», которые, впрочем, не слишком рьяно за ней охотились – повесть эта проходила у них по разряду «упаднических», а не антисоветских.

Писались «Гадкие лебеди» для сборника наших повестей в «Молодой Гвардии». Этот сборник («Второе нашествие марсиан» плюс «Гадкие лебеди») был даже объявлен в плане 1968-го, кажется, года, но вышел он в другом составе: вместо «Лебедей» поставлены там были «Стажеры». «Лебеди» – не прошли. От них веяло безнадежностью и отчаянием, и даже если авторы согласились бы убрать оттуда многочисленные и совершенно неистребимые «аллюзии и ассоциации», этого горбатого (как говаривали авторы по поводу некоторых своих произведений и до, и после) не смог бы исправить даже наш советский колумбарий. Это было попросту невозможно, хотя авторы и попытались разбавить мрак и отчаяние, дописав последнюю главу, где Будущее, выметя все поганое и нечистое из настоящего, является читателю в виде этакого Homo Novus, всемогущего и милосердного одновременно. (В самом первом варианте повесть кончалась сценой в ресторане и словами Голема: «...бедный прекрасный утенок».)

Второй и последний вариант «Гадких лебедей» был закончен в сентябре 1967 года и окончательно отклонен «Молодой Гвардией» в октябре. Больше никто ее брать не захотел. Повесть перешла на нелегальное положение.

> 1.10.68 – БН: «...Люди, приехавшие из Одессы, рассказывают, что там продается с рук машинопись ГЛ – 5 руб. штука. Ума не приложу, каким образом это произошло. Я давал только проверенным людям».

БН сильно подозревал в потере бдительности и в распространении АНа, АН – БНа. Но дело было в другом: рукопись шла в нелегальную

распечатку прямо в редакциях, куда попадала вполне официально и откуда, растиражированная, уходила «в народ». Авторы не сразу поняли, что происходит, но и поняв, отнюдь не смутились и продолжали давать рукопись все в новые и новые редакции – у нас это называлось «стрелять по площадям», на авось, вдруг где-нибудь, как-нибудь, божьим попущением и проскочит.

Не проскочило. Сейчас уже невозможно вспомнить, в каких именно журналах побывала рукопись. Сохранились отдельные об этом упоминания в письмах и в дневниках. Так, видимо, летом 1970 повесть лежала в «Новом Мире», а зимой – в «Неве».

> 9.01.71 – БН: «...информация о том, что Ю. Домбровский дал, якобы, положительную рецензию на ГЛ, есть информация ложная. Изя Кацман виделся с Домбровским на Новый год, и тот сказал, что ему, действительно, предлагали ГЛ на рецензию, но он отказался ее брать, ибо «в фантастике ничего не понимает и рецензировать то, в чем не разбирается, не может». В «Неву» насчет ГЛ я не звонил еще...»
>
> 10.02.71 – БН: «Как и следовало ожидать, дело с ГЛ в «Неве» не выгорело...»

Сохранилось несколько любопытных образцов обмена информацией по поводу публикации «Гадких лебедей» в журнале «Юность» (где главредом в то время был Борис Полевой).

> 30.09.71 – АН: «...Перед самым отъездом зашел в ЦДЛ и натолкнулся на Полевого. Он взял меня за руку и строго сказал: «Мы вас рекламируем. Давайте вещь». Я нагло ответил: «Мы-то дадим, а вот возьмете ли вы?» На этом разговор закончился. Я не успел больше ни слова сказать, его уже увлекли. Забавная ситуация. Я тут пораскинул умом и подумал: может, дать небольшую повестушку на основе спрута Спиридона, листов этак на 3 – 4? Что-нибудь либо о суде над кашалотами, либо о дипломатии, все с героями ПНвС...»
>
> 3.10.71 – БН: «...Поведение Полевого любопытно. <...> знаешь, что я предлагаю? Сунь им ГЛ! Чем мы в конце концов рискуем? Может, хоть какой-нибудь «журнальный» вариант да пройдет. Ну, а если не пройдет, тогда можно будет дать заявку и на Спиридона. <...> вдруг ГЛ все-таки пройдет? Ведь у них тираж

падает, дела у них неважнецкие, а то бы они к нам хрен бы обратились. А тут повесть о загнивании буржуазной морали, о том, что капитализм будущее губит. То, се. Ей-богу, стоит попробовать...»

6.10.71 – АН: «...Идея сунуть Полевому ГЛ мне приходила в голову, но я отмел ее как недостаточно безумную. Что ж, если ты так считаешь, то я сделаю. Только нужно изменить название. ГЛ – очень уж одиозно. Пожалуй возьмем что-либо вроде «Прекращение дождя» или «Когда перестал дождь». Вышли свои соображения по названию...»

11.10.71 – БН: «...Вместо ГЛ я предлагаю названия: «Год Воды»; «Время ковчега»; «Сделай себе ковчег из дерева гофер» (это слова Бога – Ною); «Сорок дней и сорок ночей» (время излития дождя накануне потопа); «Время дождя». А вообще, наверное, неважно, какое будет название – если они примут, придумаем. Но хорошо бы его связать с Великим Потопом – так сказать Великий потоп коммунизма на одряхлевшего Ноя капиталистической идеологии...»

13.11.71 – АН: «...ГЛ (он же «Время дождей») вручил при потешнейших обстоятельствах. Перед тем, как идти на Маяковскую, куда переехала «Юность», зашел я в наш кабак пообедать. Стою, смотрю, где есть место, и вдруг меня тянут за брючину. Гляжу – сидит за столиком Мери Лазаревна Озерова, зав. отделом худлитературы в «Юности».

– Где обещанная рукопись?

– У меня. Я хотел поговорить с Полевым...

– Где она? У вас с собой?

– Да, но я хотел переговорить...

– Нечего вам переговаривать. Давайте сюда.

– Вот, пожалуйста, но мне нужно...

– Потом, потом. Вот прочитаем, тогда и будем разговаривать.

Так все и закончилось. Унесла она в хищном клюве ГЛ (ВД), пообещав позвонить...»

На этом все «препотешнейшее», что связывалось с ГЛ в «Юности», закончилось раз и навсегда. Начались сумрачные будни. Собственно, ничего такого уж неожиданного не произошло.

29.01.72 – АН: «...В «Юности» полнейший разгром. На

нижнем уровне вещь приняли на ура, но прочитал Полевой и объявил, что это никуда не годится, при этом долго втолковывал нижнему уровню насчет Маркузе и насчет того, что никакого нацизма в ФРГ нет. <...> Тут же подключился Преображенский и написал, что совершенно согласен с мнением Бориса Николаевича. Любопытная деталь: никто на нижнем уровне в глаза не видел рецензий Полевого и Преображенского. Обе рецензии были выполнены в одном экземпляре и сразу же переданы в бухгалтерию на предмет оплаты. Рукопись я забрал и положил на полку. Пусть пока полежит...»

И рукопись легла на полку. Теперь уже прочно. Надолго. Авторы временно перестали трепыхаться и совать ее туда-сюда. Они еще не знали тогда, а судьба этой их повести уже была решена и на много лет вперед. В ноябре 1972 АН передал БНу с оказией письмо, содержащее отчет о своей встрече с пресловутым, ранее уже упоминавшимся в связи со «Сказкой о Тройке», товарищем Ильиным (бывшим генералом КГБ, а в те времена – секретарем Московской писательской организации по организационным вопросам).

24.11.72 – АН: «...В понедельник 13-го я был у Ильина. Перед этим (вот совпадение!) я отнес в «Мир» рецензию, и тут Девис, криво ухмыляясь и глядя в угол, рассказал: во Франкфурте-на-Майне имела состояться выставка книгопродукции издательств ФРГ, всяких там ферлагов. От нас выставку посетили Мелентьев (ныне зам. председателя ГК по печати) и руководство «Мира» и «Прогресса». Добрались до стенда издательства «Посев». Выставлено пять книг: Исаич «1914», двухтомник Окуджавы, реквизированный Гроссман, «Семь дней творения» В. Максимова и Мы с Тобой «ГЛ». Поверх всего этого – увеличенные фотопортреты авторов вышеперечисленных и, якобы, надпись: «Эти русские писатели не примирились с существующим режимом». <...> Ну, прямо от Девиса пошел я, судьбою палимый, к Ильину. Думаю, быть мне обосрану, а нам – битыми. Ан нет. Встретил хорошо, даже за талию, по-моему, обнял, не за стол – в интимные угловые креслица усадил и принялся сетовать на врагов, которые нас так спровоцировали. Ласков был до чрезвычайности. Коротко, все сводится к тому, что нам надобно кратко и энергично, с

> политическим акцентом отмежеваться. Эту бумагу должен составить ты, перешлешь ее мне (это не опасно, сам понимаешь), а я уж понесу ее Ильину и буду тянуть...»

(Странно читать это сегодня, правда? Письмо из другого времени и с другой планеты... Дабы усилить это ощущение, не могу удержаться, чтобы не процитировать из того же письма кусочек, прямого отношения к литературе не имеющий: «...Как стало достоверно известно, Петр Якир, просидев на площади около месяца, вдруг затребовал свидания с дочерью и, оное получив, велел передать ей, что в корне изменил свои убеждения и просит всех прежних своих сторонников своим сторонником его, Петра Якира, не считать. После этого он принялся закладывать ВСЕХ. Повторяю: ВСЕХ. <...> Прошу тебя иметь это в виду и, если есть у тебя основания, сделать выводы...»)

Разумеется, БН немедленно набросал и переслал в Москву текст решительного отмежевания от «акции, произведенной без ведома и согласия авторов, явно преследующей провокационные политические цели и являющей собою образец самого откровенного литературного гангстеризма». Или что-то в этом же роде, – не помню точно, в каком именно виде это оказалось опубликовано в «Литературной газете», а в архиве сохранился только самый первый черновик.

На этой истерически высокой ноте эпопея «Гадких лебедей» обрела свой заслуженный конец. Отныне (и присно, и во веки веков) ни о какой публикации названной вещи не могло быть и речи. Она теперь уж окончательно оказалась занесена в черные списки и сделалась «табу» для любого издательства в СССР, а равно и в странах социализма.

Согласитесь, повесть с такой биографией вполне годилась на роль содержимого Синей папки. «Гадкие лебеди» входили в текст «Хромой судьбы» естественно и ловко, словно патрон в обойму. Это тоже была история о писателе в тоталитарной стране. Эта история также была в меру фантастична и в то же время совершенно реалистична. И речь в ней шла, по сути, о тех же вопросах и проблемах, которые мучили Феликса Сорокина. Она была в точности такой, какой и должен был написать ее человек и писатель по имени Феликс Сорокин, герой романа «Хромая судьба». Собственно, в каком-то смысле он ее и написал на самом деле.

Предложенный ленинградской «Неве» вариант «Хромой судьбы» уже содержал в себе «Гадкие лебеди». Впрочем, из этой первой попытки ничего путного не получилось. Я, разумеется, рассказал (обязан был рассказать!) историю «Лебедей» главному редактору журнала, и тот пообещал выяснить

ситуацию в обкоме (1986 год, самое начало, перестройка еще пока только чадит и дымит, никто ничего не знает, ни внизу, ни на самом верху, все возможно – в том числе и мгновенный поворот на сто восемьдесят градусов). Видимо, «добро» получить ему не удалось, «Хромая судьба» вышла без Синей папки, да еще вдобавок основательно покуроченная в тупых шестернях бушующей вовсю антиалкогольной кампании имени товарища Лигачева.

Но уже в 1987-м журнал «Даугава» рискнул напечатать «Лебедей» (пусть даже и под ублюдочным названием «Время дождя»), и ничего ужасного из этого не проистекло – небеса не обрушились, и никакие карающие молнии не ударили в святотатцев: времена переменились наконец, и ранее запрещенное сделалось разрешенным. И – о смех богов! – сделавшись разрешенным, запрещенное сразу же стало всем безразлично. Так что и появление в 1989 году полного текста «Хромой судьбы» в великолепном издании ленинградского отделения «Советского писателя» не произвело ни шума, ни сенсации, и вообще вряд ли даже было замечено читающей публикой. Новые времена внезапно наступили, и новый читатель возник – образовался почти мгновенно, словно выпал в кристаллы перенасыщенный раствор, – и возникла потребность в новой литературе, литературе свободы и пренебрежения, которая должна была прийти на смену литературе-из-под-глыб, да так и не пришла, пожалуй, даже и по сей день.

Нам хотелось написать человека талантливого, но безнадежно задавленного жизненными обстоятельствами, его основательно и навсегда взял за глотку «век-волкодав», и он на все согласен, почти со всем уже смирился, но все-таки позволяет иногда давать себе волю, – тайно, за плотно законопаченными дверями, при свечах, потому что в отличие от булгаковского Максудова отлично знает и понимает, что сегодня, здесь, сейчас, можно, а чего нельзя, и всегда будет нельзя... Феликс Сорокин представлялся нам этаким «героем нашего времени», и, может быть, он и был таковым в каком-то смысле, но вот время – прямо у нас на глазах! – переменилось, а вместе с ним и многие-многие наши представления, и героями стали совсем другие люди, а наш Феликс Сорокин, как тип, как герой, канул в небытие – во всяком случае, мне очень хочется на это надеяться.

А вот у романа его, у «Гадких лебедей», по-моему, актуальность отнюдь покуда не пропала, потому что проблема будущего, запускающего свои щупальца в сегодняшний день, никуда не делась, и никуда не делась чисто практическая задача: как ухитриться посвятить свою жизнь

будущему, но умереть при этом все-таки в настоящем. И чем стремительнее становится прогресс, чем быстрее настоящее сменяется будущим, тем труднее Виктору Баневу оставаться в равновесии с окружающим миром, в перманентном своем состоянии неослабевающего футуршока. Всадники Нового Апокалипсиса – Ирма, Бол-Кунац и Валерьянс – уже оседлали своих коней, и остается только надеяться, что Будущее не станет никого карать, не станет никого и миловать, а просто пойдет своей дорогой.

«ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР»

Это последнее, десятое, произведение АБС из цикла «Мир Полудня». Мы, правда, планировали написать еще один роман – под условным названием то ли «Белый Ферзь», то ли «Операция ВИРУС», – но так и не собрались даже начать его. Любопытно, что задуман этот роман был раньше, чем «Волны». В дневнике от 6.01.83 сохранилась запись: «Думали над трилогией о Максиме. Максим внедряется в Океанскую империю, чтобы выяснить судьбу Тристана и Гурона». И уже на следующий день (7.01): «Странники прогрессируют Землю. Идея: человечество при коммунизме умирает в эволюционном тупике. Чтобы идти дальше, надо синтезироваться с другими расами». Очевидно, что это еще искаженный, деформированный, очень приблизительный, но уже тот самый замысел, из которого родились «Волны».

В истории написания этой повести нет ничего особенного и, тем более, сенсационного. Начали черновик 27.03.83 в Москве, закончили чистовик 27.05.84, в Москве же. Все это время вдохновляющей и возбуждающей творческий аппетит являлась для нас установка написать по возможности документальную повесть, в идеале – состоящую из одних только документов, в крайнем случае – из «документированных» размышлений и происшествий. Это была новая для нас форма, и работать с ней было интересно, как и со всякой новинкой. Мы с наслаждением придумывали «шапки» для рапорт-докладов и сами эти рапорт-доклады с их изобилием нарочито сухих казенных словообразований и тщательно продуманных цифр; многочисленные имена свидетелей, аналитиков и участников событий сочиняла для нас особая программка, специально составленная на мощном калькуляторе «Хьюлетт-Паккард» (компьютера тогда у нас еще не было); а первый вариант «Инструкции по проведению фукамизации новорожденного» вполне профессионально набросал для нас друг АНа – врач Юрий Иосифович Черняков...

Что же касается замысла «Странники прогрессируют Землю», то мы отказались от него, как от центрального и сюжетообразующего, довольно быстро. Гораздо интереснее оказалось использовать его в качестве обманного, отвлекающего приема, тем более, что идея человечества, нечувствительно и постепенно порождающего внутри себя Человека Нового (хомо супер, хомо новус, хомо луденс), волновала и привлекала нас издавна, еще со времен «Гадких лебедей», которые изначально как раз и

задумывались, как встреча поручика пограничных войск Виктора Банева с первыми сверхчеловеками – мокрецами.

Неожиданно трудно оказалось придумать название. Сначала (в письмах и дневнике) мы называли эту рукопись просто «Повесть о Тойво». Потом мелькнул вариант – почему-то на французском – «Fait accompli» («Совершившийся факт»), и только в самом конце работы над черновиком появляется название «Волны гасят ветер», причем сначала – только как название темы рапорт-доклада номер 086/99. Это название показалось нам удачным, и мы решили взять его для всей повести в целом – действительно, удачное название, спокойное и многосмысленное, что от названия и требуется.

А вот с эпиграфом получился маленький конфуз. Афоризм этот придумал БН, лично, экспромтом, в разгаре некоей полемики, все обстоятельства которой я великолепно помню до сих пор. Придумал – и восхитился собственной выдумкой, ибо почудилась ему в этой максиме поистине Гёделевская глубина и нетривиальность. «Понять значит упростить» – как, однако, сказано! АНу это тоже понравилось, афоризм было решено приписать нашему легендарному писателю Дмитрию Строгову («Толстому XXI века»), придуманному нами еще в 60-м, и, приписав, сделать его эпиграфом. А несколько лет спустя я совершенно случайно узнал, что это, оказывается, слова из повести Михаила Анчарова – кажется, «Самшитовый лес». А может быть, – «Сода-солнце». О, это был тяжелый удар! Это была – проблема! Однако отказываться совсем от такого замечательного эпиграфа показалось нам тогда невыразимо жалко, а заменять имя выдуманного двадцать лет назад Строгова на имя всем известного Михаила Анчарова – как-то нелепо: повесть именно с таким эпиграфом была уже опубликована, и не раз. И мы решили оставить все как есть. «Совершенно не вижу, почему бы благородному дону (читай: Дмитрию Строгову) спустя сотню лет не переоткрыть заново афоризм Михаила Анчарова совершенно независимым образом?..» Тем более, что в действительности это удалось же сделать Б. Стругацкому, спустя всего лишь двадцать, или сколько там, лет.

Повесть «Волны...» оказалась итоговой. Все герои наши безнадежно состарились, все проблемы, некогда поставленные, нашли свое решение (либо – оказались неразрешимыми), мы даже объяснили (вдумчивому) читателю, кто такие Странники и откуда они берутся во Вселенной, ибо людены наши это Странники и есть – точнее, та раса Странников, которую породила именно цивилизация Земли, цивилизация Homo sapiens sapiens (как называется в Большой науке вид, к которому все мы имеем честь

принадлежать). Осталась, правда, недописанной одна из задуманных в рамках Полуденного цикла историй – история проникновения Максима Каммерера в таинственные недра страшной Океанской империи.

Об этом ненаписанном романе среди фэнов ходят легенды, мне приходилось слышать рассказы людей, которые точно знают, что роман этот был по крайней мере наполовину написан, пущен авторами «в народ», и кое-кто даже лично держал в руках подлинную рукопись... Увы. Роман этот НИКОГДА НЕ БЫЛ НАПИСАН, он даже придуман не был как следует. Вот как выглядит его самый общий предполагаемый план:

1. Пролог. Гнилой Архипелаг.
2. Ч. I. Прибрежная зона.
3. Ч. II. Леса и поля.
4. Ч. III. Солнечный круг.
5. Эпилог.

Действие романа должно было происходить где-то вскоре после событий «Жука в муравейнике», лет через пяток после этого и задолго до времен Большого Откровения. Пролог разработан действительно в деталях. БН мог бы написать его за несколько дней (это всего десяток страниц), но ему не хочется этим заниматься: неинтересно, да и ни к чему. Часть I продумана хорошо, известны основные эпизоды, но без многих и многих существенных деталей. Часть II – ясна в общих чертах и с некоторыми эпизодами. Часть III – в самых общих чертах. Известен только один эпизод из этой части, заключительный (см. ниже – из предисловия БН к сборнику «Время учеников»). Что же касается эпилога, то это по идее должно было быть что-то вроде итогового комментария, скажем, Гриши Серосовина (или другого какого-нибудь комконовца) по поводу всего вышеизложенного. Но здесь нет даже самых общих наметок.

В предисловии к сборнику «Время учеников» БН писал об этом романе примерно следующее:

> «В последнем романе братьев Стругацких, в значительной степени придуманном, но ни в какой степени не написанном; в романе, который даже имени-то собственного, по сути, лишен (даже того, о чем в заявках раньше писали «название условное»); в романе, который никогда теперь не будет написан, потому что братьев Стругацких больше нет, а С. Витицкому в одиночку писать его не хочется, – так вот в этом романе авторов соблазняли главным образом две свои выдумки.
>
> Во-первых, им нравился (казался оригинальным и

нетривиальным) мир Островной Империи, построенный с безжалостной рациональностью Демиурга, отчаявшегося искоренить зло. В три круга, грубо говоря, укладывался этот мир.

Внешний круг был клоакой, стоком, адом этого мира – все подонки общества стекались туда, вся пьянь, рвань, дрянь, все садисты и прирожденные убийцы, насильники, агрессивные хамы, извращенцы, зверье, нравственные уроды – гной, шлаки, фекалии социума. Тут было ИХ царствие, тут не знали наказаний, тут жили по законам силы, подлости и ненависти. Этим кругом Империя ощетинивалась против всей прочей ойкумены, держала оборону и наносила удары.

Средний круг населялся людьми обыкновенными, ни в чем не чрезмерными, такими же как мы с вами – чуть похуже, чуть получше, еще далеко не ангелами, но уже и не бесами.

А в центре царил Мир Справедливости. «Полдень, XXII век». Теплый, приветливый, безопасный мир духа, творчества и свободы, населенный исключительно людьми талантливыми, славными, дружелюбными, свято следующими всем заповедям самой высокой нравственности.

Каждый рожденный в Империи неизбежно оказывался в «своем» круге, общество деликатно (а если надо – и грубо) вытесняло его туда, где ему было место – в соответствии с талантами его, темпераментом и нравственной потенцией. Это вытеснение происходило и автоматически, и с помощью соответствующего социального механизма (чего-то вроде полиции нравов). Это был мир, где торжествовал принцип «каждому – свое» в самом широком его толковании. Ад, Чистилище и Рай. Классика.

А во-вторых, авторам нравилась придуманная ими концовка. Там у них Максим Каммерер, пройдя сквозь все круги и добравшись до центра, ошарашенно наблюдает эту райскую жизнь, ничем не уступающую земной, и общаясь с высокопоставленным и высоколобым аборигеном, и узнавая у него все детали устройства Империи, и пытаясь примирить непримиримое, осмыслить неосмысливаемое, состыковать нестыкуемое, слышит вдруг вежливый вопрос: «А что, у вас разве мир устроен иначе?» И он начинает говорить, объяснять, втолковывать: о высокой Теории Воспитания, об Учителях, о тщательной кропотливой работе над каждой дитячьей душой...

> Абориген слушает, улыбается, кивает, а потом замечает как бы вскользь: «Изящно. Очень красивая теория. Но, к сожалению, абсолютно не реализуемая на практике». И пока Максим смотрит на него, потеряв дар речи, абориген произносит фразу, ради которой братья Стругацкие до последнего хотели этот роман все-таки написать.
>
> – Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали, – говорит абориген. – Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал – до вас и без вас, – а вы не догадываетесь об этом...
>
> По замыслу авторов эта фраза должна была поставить последнюю точку в жизнеописании Максима Каммерера. Она должна была заключить весь цикл о Мире Полудня. Некий итог целого мировоззрения. Эпитафия ему. Или – приговор?..»

Именно над этим романом думали АБС во время своей последней встречи в январе 1991 года, в Москве («18.01.91. Писали письма. Снова обсуждается «Операция ВИРУС»...») Я очень хорошо помню, что обсуждение наше шло вяло, нехотя, без всякого энтузиазма. Время было тревожное и неуютное, в Ираке начиналась «Буря в пустыне», в Вильнюсе группа «Альфа» штурмом взяла телецентр, нарыв грядущего путча готовился прорваться, и приключения Максима Каммерера в Островной Империи совсем не казались нам увлекательными – придумывать их было странно и даже как-то неприлично. АН чувствовал себя совсем больным, оба мы нервничали и ссорились... Это была финальная прямая, хотя никто из нас об этом, разумеется, не знал и даже подумать не мог...

...Но почему мне иногда кажется, что этот – или очень похожий на него – роман будет все-таки со временем написан? Не братьями Стругацкими, разумеется. И не С. Витицким. Но кем?

---

notes

Примечания

1

Текст песни В. Высоцкого слегка изменен с разрешения автора.